АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1970

СОДЕРЖАНИЕ

Р. А. Будагов (Москва). Человек и его язык 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Г. В. Воронкова, М. И. Стеблин-Каменский (Ленинград). Фонема — пучок РП? 15
А. В. Федоров (Ленинград). О соотношении отдельного и целого в процессе перевода как творчества 27
Г. А. Климов (Москва). О внешних связях картвельских языков 36
Г. П. Нещименко (Москва). Деминутивные деривационные цепочки и их преобразование в чешском литературном языке 46

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Г. Изинг (Берлин). Проблемы типологии языковых подсистем 60
А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов (Москва). Принципы фонетической транскрипции и транскрипционная система для кавказских языков 66
Г. И. Ахманова, И. А. Данчинова (Москва). Атрибутивное отношение в топонимической системе англоязычных стран 79

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Из лингвистического наследия академика Л. В. Щербы 84
З. Н. Стрекалова (Москва). Заметки о рукописном «Сравнительном русско-польском словаре» С. Б. Линде 95

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

А. Н. Баскаков (Москва). Проблемы языкознания в журнале «Türk dili» (1960—1970) 105

Рецензии

Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева (Ленинград). «Bausteine zur Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen». I—V 110
Е. Е. Талицкая (Ленинград). *I. Němec.* Vývojové postupy české slovní zásoby 114
М. Моллова (София). *E. Tryjarski.* Dictionnaire arméno-kiptchak d'après trois manuscrits des collections viennoises. I 118
Е. М. Вольф (Москва). *M. Manoliu Manea.* Sistematica substitutelor din Româna contemporană standard 121
Г. П. Ижакевич, К. К. Целуйко (Киев). *И. К. Белодед.* Развитие языков социалистических наций СССР; *І. К. Білодід.* Ленінська теорія національно-мовного будівництва в соціалістичному суспільстві 126

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Д. Карамшоев (Душанбе). Сектор памирских языков Института языка и литературы АН Таджикской ССР и перспективы его работы 128
Хроникальные заметки 131
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 1970 г. 149

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, В. М. Жирмунский (и. о. главного редактора), *Э. А. Макаев, М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой* (отв. секретарь редакции), *О. Н. Трубачев*

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. 228-75-55

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

Р. А. БУДАГОВ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЯЗЫК

(Заметки об отношении людей к литературному языку)

1

В спорах, которые ведутся на протяжении многих столетий о том, насколько могут люди воздействовать на свой родной язык, выделяются две основные точки зрения. Одна из них получила наиболее ясное выражение в 70—80-х годах минувшего столетия у младограмматиков, другая (противоположная) — у тех представителей структуралистической лингвистики, которые занимаются разработкой искусственных языков. Согласно первой концепции (если сформулировать ее в нескольких словах), язык развивается независимо от людей, говорящих на нем, согласно второй — язык почти целиком подвержен «разумному регулированию», так как представляет собой чисто формальную конструкцию, которая может создаваться или разрушаться, как и всякие другие конструкции, изобретенные человеком.

Первая доктрина оказалась уязвимой прежде всего потому, что не учитывала или недостаточно учитывала многообразные виды функционирования языка в обществе, вторая — переносила методы построения искусственных языков на изучение языков естественных, не всегда считаясь с глубоким качественным отличием первых от вторых.

В последнее время, в процессе критики принципа «искусственного регулирования языка», вновь стали возвращаться к первой концепции. «Каждый естественный язык,— говорят сторонники этой новой постановки вопроса,— развивается не по строгим и непротиворечивым логико-математическим программам, а стихийно на протяжении многих столетий, ... испытывая воздействия со стороны разного рода общественных факторов, представляя собой традиционную, полученную в наследство систему со всеми противоречиями, непоследовательностями, „избыточностями“, отклонениями от стандартов и т. д. и т. п. Не случайно, что язык очень мало поддается сознательному регулированию и логическому упорядочению» [1].

Целиком соглашаясь со всей первой частью приведенного положения, нельзя признать справедливым конечный вывод — «язык очень мало поддается сознательному регулированию и логическому упорядочению». Разумеется, такие понятия, как «регулирование» и «логическое упорядочение» по отношению к языку не могут осмысляться в плане механики или формальной логики. Но языки в процессе своего естественного развития подвержены (в определенных сферах и в определенных разновидностях) процессам своеобразного регулирования и своеобразного упорядочения.

---

[1] См.: Ф. П. Филин, Проблема социальной обусловленности языка, «Язык и общество. Тезисы докладов». ОЛЯ АН СССР, Институт языкознания АН СССР, М., 1966, стр. 5.

Неправы ученые, ограничивающие пределы воздействия людей на литературный язык лишь научным стилем изложения. Обычно рассуждают так: наука создается человеком, следовательно, и «ее язык» тоже создается человеком. Хотя в области научного стиля изложения влияние человека действительно ощущается сильнее, чем в области некоторых других стилей языка, трудно согласиться с теми, кто готов превратить научный стиль чуть ли не в особый «искусственный язык науки». Как уже приходилось отмечать [2], всякий подлинно научный стиль, сохраняя свою специфику, вместе с тем прочно связан с литературным языком, на основе которого он формируется и развивается.

Задача последующих строк заключается в том, чтобы, основываясь на истолковании языка не только как «важнейшего средства общения», но и как «действительной реальности мысли», показать типы воздействия человека на язык, в первую очередь — на литературный язык. Вопроса о причинах языковых изменений я здесь касаться не буду [3].

2

Воздействие человека на его родной язык детерминировано прежде всего социальной природой всякого естественного языка. И по этому вопросу в XX столетии отчетливо сформировались две основных концепции социальной природы языка. Согласно одной из них (господствующей), все социальное, что имеется в языке, является результатом действия экстралингвистических факторов, согласно другой — язык социально детерминирован самой своей природой, своими функциями, своим назначением в обществе. Первая концепция представляется неубедительной, вторая — верной и глубокой.

Разумеется, социальная природа разнообразных «институтов», с которыми взаимодействует язык, существенна и для самого языка. Это бесспорно. И в этом плане следует и дальше изучать действие экстралингвистических факторов на язык. Но этого явно недостаточно для осмысления всех особенностей социальной природы языка.

Поясним сказанное двумя элементарными примерами. Отличие разговорной речи от письменной наблюдается во многих языках мира. Само по себе подобное различие стимулируется экстралингвистическими факторами: ситуация, в которой протекает разговорная речь, обычно оказывается иной по сравнению с условиями, способствующими письменному изложению мыслей. Но однажды возникнув, отмеченная дифференциация разговорного и письменного стилей языка начинает характеризовать сам язык, его многоярусную структуру. Поэтому в наше время создаются даже целые книги — «грамматики разговорной речи», отличные от грамматик «вообще», от грамматик общего характера. Сформировавшись на стыке лингвистических и экстралингвистических факторов, различие между разговорным и письменным стилями единого национального языка становится его собственным достоянием. Подобная особенность языка подвижна, она может ослабевать или усиливаться в зависимости от большей или меньшей интенсивности функционирования того или иного конкретного языка.

Второй пример. Профессиональная лексика в любом современном языке обычно возникает под воздействием такого экстралингвистического

---

[2] Р. А. Будагов, Что же такое научный стиль? «Русская речь», 1970, 2.

[3] См. об этом, в частности: Р. А. Будагов, Проблемы развития языка, М.— Л., 1965.

фактора, как профессиональное членение общества. Но сформировавшись, профессиональная лексика затем делается компонентом самого языка, его внутренним достоянием. Разумеется, общественные профессии могут вновь и вновь напоминать о себе, вызывая к жизни новые специальные наименования. И все же новые слова, если они принимаются языком, выступают уже как элементы лексической системы и тем самым перестают быть экстралингвистическим фактором.

Гегель был глубоко прав, когда подчеркивал, что внешнее не только противоположно внутреннему, но и постоянно взаимодействует с ним. Больше того. Внешнее на одном этапе развития выступает как внутреннее на другом, а внутреннее может предстать как внешнее в процессе движения [4]. Поэтому, в частности, неправомерно сводить социальную природу языка к действию на язык лишь экстралингвистических факторов. Социальная природа языка гораздо богаче и многообразнее. Ее ограничение экстралингвистическими факторами не может не снизить значение самой проблемы социальной природы языка для общей лингвистики.

Нельзя согласиться и с теми исследователями, которые недифференцированно или недостаточно дифференцированно анализируют влияние экстралингвистических факторов на язык.

«Под „формами существования языка"...,— читаем в недавно опубликованном коллективном сборнике,— понимаются функциональные подсистемы одного и того же языка, к числу которых следует отнести диалекты, литературный язык (или языковый стандарт), а также различные типы полудиалекта и обиходно-разговорного языка» [5]. Думается, что здесь выстраиваются в одну шеренгу качественно различные «формы». Обиходно-разговорный язык (в таких случаях лучше говорить о стилях или формах существования языка, чтобы избежать представления об одном языке, как о сочетании разных языков — contradictio in adjecto) может «укладываться» или почти «укладываться» в рамки литературного языка (языкового стандарта), тогда как любой диалект эти рамки обычно разрывает. Еще важнее другое. Для литературного языка понятие нормы с определенного исторического периода становится важнейшим признаком самого литературного языка, между тем диалекты подобного отношения к норме не знают: норма их функционирования в наше время обычно соотносится с нормой литературного языка и «оценивается» по степени отклонения от этой последней. В современную эпоху вряд ли правомерно рассматривать литературный язык в том же ряду, в котором анализируются диалекты. Не менее существенно и другое: степень сознательного отношения к литературному языку в наши дни обычно совсем иная, чем степень сознательного отношения говорящих к тому диалекту, который принят в их обиходе. В этом втором случае сознательность чаще всего равняется нулю.

В наше время литературный язык гораздо чаще противостоит просторечию, жаргонам и т. д., чем собственно диалектам. И это понятно. Как бы ни было отлично просторечие от литературного языка, оба эти понятия все же находятся в одной плоскости, чего сейчас нельзя сказать о диалектах, хотя исторически и они могли «питать» литературный язык. Различие еще ярче обнаруживается диахронически, в эпоху, когда литературный язык мог не существовать вовсе и когда диалект был «сам себе хозяином», конкурируя лишь с другими диалектами.

---

[4] Гегель, Соч., V, М., 1937, стр. 629—635.

[5] М. М. Гухман, Н. Н. Семенюк. О социологическом аспекте рассмотрения немецкого литературного языка, сб. «Норма и социальная дифференциация языка», М., 1969, стр. 7, примеч. 9.

Затронутый вопрос представляется важным в связи с различным истолкованием социальной природы языка.

Чем больше «формы существования» единого языка будут рассматриваться в одной шеренге экстралингвистических факторов, тем больше сами эти факторы выступают как бы «безлико» (все то, что не относится к внутренней структуре языка в собственном смысле). Напротив, чем дифференцированнее анализируются подобные факторы, тем многообразнее и сами «формы существования» языка. Их социальная обусловленность перестает казаться чересчур общей. Она предстает в своих действительно разнообразных видах.

Дифференциацию типа «литературный язык — диалект» можно назвать экстенсивной, а дифференциацию типа, например, «литературный язык — просторечье» или «разговорный стиль языка — письменный стиль языка» — интенсивной. Терминологическое разграничение должно показать качественное несходство многообразных «форм существования» и функционирования одного и того же языка. И здесь обнаруживаются не только экстралингвистические (внешние) расхождения, но и расхождения чисто лингвистические (внутренние). Их нетрудно показать на конкретном материале различных языков [6].

3

Вопрос о возможности воздействия человека на его родной язык не может быть убедительно исследован до тех пор, пока само понятие «язык» рассматривается нерасчлененно. Для определенных целей следует уметь анализировать язык не только как целостное явление, но и как явление, выступающее в самых различных формах своего существования и функционирования. Подобное «расчленение» необходимо, в частности, для уяснения путей возможных воздействий людей на язык, на те или иные формы его бытования.

В начале нашего столетия возникли острые дебаты между главой младограмматиков Г. Паулем и главой психологической лингвистики того времени В. Вундтом. Первый утверждал, что несмотря на независимость языка от людей, на нем говорящих, все же индивидуальные отклонения от нормы в конце концов оказывают влияние и язык «сдвигается» в ту или иную сторону. Второй ученый резко возражал против подобной концепции развития. Вундт подчеркивал, что язык ни в какой степени не зависит от людей, на нем говорящих. Язык — это одна из форм выражения народной психологии, подобно «нравам и мифам». Язык тем и отличается от литературы и искусства, что лишен «личного начала», столь существенного в сфере этих последних «духовных форм». У Пауля язык в конце концов попадал в зависимость от людей, у Вундта — в зависимость от коллектива, который исключает проявление всякой индивидуальной воли [7].

---

[6] См. иную постановку вопроса в американской социолингвистике, где социальное в целом сводится к экстралингвистическому (сб. «Sociolinguistics». Proceedings of the UCLA Sociolinguistics conference, 1964, ed. by W. Bright, The Hague — Paris, 1966, и др.). Американские ученые считают, что термин «социолингвистика» возник лишь в 1952 г. (стр. 11 указ. сб.). Между тем изучение социальных функций языка в советской лингвистике велось уже с конца 20-х — начала 30-х годов (см., в частности: Л. Якубинский, Ф. де-Соссюр о невозможности языковой политики, сб. «Языковедение и материализм», II, М.— Л., 1931, стр. 91—99). См. об этом направлении советского языкознания: В. М. Жирмунский, Проблемы социальной диалектологии, ИАН ОЛЯ, 1964, 2 стр. 102 и сл.

[7] W. Wundt, Völkerpsychologie, 4. unveränderte Aufl., Stuttgart, 1921, I, 1, стр. 18—25. О полемике между Паулем и Вундтом см.: Д. Кудрявский. Психология и языкознание, ИОРЯС, IX, кн. 2, 1904, стр. 177—190.

Этот спор, в свое время весьма горячий, сейчас не может не казаться несколько схоластичным. В наше время едва ли правомерно прямолинейное противопоставление коллективного и индивидуального «начал» в языке вообще. В языке есть и то и другое, причем «и то и другое» детерминировано социальной природой самого языка. Дискуссия такого рода не может быть плодотворной и по другой причине. В подобных случаях язык нельзя анализировать суммарно, нерасчлененно, без учета многообразных форм его существования, без понимания особенностей функционирования его литературной формы (литературного языка).

Еще в начале нашего столетия всякий литературный язык казался многим лингвистам совершенно искусственным образованием. Отражая эту точку зрения, русский ученый А. И. Томсон писал, что литературные языки так же мало интересны для лингвиста, как оранжерейные растения — для ботаника [8]. По этой же причине иронически оценивал проблему литературных языков и Бодуэн де Куртенэ. Не представлялась она существенной и Соссюру, который выводил ее за пределы задач «внутренней лингвистики». Швейцарский ученый решительно сводил на нет роль всякого сознательного отношения к языку [9].

При такой ошибочной оценке литературного языка не могла быть, разумеется, правильно поставлена и сама проблема воздействия людей на язык, так как именно в сфере литературных языков подобное воздействие оказывается наиболее очевидным и наиболее многообразным.

Обратимся к истории. Для Западной Европы период интенсивной «обработки» литературного языка относится к XVI и особенно к XVII вв., когда стали закладываться основы современной науки. XVII столетие представлено такими блистательными именами, как Галилей, Декарт, Спиноза, Паскаль, Ньютон, Лейбниц, Торричелли, Ферма, Гюйгенс и другие. Формируются принципы нового понимания природы и человека [10]. Резко обостряется вопрос о том, как и на каких языках выражать новые идеи, новые теории, новые наблюдения. Латынь как интернациональный язык науки стала все больше обнаруживать свои неудобства. Требовались новые слова, новые обороты, новый синтаксис. Нужна была и новая аудитория, для которой латынь не всегда оказывалась доступной. Еще важнее другое: наука постепенно становится частью общей культуры народа и поэтому она начинает «требовать» для себя того же языка, на котором уже значительно раньше создавалась художественная литература. С 1665 г. в Европе начинают выходить первые научные журналы. Между тем стиль научного изложения на родных языках почти вовсе не имел национальных традиций. Его приходилось создавать заново. Здесь-то и открывались широкие возможности воздействия на литературные языки европейских стран.

Не случайно, что первые европейские академии организуются с конца XVI в. Первоначально они занимались почти исключительно филологическими проблемами. Надо было «упорядочить» свой родной язык и постоянно поощрять появление национальной литературы. Итальянская академия, одна из самых старых в Европе, называлась «Академией отрубей» (Accademia della Crusca). Название имело символический характер: устанавливая норму литературного языка, требовалось «просеять язык», как просеивают муку, отделяя отруби. Аналогичные символические названия стали получать позднее и академии в других странах [11].

[8] А. И. Томсон, Общее языкознание, 2-е перераб. и доп. изд., Одесса, 1910, стр. 4.

[9] См. об этом: Л. Якубинский, указ. соч.

[10] См. сб. «У истоков классической науки», М., 1968.

[11] B. Migliorini, Storia della lingua italiana, 2. ed., Firenze, 1960, стр. 358—359.

Сходную задачу должна была решить и французская академия, учрежденная в 1634 г. «Создать словарь языка» и «начертать его грамматику» — цель академии того времени. При этом первые академики не сомневались, что с такой задачей они справятся «раз и навсегда» [12]. И это понятно: в эпоху, когда исторической концепции языка еще не существовало, «упорядочение языка» толковалось вне времени. Само же желание «упорядочить язык» было так велико, что даже в странах, где аналогичных лингвистических академий не существовало (как, например, в Англии), сходные мысли настойчиво защищались теоретиками языка, писателями, государственными деятелями [13].

В XVI — XVII вв. образовалась своеобразная ситуация: с одной стороны, эпоха требовала обращения к родному языку во всех сферах общения, в том числе и в науке, с другой — не было уверенности, что «вульгарные языки» с этой задачей справятся. Создав книгу на французском языке, Монтень в 1588 г. сетовал: «Я пишу свои „Опыты“ для немногих людей и не на долгие годы. Если бы их содержание предназначалось для длительного времени, то книгу следовало бы доверить более прочному языку (à un langage plus ferme — имелась в виду латынь.— *Р. Б.*). Судя по непрерывным изменениям нашего языка, кто может предположить, что его настоящая форма сохранится через 50 лет... За время моей жизни язык изменился наполовину» [14].

Возникала общая задача: сделать так, чтобы родной язык «не изменялся быстро», «упорядочить его», превратить в достойное средство выражения не только нужд повседневного общения, но и отвлеченных мыслей, научных теорий, всего того, над чем человек думает и размышляет. Отсюда и воздействие на литературный язык. Этим же объясняется и появление в различных странах Европы многочисленных манифестов в «защиту и прославление» родного языка. К этой же цели стремились и организованные в ту эпоху филологические академии. Работа приносила свои плоды: стали публиковаться грамматики «вульгарных языков», выходить словари, «поэтики», всевозможные «разъяснения», относящиеся к языку, и т. д.

В некоторых странах процесс «обработки» литературного языка проходил и позднее. Созданная в 1783 г. Российская Академия должна была «составить русскую грамматику, русский словарь, риторику и правила стихотворства» [15]. И в России первые задачи, поставленные перед Академией, имели чисто филологический характер. Работа над литературным языком приобретала огромное национальное значение. Это отлично понимали крупнейшие русские писатели и ученые того времени. «Шлифовка» языка предполагала и его дальнейшее развитие и совершенствование.

Позднее, в 1825 г. Пушкин писал: «Положим, что русская поэзия достигла уже высокой степени образованности: просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных...» [16]. Пушкин прямо ставит вопрос об исключительной важности

[12] G. Mator é. Histoire des dictionnaires français, Paris, 1968, стр. 62—86.

[13] В. Н. Ярцева, Развитие национального литературного английского языка, М., 1969, стр. 195—198.

[14] M. Montaigne, Oeuvres complètes, V, Paris, 1925, стр. 112.

[15] М. И. Сухомлинов, История Российской Академии, СПб., 1874, стр. 14. См. также: Ф. А. Витберг, Ревнители русского слова прежнего времени, СПб., 1899, стр. 75—83 («Чтения и беседы в Союзе ревнителей русского слова», I).

[16] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в десяти томах, 2-е изд., изд-во АН СССР, 1958, т. VII, стр. 31.

«обработки прозы» для того, чтобы «ученость, политика и философия» находили свое выражение на родном языке.

Вся предшествующая «обработка» русского литературного языка, начиная, примерно, с середины XVIII столетия, помогла и самому Пушкину. Уже в 1832 г. Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине», отмечая, что в сочинениях поэта «заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка», вместе с тем подчеркивал: Пушкин «раздвинул ему (языку.— *Р. Б.*) границы и более показал все его пространство» [17]. Гоголь тонко понимал роль великого писателя в развитии литературного языка.

Необходимо, разумеется, различать деятельность так сказать «чистых» законодателей языка от деятельности больших писателей и ученых, которые оказывают воздействие на литературный язык прежде всего своими сочинениями, своей практикой. Одно дело давать «рекомендации языку» с помощью специальных лингвистических трактатов, другое — влиять на язык, раздвигая «его пространство» самими художественными или научными сочинениями, получающими резонанс в обществе. В истории разных культур бывали, однако, и такие периоды, когда деятельность «чистых» законодателей языка тоже приобретала важное общественное значение.

4

Современники обычно неодинаково оценивали роль подобных законодателей или реформаторов литературного языка. Некоторым сверстникам Малерба (1555—1628) казалось, что он «кастрирует язык», лишает его «свободного полета». Другим, напротив, все суждения Малерба о языке представлялись мудрыми и справедливыми. Еще отчетливее сформировались два противоположных лагеря, когда вышла в свет книга грамматиста Вожла «Замечания о французском языке» (1647). Но к этому времени у Вожла оказалось уже больше сторонников, чем противников, несмотря на то, что автор «Замечаний» предлагал решительную регламентацию грамматики. Целая буря разразилась после обнародования «Поэтического искусства» Буало (1674), но и у Буало обнаружилось больше союзников, чем критиков, хотя в его сочинении речь шла уже не только о регламентации языка, но и о кодификации стиля, поэтики в широком смысле [18].

Все это отнюдь не случайно. Законодатели языка всегда имели успех тогда, когда их деятельность соответствовала «духу» времени. Сама эта деятельность могла — и может и в наше время — оцениваться положительно или отрицательно в зависимости от того, кто, в какую эпоху, с какими целями и насколько убедительно стремится оказать воздействие на литературный язык. Не менее существенны последствия подобного воздействия. Важно подчеркнуть и более общее положение: с эпохи существования любого литературного языка различные типы его «обработки» неизбежны, а часто и необходимы. Это вызвано общественным стремлением либо сохранить известное единство литературного языка, либо способствовать его же дальнейшему развитию, либо и тем и другим одновременно (изменяясь, литературный язык в каждую эпоху не лишается и некоторой целостности).

Широко распространенное мнение, будто всякая регламентация литературного языка мешает его развитию, ошибочно не только теоретически, но и исторически. Стóит напомнить, например, позицию Данте по отношению к итальянскому языку, Пушкина — по отношению к русскому язы-

[17] Н. В. Гоголь, Сочинения, редакция Н. С. Тихонравова, СПб., 1901, т. 9, стр. 227.

[18] M. Rat, Grammairiens et amateurs de beau langage, Paris, 1963, стр. 68–72.

ку, Караджича — по отношению к сербскому языку, Эминеску — по отношению к румынскому языку и т. д. Такие писатели способствовали и укреплению единства литературного языка, и его же дальнейшему, быстрому и плодотворному развитию. Гоголь, так много сделавший казалось бы для «расшатывания» старых языковых норм, вместе с тем горячо выступал против «искажения истинного значения коренных русских слов» (в заметке «Объявление об издании русского словаря»). И здесь не было никакого противоречия.

Если не выходить в этих строках за пределы стран Европы, то можно сказать, что и в наше время везде имеются специальные средства воздействия на литературный язык. Не говоря уже о влиянии со стороны выдающихся представителей художественной литературы, науки и публицистики, следует отметить и роль научных и научно-популярных журналов и исследований, специально посвященных норме национальных языков.

Однако современные литературные языки подвержены воздействию двоякого рода процессов, которые нередко кажутся несовместимыми. Подобные процессы — дифференциации и интеграции — в действительности дополняют и обогащают друг друга, превращая язык в «живое тело».

Дело в том, что и в наши дни единый литературный язык продолжает «дробиться» на многообразные формы своего существования. Письменная речь становится все менее похожей на речь разговорную, а эта последняя в свою очередь может выступать в разном обличье: литературная разговорная речь, просторечье, арготическая разговорная речь и т. д. Не удерживается в своем единстве и письменная речь, выступая в той или иной своей разновидности. Казалось бы единство литературного языка утрачивается. Но это не так. Чем больше усиливаются дифференциальные тенденции, тем очевиднее им противостоят тенденции интегральные, способствующие целостности литературного языка. Рост грамотности, проникновение газет, книг и журналов в разные социальные слои общества, возрастающая роль науки и техники, радио, кино и телевидения — все это не может не поддерживать известную целостность литературного языка.

Разумеется, и этот второй процесс нельзя понимать прямолинейно. Не говоря уже о разной степени грамотности разных классов общества в условиях современного мира, процесс «технической унификации» сложен и противоречив. Газета и книга — казалось бы, верные носители единого литературного языка,— нередко сами впитывают в себя арготическую и даже диалектную речь, поддерживая тем самым дифференциальные лингвистические тенденции. То же следует сказать о радио и телевидении, в особенности, когда выступают непрофессиональные дикторы, и т. д. В свое время Бернард Шоу подчеркивал, что «средний англичанин не любит говорить правильно по-английски; на каждую 1000 человек в Лондоне 999 говорят плохо»[19].

Дело не в том, разумеется, что люди просто «не любят» говорить правильно. Проблема гораздо сложнее. В каждом конкретном случае следует разыскать свою причину подобной «не-любви».

Приведу здесь лишь один пример, относящийся к лексике. Д. С. Лихачев, обобщая свои наблюдения над некоторыми видами русского арго 20-х — начала 30-х годов, подчеркивал, что арготические наименования часто возникают в силу определенных социальных причин. Так, в частности, если та или иная работа выполняется иногда плохо, то ее перестают называть *работой* и находят для нее другие, обычно быстро сменяющие друг друга наименования. Отсюда и чисто социологический вывод иссле-

[19] См.: Э. Хьюз. Бернард Шоу, М., 1966, стр. 246. Ср. также центральную тему «Пигмалиона» Б. Шоу (1912).

дователя: там, где бытуют арготические наименования работы или ее продуктов, там сама работа обычно выполняется недостаточно добросовестно. Ее как-то даже неловко называть ответственным словом *работа* [20].

Таковы лишь некоторые особенности и тенденции, способствующие дифференциации языка. Не менее ярко обнаруживаются и силы, поддерживающие единство языка. Литературный язык, несмотря на всю его «многослойность», обычно выступает теперь как средство общения большинства людей данного коллектива, объединенного данным языком. Этим в первую очередь и детерминируется его единство, несмотря на многообразие отдельных форм его же бытования и функционирования.

5

Вернемся к основной теме данной статьи с тем, чтобы показать типы отношений людей к их родному литературному языку, которым они владеют или должны владеть в той или иной степени. После всего сказанного, это сделать теперь легче.

Известно, что люди обычно говорят «бессознательно». Чтобы попросить кого-то *отпереть* или *запереть* дверь, *принести* или *отнести хлеб*, *накрыть на стол* или *проветрить комнату*, вовсе нет надобности специально обдумывать слова, выражения и конструкции, которые при этом употребляют. Здесь родной язык «действует» как бы бессознательно: он «подсказывает» нам все необходимое для простейших видов общения. «Механизм» подобных коммуникаций складывается так, что у говорящих создается убеждение в полной автономности самих коммуникаций.

Необходимо, однако, сразу же уточнить, что́ следует понимать под автономностью и бессознательностью подобных коммуникаций. В разговоре обычно нет различия между *заприте дверь* или *дверь заприте*. Но в том же разговоре уже намечается различие между *заприте дверь* и *дверь, пожалуйста, заприте*. Два последних предложения сейчас же обнаруживают несходство в воспитании говорящих, в их общей манере «держать себя» в процессе коммуникации.

Всегда приходится слышать: подобные различия относятся к людям, а не к их языку. Но возражения такого рода бьют мимо цели, ибо, действительно относясь к людям, несходства упомянутого типа относятся и к языку. Говорящие по-разному используют ресурсы языка, следовательно и их позиция в сфере литературного языка оказывается несходной. Лингвист имеет полное право интересоваться не только языком, но и о т н о ш е н и е м ч е л о в е к а к э т о м у я з ы к у. Больше того. Без освещения второго вопроса и первый получает одностороннее истолкование. Язык описывается сам по себе, как бы вне «человеческого» его восприятия. Между тем сама проблема «человек и его язык» должна опираться не только на описание функционирования языка, но и на осмысление подобного функционирования людьми определенной эпохи и определенного общества, независимо от того, являются ли эти люди писателями или «просто говорящими». До последнего времени лингвистика и стилистика интересовались почти исключительно первыми и очень мало — вторыми.

Между тем выбор «вежливой» или «невежливой» формы и шире — выбор той или иной формы или конструкции — передает не только вкусы отдельных людей, но и я з ы к о в ы е н а в ы к и отдельных классов общества или всего общества определенного исторического периода.

---

[20] Д. С. Л и х а ч е в, Арготические слова профессиональной речи, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964, стр. 353.

Весьма старое и несколько наивное представление о языке как «о мыслях, выраженных словами», оказывается близким к истине в чисто понятийном плане: даже элементарная языковая коммуникация обычно обусловлена с о д е р ж а н и е м, которое передается с ее помощью. Но содержание, детерминирующее коммуникацию, все же обычно не определяет всех возможных структурных типов самой коммуникации. Именно здесь, в выборе структуры коммуникации, обнаруживается сложное взаимодействие сознательного и бессознательного «начал» в процессе языкового общения.

Сфера действия бессознательного резко суживается в письменном стиле языка. В рассказе А. П. Чехова «Ванька» малограмотный мальчик должен был все основательно обдумать, прежде чем засесть за письмо к дедушке. Знаменитый адрес на конверте («На деревню дедушке») был выведен мальчиком тоже после размышлений. Уже на совершенно другом уровне Обломов у И. А. Гончарова не любил писать прежде всего потому, что всякое «писание» требовало «усилия мысли». И не только обдумывание содержания, но и формы его выражения. Без этого второго условия всякий раз возникала «близкая и неприятная встреча двух *которых* и двух *что*» («Обломов», ч. 2, гл. 10). В письменном стиле языка у людей, получивших известное образование (даже элементарное), сфера бессознательного заметно ограничивается не только содержанием коммуникации, но и формой ее выражения («так нельзя, а надо так-то»). «Можно сказать,— писал по другому поводу Л. В. Щерба,— что интересы понимания и говорения прямо противоположны, и историю языка можно представить как постоянное возникновение этих противоречий и их преодоление» [21].

Разумеется, и в письменном стиле языка могут быть разные градации. Чеховский мальчуган стремился лишь к тому, чтобы его правильно понял дедушка. Но и это выразить оказалось не так просто. Заботы Обломова гораздо сложнее. Ему недостаточно, чтобы его только правильно поняли. Он стыдится возможного столкновения двух *которых* и двух *что*. Возникает новый вопрос — как выразить свои мысли и чувства на бумаге? Без активного отношения к литературному языку (отбор и «расстановка» его категорий и ресурсов) ответить на поставленный вопрос невозможно. И дело здесь не только в степени образованности человека, но и в целях, к которым стремится его коммуникация.

Вполне закономерно поэтому, что степень сознательного отношения к языку должна неизмеримо возрастать у писателей. В первую очередь у них культура языка становится одним из важнейших компонентов художественного мастерства вообще. И тем не менее так оказывалось далеко не всегда. Авторам средневековых художественных произведений еще не был известен в полной мере самый принцип «шлифовки» языка. Этот принцип оформляется гораздо позднее. Даже Дидро считал возможным ставить свое имя на сочинениях, написанных в совершенно другой литературной манере и другим стилем, чем его собственные книги. Последовательно сознательное и активное отношение к языку как важнейшему компоненту художественной литературы вообще устанавливается в Западной Европе и России лишь в конце XVIII и в начале XIX столетия. Отдельные исключения — они наблюдались в разных странах — лишь подтверждают общее правило [22].

Отношение к языку у крупнейших писателей нового времени обычно перерастает в воздействие на язык, особенно в «поворотные» эпохи становления и развития самого литературного языка. Напомним еще раз

[21] Л. В. Щ е р б а, О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. «Изв. АН Отд. общ. наук», 1931, 1, стр. 119.

[22] См. об этом подробно: Р. А. Б у д а г о в, Литературные языки и языковые стили, М., 1967, стр. 165—196, 312—325.

замечание Гоголя о Пушкине, который «раздвинул границы» языка и «показал все его пространство».

Так намечаются четыре основных типа отношений людей к своему литературному языку. Первый из этих типов обычно обнаруживается на уровне разговорной речи, второй — на уровне письменной речи, третий — тоже на уровне письменной речи, но выступающей как специальное занятие пишущего и, наконец, четвертый — тоже на уровне письменной речи, но «преобразующейся» в язык художественной литературы.

Между этими четырьмя типами отношений наблюдаются различные переходные случаи. Так, например, язык сочинений больших ученых может предстать в совсем ином виде, чем язык повседневных деловых сообщений или деловых «бумаг», хотя все они принадлежат письменному стилю. Еще больше градаций в языке художественной литературы нашего времени. И все же, несмотря на эти различия, несмотря на множество групп и переходных случаев, отмеченные четыре типа отношений людей к своему литературному языку остаются наиболее характерными.

Уже В. Гумбольдт верно заметил, что язык должен быть «и народным и образованным». Для этого необходимо непрерывное движение языка «... от народа в руки писателей и грамматиков, а от них обратно в уста народа» [23]. Можно лишь уточнить: по мере того, как литературный язык в той или иной степени делается достоянием народа, сам такой язык начинает развиваться и «обрабатываться» в процессе функционирования в обществе. На литературный язык начинают оказывать воздействие не только «писатели и грамматики», но и все люди, на нем говорящие. Наблюдаются лишь различные типы подобного воздействия, подобного отношения к «обработанному» языку.

В свое время К. Маркс в «Тезисах о Фейербахе» подчеркивал: «Главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме *объекта*, или в форме *созерцания*, а не как *человеческая чувственная деятельность*, *практика*, не субъективно. Отсюда и произошло, что *деятельная* сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно...» [24]. Это замечание не утратило всей своей силы вплоть до нашего времени. Применительно к лингвистике можно сказать, что и язык до самого последнего времени анализировался главным образом в форме объекта. Его важнейшая «деятельная» функция в обществе, в истории культуры, в истории формирования самого человека изучена все еще очень мало.

«Деятельная» функция языка — двусторонняя функция. Она обнаруживается не только в активности самого языка (с его помощью как бы закрепляются и дальше развиваются человеческие знания и опыт), но и в активном отношении людей к языку, на котором они говорят. В предшествующих строках речь шла лишь об этом втором аспекте языковой активности.

Иногда считают, что «деятельную» функцию языка начали изучать с того времени, когда Соссюр разграничил язык и речь. Вся беда, однако, в том, что в подавляющем большинстве работ, посвященных языку и речи, проблема стала освещаться односторонне: получалось так, будто бы язык активен лишь в сфере речи, в сфере конкретных речевых ситуаций, и остается «абстрактным и пассивным» во всех случаях, когда он является собственно языком. Тем самым активность языка начала пониматься весьма

[23] В. фон-Гумбольдт, О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. Перевод П. Билярского, СПб., 1859, стр. 186.

[24] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 3, 2-е изд., М., 1955, стр. 1.

односторонне. Она до сих пор часто выводится за пределы *языка* (la langue у Соссюра) в собственном смысле этого слова[25].

Здесь вновь нельзя не вспомнить Гумбольдта, который, постоянно подчеркивая — язык не эргон, а энергия,— распространял «энергию» на весь язык, на все сферы его функционирования и развития.

Тема «Человек и его язык» еще ждет своих исследователей. В предшествующих строках были намечены отдельные части этой большой темы, в которых речь шла лишь об отношении людей к их литературному языку.

---

[25] Обзор гипотез о языке и речи см.: В. Я. Мыркин, Различные толкования соотношения: язык — речь, «Ин. яз. в шк.», 1970, 1; Ю. С. Степанов, Основы языкознания, М., 1966, стр. 187 и сл. В последние два десятилетия активная функция языка разрабатывается Л. Вейсгербером и его учениками. К сожалению, однако, в их концепции (несмотря на множество отдельных верных и интересных наблюдений) язык изучается не столько в связи с деятельностью человека, сколько выступает в роли демиурга самой этой деятельности. Тем самым еще раз подтверждается справедливость только что приведенных общих замечаний К. Маркса. См. материалы этой научной школы в сб. «Sprache — Schlüssel zur Welt. Festschrift für L. Weisgerber», Düsseldorf, 1959. Ср. также разработку гипотезы Сепира — Уорфа (сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 111—124) и статью Э. Косериу в сб. «Ursprung und Wesen des Menschen», Tübingen, 1968, стр. 67—79.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Г. В. ВОРОНКОВА, М. И. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ

ФОНЕМА — ПУЧОК РП?

Положение «Фонема — это пучок РП (= различительных, или дифференциальных, признаков)» становится в современном языкознании все в большей мере общеобязательной догмой. Характерно, например, что в вопроснике, разосланном участникам межвузовской конференции по базисным проблемам фонологии [1], есть вопрос «каковы принципы и критерии выделения дифференциальных признаков?», но, конечно, нет вопроса «верите ли в то, что фонема — пучок этих признаков?».

Для того чтобы уяснить себе, что́ обычно подразумевается под РП и фонемой, представим себе следующую ситуацию. Получена магнитофонная запись текста на неизвестном звуковом языке, и какой-то невежда в языкознании поручил нескольким физикам, таким же невеждам в языкознании, проанализировать этот текст независимо друг от друга при помощи самой совершенной аппаратуры и, в частности, разбить его на сегменты, одинаковые на своем протяжении, и определить, какие из этих сегментов тождественны друг другу, т. е. выявить парадигматические единицы, представленные в тексте. Воображаемые физики обнаружат, вероятно, некоторую периодичность в тексте, но, конечно, ни одного сегмента, совершенно одинакового на своем протяжении (ведь известно, что даже гласные неоднородны на своем протяжении) и никаких четких границ внутри текста, т. е. никакой дискретности. Поэтому, хотя, как подобает представителям точной науки, они опираются на строго сформулированную и единую теорию — современное учение о звуке, — они приходят к очень нечетким и неодинаковым результатам: сегменты различно разграничиваются, и их количество оказывается разным. Еще более трудным оказывается выявление парадигматических единиц. Обнаруживается, что среди выделенных сегментов совершенно одинаковых вообще нет, все они в разной мере сходны между собой, и сходства эти перекрещиваются. Поэтому, хотя физикам удается выделить некоторые признаки, общие для ряда сегментов, и, возможно, физически именно те, которые в фонологии фигурируют как РП (например, вокальность и консонантность, глухость и звонкость и т. п.), никакой дискретной структуры в сочетаниях этих признаков не обнаруживается, и никаких дискретных парадигматических единиц не получается.

Представим себе теперь, что то же поручение получило несколько лингвистов. В противоположность физикам, которые опирались на единую теорию, лингвисты опираются на самые разные теории. Например, один из них последователь Джоунза, другой — Щербы, третий — Блумфилда, четвертый — Ельмслева, пятый следует Трубецкому, шестой — Якоб-

[1] «Базисные проблемы фонологии. Материалы межвузовской конференции», I — Ответы на вопросы, Донецк, 1968.

сону, а седьмой — Трубецкому и Якобсону по очереди, но излагает их теории в терминах еще какой-то теории, например, в терминах символической логики, и все же добивается вполне оригинальных результатов: полной симметрии в системе вводимых им понятий. Словом, все лингвисты опираются на разные теории и, соответственно, применяют разные методы анализа языкового материала. Тем не менее, в отличие от физиков, они приходят к поразительно четким и сходным результатам. Дело в том, что они наблюдают не только и даже не столько физическую реальность текста, сколько ее функционирование в качестве языка и таким образом обнаруживают в тексте функциональную членимость на дискретные сегменты, функционально объединяющиеся в то, что лингвисты называют фонемами. При этом, хотя в общем к одной фонеме оказываются отнесенными сегменты, проявляющие известное физическое сходство, в ряде случаев к одной фонеме относятся сегменты, не более сходные между собой, чем некоторые из тех, которые относятся к разным фонемам, и наоборот, к разным фонемам оказываются отнесенными сегменты, не более различные, чем некоторые из тех, которые относятся к одной фонеме. Таким образом, определяющим в распределении сегментов по фонемам оказываются функциональные сходства и различия, а не физические.

Однако определить, что такое фонема, оказывается нелегко, и это видно из того, что лингвисты обычно определяют ее очень различно и в сущности голословно. Если же, в виде исключения, определение фонемы логически обосновано (как, например, известное определение Туодела [2]), то оно очень абстрактно и поэтому бедно содержанием. По-видимому, лингвисты так же не могут сколько-нибудь убедительно определить, что такое фонема, как физики не могут сколько-нибудь четко определить, например, что такое время (ведь общепринятое определение «время — это форма существования материи» явно не дает никакого представления о том, что такое время). Но отсюда не следует, конечно, что время или фонема не представляют собой объективной реальности.

Четкость и единообразие результатов, полученных лингвистами, опирающимися на самые различные теории, ясно свидетельствуют о том, что обнаруживаемая ими дискретная структура — это объективная реальность. Однако, конечно, не физическая реальность: не случайно физики не могли обнаружить эту структуру, несмотря на самую совершенную технику и самую строгую и единую теорию, а лингвисты не могут дать вразумительного определения того, из чего состоит эта структура. О существовании этой структуры можно заключить, наблюдая функционирование физической реальности языка, но нельзя наблюдать эту, так сказать, функциональную реальность непосредственно, как наблюдают физическую реальность. Конечно, и то, что образует эту структуру, т. е. так называемые фонемы, не наблюдаемы непосредственно, т. е. представляют собой не физическую, а только, так сказать, функциональную реальность [3]. Следовательно, нельзя описать фонемы непосредственно, как опи-

---

[2] W. F. Twaddell, On defining the phoneme («Language monograph», 16), New York, 1935.

[3] Поэтому логически несостоятельны все определения фонемы как «звука», «звуковой единицы», «звукового типа», «группы звуков», «звукового элемента», «сочетания звуковых элементов» (т. е. пучка РП) и вообще как звуковой или физической реальности, какими бы житейски здравыми или философски ортодоксальными эти определения ни казались, и никакие указания на «различительную функцию» этой реальности не делают эти определения менее несостоятельными, ибо «различительна» не физическая реальность языка, а та структура, которая обнаруживается в функционировании этой физической реальности. Не спасают эти определения и указания на то, что имеется в виду не конкретная звуковая реальность, а обобщение или абстракция. Само собой разумеется, что конкретная звуковая реальность представлена только в конкретном

сывают физическую реальность, и можно только описать ту физическую реальность, наблюдая функционирование которой в качестве языка, заключают о существовании фонем, т. е. в воображаемом случае, приведенном выше, физическую реальность тех сегментов, на которые распалась звуковая цепочка в результате ее функциональной членимости. Каждый такой сегмент это, очевидно, частный случай того, что называют «реализацией» той или иной фонемы или ее «манифестацией» или «имплементацией» [4], и тем самым, хотят или не хотят этого, ясно выражают, что физическая реальность и фонема лежат в двух разных и несовместимых плоскостях (правда, лингвистическая терминология настолько неточна, что любую реализацию фонемы в известных контекстах можно назвать также и просто «фонемой»). Эту физическую реальность можно, конечно, описать и более обобщенно как «аллофоны» («комбинаторные варианты», «оттенки») той или иной фонемы и, выделяя общее или наиболее важное для аллофонов одной фонемы, получить максимально обобщенное фонетическое описание реализации этой фонемы (или, неточно выражаясь, описание самой фонемы). Но все равно это будет описанием только той физической реальности, наблюдая функционирование которой заключают о существовании уже как бы в другой плоскости, фонем как функциональной реальности.

Был придуман, однако, такой удобный суррогат описания самих фонем. Элементы, наблюдаемые в физической плоскости, выдаются за элементы функциональной плоскости (т. е. пучки РП). Тем самым функциональной плоскости приписывается физическая реальность, а физической реальности — структура функциональной плоскости.

Процедура определения РП фонем была, по-видимому, впервые разработана Трубецким и продемонстрирована им на примере фонемы /k/ немецкого языка [5]. Трубецкой утверждает, что он выводит фонологическое содержание этой фонемы из ее оппозиций фонемам /ch ŋ g t p/, и он определяет его как смычность, неназализованность, напряженность, дорсальность. При этом, очевидно, подразумевается, что /k/ отличается этими РП от в с е х д р у г и х фонем немецкого языка. Что такое, однако, представляет собой это выведение фонологического содержания фонемы из ее оппозиций, что это за оппозиции, из которых оно выводится, и что такое полученные из них РП? То, что фонологическое содержание фонем надо выводить из оппозиций, подразумевает, очевидно, что первое неизвестно, а известно только второе. Но откуда могут быть известны оппозиции, если неизвестно фонологическое содержание фонем? Ведь знание оппозиций (т. е. того, как фонемы противопоставлены друг другу) подразумевает знание фонологического содержания фонем (т. е. того, что́ они представляют собой как члены противопоставлений). Другими словами, фонологическое содержание фонем и есть их оппозиции. Это, по-видимому, понимал и Трубецкой, который говорит: «фонемный состав языка является, по существу, лишь коррелятом системы фонологических оппозиций» [6]. Уже это противоречие заставляет предполагать, что выведение фонологического содержания фонемы из оппозиций — иллюзия, самообман.

Допустим, однако, как это ни абсурдно, что оппозиции известны, хотя фонологическое содержание фонем неизвестно. Для выведения фонологи-

речевом акте и что когда говорят о звуковой реальности, то имеют в виду понятие о ней, т. е. ту или иную ступень обобщения или абстракции. Оговаривать это каждый раз может быть и нужно было бы в школьном учебнике логики, но в языковедческой работе было бы схоластическим педантизмом.

[4] Об истории этих терминов см.: J. V a c h e k, The linguistic school of Prague, Bloomington — London, 1966, стр. 50—51.

[5] Н. С. Т р у б е ц к о й, Основы фонологии, М., 1960, стр. 74.

[6] Там же.

ческого содержания немецкого /k/ оказывается достаточно пяти оппозиций: /k — ch k — ŋ k — g k — t k — p/. Таким образом, хотя за азбучную истину учения о фонеме принято считать, что фонему определяет ее место в системе, что она член всех оппозиций, возможных для нее, и существует только как член этих оппозиций [7], в данном случае используется только пять из множества оппозиций, возможных для данной фонемы. Если функция фонемы заключается в том, что она противопоставляется в с е м другим фонемам данной системы, то, выводя фонологическое содержание фонемы только из части ее оппозиций, учитывают только часть ее функции. При этом процедура выведения фонологического содержания фонемы из отдельных оппозиций предполагает как бы, что в речи фонема противопоставляется не сразу всем другим фонемам, возможным в данном положении, но отдельным фонемам по отдельности, что, конечно, на самом деле не может иметь места. Фонема, таким образом, оказывается как бы рядом последовательных выборов из двух возможностей (/k/, а не /ch/; /k/ а не /ŋ/ и т. д.), хотя на самом деле она, очевидно, одновременный выбор из стольких возможностей, сколько возможно фонем в данном положении. Другими словами, противопоставлению двух фонем, выделенному в результате разложения функции фонемы на ее составные элементы, приписывается самостоятельное существование, а член такого противопоставления, т. е. результат разложения фонемы на ее функциональные составные элементы, принимается за всю фонему.

Какие же оппозиции, однако, выбираются Трубецким для выведения фонологического содержания фонемы? По словам Трубецкого, одномерные оппозиции «для определения фонологического содержания фонемы наиболее существенны» [8], и действительно при выведении РП речь почти всегда идет именно об одномерных оппозициях. Однако из оппозиций, используемых Трубецким при выведении фонологического содержания немецкого /k/, только три первых одномерны (/k—ch k—g k — ŋ/), тогда как две последних (/k — p k — t/), хотя и пропорциональны, но не одномерны. Значит ли это, что вообще при выведении РП надо сначала использовать одномерные оппозиции, а потом неодномерные, но пропорциональные? Но какие, в каком порядке, в каком количестве и почему? И как быть с фонемами, которые не входят ни в одномерные, ни в пропорциональные оппозиции? В частности, из каких оппозиций надо выводить фонологическое содержание немецкой фонемы /h/? Никакого ответа на эти вопросы нельзя найти у Трубецкого. Но, в сущности, ответ очевиден: просто подбираются те оппозиции, которые позволяют констатировать общие признаки, проявляющиеся в реализациях данной фонемы и известные из фонетических описаний ее реализаций. В частности, фонологическое содержание фонемы, не входящей ни в одномерные, ни в пропорциональные

[7] Ср., например, слова Н. С. Трубецкого: «Зависимость фонологического содержания фонемы от ее места в фонологической системе, а следовательно, от структуры этой системы является основополагающим фактом фонологии» (указ. соч., стр. 80). Или слова Л. В. Щербы: «все фонемы каждого данного языка образуют единую систему противоположностей, где каждый член определяется серией различных противоположений как отдельных фонем, так и их групп» (Л. В. Щ е р б а, Фонетика французского языка, М., 1957, стр. 20). Или Э. Сепира (он, в сущности, наиболее полно определяет фонологическое содержание фонемы, хотя его определение несвободно от психологизма, и слова «фонема» он вообще не употребляет): «„Место“ интуитивно находится для звука (который понимается здесь как подлинная „точка в структуре“, а не просто обусловленный вариант) в такой системе в силу общего чувства его фонетического взаимоотношения, являющегося результатом всех специфических фонетических взаимоотношений (таких, как параллелизм, контраст, сочетание, невхождение в сочетание и т. п.) со всеми другими звуками» (E. S a p i r, Sound patterns in language, в кн. «Readings in linguistics», ed by. M. Joos, New York, 1958, стр. 24).

[8] Н. С. Т р у б е ц к о й, указ. соч., стр. 76.

оппозиции, можно вывести из любой ее оппозиции, описав общую фонетическую природу реализаций данной фонемы. Другими словами, выведение фонологического содержания фонемы из оппозиций это вообще такая же иллюзия, как принятое в школьной грамматике определение грамматических категорий посредством вопросов. В действительности не из того, какого вопроса требует данное слово, выясняется грамматическая природа этого слова, но, наоборот, данный вопрос задается потому, что грамматическая природа слова уже заранее известна. Что касается немецкого /k/, то, конечно, заранее было известно из фонетических описаний, что это — смычный, дорсальный (или заднеязычный), напряженный (или глухой) и ненализованный.

Здесь, однако, в защиту выведения РП из оппозиций можно было бы сказать следующее: не всегда РП, выведенные из оппозиций, соответствуют признакам, известным из фонетических описаний, и если бы, например, в немецком языке не было фонем /ch/ или /g/, то оказалось бы, что для /k/ смычность или напряженность не представляют собой РП, т. е. нерелевантны. Но что значит нерелевантность признака? Просто из невхождения данной фонемы в одномерную оппозицию по данному признаку выводится ее, так сказать, отрицательное фонологическое содержание. Но ведь невхождение фонемы в одномерные оппозиции так же не определяет ее место в о в с е й с и с т е м е ф о н е м, как и ее вхождение в такие оппозиции. В частности, /k/ гипотетического языка, где нет /ch/ или /g/, входит все же в оппозиции «смычный — щелевой» или «напряженный — ненапряженный», если в этом языке есть другие щелевые или ненапряженные. Ведь абсурдно было бы считать, что только одномерные оппозиции — это оппозиции, т. е. что другие оппозиции данной фонемы остальным фонемам системы не представляют собой оппозиций данной системы фонем.

Но смысл невключения фонетического признака в пучок РП, образующий фонему, на том основании, что данная фонема не вступает в одномерную оппозицию по этому признаку, заключается, конечно, в том, что тем самым получаются как бы две плоскости — «фонетическая» и «фонологическая» (а фонема и ее реализации действительно лежат в двух разных плоскостях, и это, конечно, не мог не сознавать Трубецкой). Так, в разбираемом гипотетическом случае /k/ оказалось бы «фонетически» смычным или напряженным, но «фонологическим» несмычным или ненапряженным. Однако вторая плоскость в данном случае — это совсем не та функциональная плоскость, о которой говорилось выше, а некая иллюзорная плоскость, которая получилась в результате того, что функциональной плоскости приписана физическая реальность, и эта иллюзорная плоскость описывается в физических терминах, но употребленных не в собственном, а в некоем условном и, в сущности, абсурдном значении: «несмычный» в смысле «смычный», не входящий в одномерную оппозицию с щелевым», т. е. «несмычный» в смысле «смычный». Впрочем, фонема как пучок РП вообще нечто абсурдное в самой своей сущности: будучи физическими свойствами, РП не могут не мыслится как нечто, независимое от оппозиций, в которые вступает фонема; но будучи фонологическим содержанием фонемы, они не могут не мыслится как нечто, существующее только в этих оппозициях.

Вахек утверждает, что идея пучка РП принадлежит не Трубецкому, а Якобсону, который высказал ее еще в 1932 г. в статье в чешской энциклопедии [9]. Определяя фонему как «совокупность фонологически су-

[9] J. V a c h e k, указ. соч., стр. 46. В этой статье Якобсона дается такое определение фонемы: «Фонема ... этим термином мы обозначаем набор тех одновременно дей-

щественных признаков, свойственных данному звуковому образованию», Трубецкой ссылается на эту статью Якобсона [10]. По-видимому, в книге Трубецкого, где все детали продуманы с гениальной четкостью и последовательностью, исходные определения — вообще слабое место. Идея пучка есть также в книге Блумфильда «Язык», вышедшей впервые в 1933 г. [11]. Так или иначе, Якобсону несомненно принадлежит честь блестящего доведения теории пучка до логического конца.

Остроумное новшество в трактовке РП, введенное Якобсоном, заключается в том, что иллюзорная процедура выведения их из оппозиций больше не применяется, а они просто подбираются так, чтобы фонемы оказались пучками максимально простой структуры. Выведение РП из оппозиций было как бы выведением их из объективной реальности, так как невозможно сомневаться в том, что фонемы и оппозиции между ними — объективная реальность. В методике Якобсона иллюзия выведения РП из объективной реальности достигается только тем, что сами признаки, которые принимаются за РП,— не только объективная, но и физическая реальность. Однако из того, что эти признаки — физическая реальность, отнюдь не следует, что их группировки в пучки — физическая реальность. Напротив, их группировки в пучки явно — даже не объективная реальность, а просто удобный способ описания различий между фонемами. Бесспорно, например, что кенгуру — существо сумчатое и хвостатое, тогда как у письмоносца тоже есть сумка, но у него нет хвоста. Отсюда, однако, не следует, что различие между кенгуру, письмоносцем и всеми другими живыми существами заключается в том, что первое — пучок из сумчатости и хвостатости, а второе — из сумчатости и бесхвостости, тогда как обычно люди — пучки из несумчатости и бесхвостости. Пример этот может показаться иррелевантным: ведь между кенгуру и письмоносцем нет фонологической оппозиции. Верно, но в том-то и дело, что по методике Якобсона РП тоже не выводятся из оппозиций, а просто подбираются так, чтобы получить максимально простое описание различия между фонемами.

Акустические характеристики, цифры, спектрограммы и т. п. в работах, в которых разрабатывается новая методика определения РП, создают видимость сотрудничества лингвистов с физиками, сочетания строгости точной науки с лингвистическими знаниями. Но на самом деле обращение к физической реальности оказывается как бы дымовой завесой, за которой незаметным становится, что сущность новой методики — вовсе не обращение к физической реальности, а в приемах сведения РП к возможно меньшему количеству, а их пучков — к наиболее простой структуре.

Основной и наиболее остроумный прием заключается в том, что признаки, обнаруживаемые в физической реальности звуковых языков, сводятся к очень ограниченному количеству пар РП, в каждой из которых один РП принимается за положительный, а другой — за отрицательный (гласный — негласный и т. д.). Это позволяет описать фонологическое содержание фонем в виде матриц, где в соответствующих графах ставятся плюс, минус, сочетание плюса с минусом и т. д. Условность принятия того

ствующих звуковых свойств, которые используются в данном языке для различения слов разного значения».

[10] Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 45.

[11] «Среди общих акустических признаков любого высказывания некоторые из них выступают как дистинктивные, повторяясь в узнаваемой и относительно постоянной форме в отдельных высказываниях. Эти дистинктивные признаки встречаются в виде скоплений или пучков, каждый из которых мы называем фонемой» (Л. Блумфильд, Язык, М., 1968, стр. 78). Правда, в той же книге Л. Блумфильд определяет фонему и как «минимальную единицу различительного фонетического признака» (стр. 77).

или иного члена пары за плюсовый или минусовый особенно очевидна, когда явная недихотомичность распределения РП в фонемах устраняется путем расщепления пары РП на две дихотомические пары (например, пара «компактный — диффузный» расщепляется на «компактный — некомпактный» и «диффузный — недиффузный»). Неоднократно указывалось, что в физической реальности звукового языка нельзя обнаружить дихотомичности акустико-артикуляторных признаков, ни как универсального принципа, ни даже как частных случаев [12]. Что такой дихотомичности нельзя там обнаружить, можно было полагать, конечно, и a priori: если бы РП действительно были элементами, из которых состоят фонемы, т. е. если бы они были функциональной реальностью, то они не были бы доступны непосредственному наблюдению как физическая реальность; и наоборот, раз они доступны непосредственному наблюдению как физическая реальность, они и есть физическая, а вовсе не функциональная реальность, хотя и выдаются за таковую.

Положительный и отрицательный члены дихотомической пары — это совсем не то же самое, что маркированный и немаркированный члены оппозиции у Трубецкого [13]. У него — это только члены одномерной, нейтрализуемой и логически привативной оппозиции, т. е. такой оппозиции, в которой, благодаря ее нейтрализации в известных случаях, то, что различает члены оппозиции, рельефно выступает на фоне того, что обще для них [14]. Другими словами, у Трубецкого маркированность и немаркированность — это нечто вполне реальное (но, конечно, только функционально реальное, а не физически [15]), а вовсе не нечто, произвольно приписываемое членам оппозиции для удобства описания. Немаркированный член в этом смысле обычно чаще встречается, чем маркированный, поскольку, в частности, он оказывается в положении нейтрализации. Заключать отсюда, что член оппозиции, который чаще встречается, и есть немаркированный член,— логическая ошибка. Из того, что человек смертен, не следует, что смертное существо — непременно человек. Более распространенным может быть, очевидно, и то, что вовсе не является немаркированным по отношению к тому, что менее распространено (если, конечно, не употреблять слова «маркированный» и «немаркированный» как наукообразные синонимы словосочетаний «менее распространенный» и «более распространенный»).

Можно допустить, что, хотя дихотомическая структура РП не объективная реальность, она полезна как формализованная модель звукового языка и в то же время модель кибернетического устройства, которое сможет подавать сигналы на искусственном звуковом языке или воспринимать их. Возможно, действительно, что искусственный звуковой язык будущего будет основан на принципе строгой дихотомичности, т. е. будет представлять собой последовательные акты выбора из двух возможностей. Очевидно, однако, что такой механизм речи или ее восприятия — это колоссальное упрощение по сравнению с механизмом естественной человеческой речи: невозможно поверить в существование американца, который, как рассказывают Якобсон и Халле, на вечере в Нью-Йорке, когда хозяин представляет ему кого-то, вместо того, чтобы поздороваться с че-

[12] См., например: Л. В. Бондарко, Л. Р. Зиндер, О некоторых дифференциальных признаках русских согласных фонем, ВЯ, 1966, 1, стр. 10—14.

[13] Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 90.

[14] Ср.: M. I. Steblin-Kamenskij, Neutralization, the word and the thing, «Philologica pragensia», XI, 1968, 1, стр. 29—32.

[15] Поэтому естественно, что такая маркированность — немаркированность экспериментальными методами не обнаруживается (см.: Л. В. Бондарко, Некоторые замечания по поводу маркированности — немаркированности членов фонетических противопоставлений, «Исследования по фонологии», М., 1966, стр. 394—400).

ловеком, которого ему представляют, и назвать себя, совершает, подобно кибернетической машине, длинный ряд последовательных актов двоичного выбора: /dítə/, а не /bítə/; /dítə/, а не /dátə/; /dítə/, а не /dígə/; /dítə/, а не /díti/ и т. п. [16]. Модель, сильно упрощающая действительность, несомненно, бывает нужна и полезна. Так, чучело отпугивает птиц не хуже человека. Но дает ли оно что-нибудь для понимания человека?

Поскольку двенадцать пар РП принимаются за достаточные для описания фонем всех языков мира, число возможных фонем, т. е. пучков РП, тоже оказывается ограниченным (много меньшим, чем число языков, существующих в мире), и таким образом неизбежным становится признание тех или иных фонем в разных языках за тождественные. Однако если считать, что фонему определяет ее место в системе фонем, и если учесть, что системы фонем в разных языках всегда различны, то принятие двенадцати пар РП за достаточные для описания всех языков мира есть либо отказ от признания того, то фонему определяет ее место в системе, либо отказ от точного определения места фонемы в системе, а тем самым и от точного определения различия между фонемами.

Принятие двенадцати пар РП за достаточные для описания всех языков мира есть вместе с тем признание того, что сами РП в разных языках одинаковы. Однако, если РП — это действительно физические признаки, как нас стараются уверить спектрограммами и т. п., то, очевидно, что они не могут быть одинаковыми в разных языках. Очевидно, например, что в разных языках прерванность и непрерванность могут быть разного характера, а звонкость и глухость — в разной степени слиты со слабостью и силой или непридыхательностью и придыхательностью. Игнорирование этих особенностей в отдельных языках — это отказ от определения своеобразия в фонемных оппозициях данного языка, т. е. в данной фонологической системе, и в то же время признание того, что РП — это, в сущности, не физическая реальность, а нечто совершенно условное.

С одной стороны, утверждается, что РП — это физическая реальность и приводятся цифры, спектрограммы и т. п., долженствующие, по-видимому, подавить тех, кто, как большинство лингвистов, не сильны в математике и физике. Но с другой стороны, приемы сведения РП к возможно меньшему числу явно подразумевают, что принятие признаков за одинаковые или неодинаковые и их включение или невключение в пучок, образующий фонему, определяются в конечном счете не объективной реальностью, а соображениями экономии в описании. Трубецкой исключал из пучка, образующего фонему, признак, по которому данная фонема не образует одномерной оппозиции. Логически это необоснованно, как указывалось выше. Однако отсутствие одномерной оппозиции — это все же объективная реальность. В методике Якобсона признаки объединяются в один РП или признаются за избыточные только в соответствии с удобством описания. Так, если два сходные (но явно не одинаковые) признака не встречаются одновременно в одном языке, то они принимаются за один РП. Если признак *a* встречается только в сочетании с признаками *cd*, а признак *b* — только в сочетании с признаками *de*, то признаки *a* и *b* принимаются за один РП (можно при этом постараться найти что-нибудь сходное в них). Разные признаки, объединенные в один РП, будут тогда разными «проявлениями» или «реализациями» одного РП [17] (и это равносильно признанию того, что РП может «реализоваться» в чем-то, отличным от него самого, т. е. что РП есть нечто, отличное от физической реаль-

[16] Р. Якобсон, М. Халле, Фонология и ее отношение к фонетике, «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 231.

[17] См., например: Р. Якобсон, Г. М. Фант, М. Халле, Введение в анализ речи, «Новое в лингвистике», II, стр. 204 и 207.

ности). Если признак *a* всегда сопутствует признаку *b*, то любой из них считается избыточным. Если признаки *a* и *b* всегда сопутствуют признаку *c*, а признак *b* всегда сопутствует признаку *d*, то и *a* и *b* считаются избыточными. Если признак *a* сопутствует только сочетаниям признаков *bcd*, *bce*, *bcf* и сочетание *bc* больше не встречается, то признак *a* считается избыточным. Перечень таких примеров можно было бы умножить. Но, в сущности, все они лишь более или менее очевидные следствия одного общего принципа: фонетическими или фонологическими фактами можно пренебречь, если таким путем можно добиться уменьшения числа РП.

Не случайно, что в то время как при определении состава фонем лингвисты, исходящие из совершенно разных теорий, приходят к очень сходным или даже тождественным результатам, при определении состава РП лингвисты, исходящие из той же теории пучка и применяющие описанные выше приемы, приходят к различным результатам. Дело, очевидно, в том, что фонемы — это объективная реальность, тогда как пучки РП — это только способ описания, представляющийся тому или иному исследователю наиболее удобным. Но под удобством описания можно понимать не только возможно меньшее количество обозначений, используемых в описании, но также и возможность графического изображения в виде симметричной геометрической фигуры. Отсюда — треугольники, квадраты, кубы и прочие геометрические фигуры, которые в фонологических работах выдаются за графические изображения системы фонем. Если считать, что систему фонем данного языка образуют все, возможные для фонем данного языка оппозиции, во всех, возможных для этих фонем положениях, то, конечно, такую сложную и многоплановую систему графически изобразить нельзя. Но если считать, что система фонем — это ряд дискретных элементов первого порядка (фонем), состоящих из дискретных элементов второго порядка (РП), менее многочисленных, чем элементы первого порядка, то трудно устоять против соблазна изобразить систему фонем в виде симметричной геометрической фигуры или клеток, пожертвовав при этом объективностью ради симметрии.

Одному из авторов этой статьи пришлось однажды вести в печати полемику о системе исландских гласных [18]. В процессе этой полемики пятью авторами (двумя американцами, норвежцем из США, исландцем и русским) было предложено семь симметричных, но совершенно различных схем — пять плоскостных и две трехмерных в виде треугольной и пятиугольной призм. Особенно изящна была пятиугольная призма, предложенная норвежцем. Однако во всех семи случаях симметрия достигалась только тем, что в подборе РП и их распределении по пучкам игнорировались те или иные фонетические или фонологические факты. Даже схема русского автора, уже тогда ратовавшего против симметрии в фонологических решениях (но тогда еще не осознававшего всей абсурдности теории пучка), оказалась в какой-то мере симметричной и поэтому содержала отступления, по меньшей мере графические, от фактов. Настолько трудно тому, кто принимает фонему за пучок РП, устоять против соблазна пренебречь, ради симметрии, фактами!

Но соблазн этот еще гораздо сильнее в диахронической фонологии.

Всякий синхронный анализ языка подразумевает отвлечение от того, что язык существует во времени и тем самым от того, что язык изменяется. Поэтому методы, разрабатываемые в синхронном анализе языка, как правило, и не рассчитаны на то, чтобы годиться для исследования истории языка, т. е. его изменений. Это особенно очевидно в методах сов-

[18] Полемика эта изложена в статье: М. И. Стеблин-Каменский, О симметрии в фонологических решениях и их неединственности, ВЯ, 1964, 2, стр. 45—52.

ременной фонологии. Если пучок РП — модель, сильно упрощающая и искажающая действительную сущность фонемы, то естественно, что упрощение и искажение касается в первую очередь того, что существует во времени, т. е. изменяется. Ведь пучок РП—это инвариант, то, что существует в отвлечении от конкретных реализаций. Фонема не только всегда представлена разными реализациями в разных положениях, или разными аллофонами, но и каждый отдельный аллофон в каждой отдельной реализации в речи каждого отдельного человека не может быть абсолютно тождественным себе. Таким образом, пучок РП — это вообще отвлечение от существования языка во времени, т. е. от его изменения.

Вероятно, не случайно Трубецкой так и не разработал применения своей фонологической теории к истории звуковых изменений. Даже изменения фонологического содержания отдельной фонемы не могут быть описаны в терминах РП в его понимании. Так, согласно этому пониманию, немецкая фонема /k/, которую он рассматривает, иллюстрируя процедуру выведения фонологического содержания фонемы из оппозиций, осталась бы абсолютно тем же самым пучком из четырех РП (смычности, неназализованности, напряженности и дорсальности), если бы в немецком языке исчезли, например, фонемы /h/ или /l/ или /m/ или /pf/ и т. д. (ведь пучок, составляющий /k/, выводится только из оппозиции с /ch ŋ g t p/) или если бы радикально изменилась дистрибуция любой фонемы немецкого языка (ведь дистрибуция фонем вообще никак в пучке РП не отражается). Между тем, что же такое фонологическое содержание фонемы, если не то, каким другим фонемам и в каких позициях она противопоставляется? Тем, кто применяет теорию РП, разработанную Трубецким, в диахронии, приходится, однако, считать фонологическим содержанием фонемы нечто совсем другое. Так, например, Мартине, рассматривая превращение ряда палатальных в ряд шипящих в языке, где, кроме того, есть еще ряд апикальных или дорсальных, утверждает, что это превращение «никак не изменяет фонологическую природу апикальных или дорсальных» [19], т. е. то, что с появлением шипящих для апикальных или дорсальных появились совершенно новые оппозиции, не представляется Мартине фонологическим фактом, поскольку в графической схеме, которую он принимает за фонологическую систему, все остается по-прежнему (все клетки заполнены, как и раньше).

В терминах якобсоновской теории РП нельзя описать не только изменения фонологического содержания фонемы, но и изменения в содержании отдельного РП, поскольку для удобства описания они принимаются за одинаковые во всех языках, а следовательно, и во все периоды существования отдельного языка, а в ряде случаев признаки, физически разные, но чем-то сходные, принимаются за один РП (так, губные и переднеязычные согласные объединяются в компактные, долгие, сильные и придыхательные согласные — в напряженные и т. д.). Известно, однако, что наиболее крупные и важные изменения, происходившие в истории языков (так называемые передвижения согласных или сдвиги гласных) были изменениями в содержании признаков, общих для целого ряда фонем, т. е. изменениями в содержании того, что в фонологии называется РП.

Существенное отличие применения теории пучка в диахронии от ее применения в синхронии заключается в том, что в диахронии пучки РП не выводятся из фонетических описаний (таких описаний для прошлых периодов истории языков, как правило, нет, а заключать о фонетическом

---

[19] А. Мартине, Принцип экономии в фонетических изменениях, Л., 1960, стр. 236. Ср.: G. Voronkova, Hvislelyder i norsk, NTS, XXIII, 1969, стр. 114—127.

прошлом языка из его современных описаний можно только в редких случаях), а конструируются из показаний письменности, т. е. в сущности, в виду скудости этих показаний, постулируются в соответствии с общими представления о том, какие бывают пучки РП. Именно этим объясняется, конечно, тот знаменательный факт, что среди фонологов подчас обнаруживается меньше разногласий, если речь идет о языке древнем, для которого нет фонетических описаний и фонологическая система которого может быть в сущности только постулирована, чем если речь идет о современном языке, для которого есть множество фонетических описаний, в том числе и экспериментально-фонетических. Как упоминалось выше, для современного исландского языка было предложено семь различных сведéний его системы гласных к пучкам РП. Между тем истолкования древнеисландской системы гласных в терминах РП были гораздо единообразней и различались между собой в сущности только в терминологии [20]. Всего меньше разногласий существует в отношении праскандинавских гласных (о их реализациях всего меньше известно!).

Но, пожалуй, наиболее существенная особенность применения теории пучка в диахронии заключается в том, что в диахронии структуру, приписываемую фонемам, принято истолковывать как то, что обусловливает изменения самой этой структуры. Речь идет о причинно-следственных объяснениях звуковых изменений различного рода структурными (или системными) факторами, т. е. объяснениях, которые блестяще разработал Мартине в его цитированной выше книге и которые с его легкой руки стали настолько популярны в диахронической фонологии, что почти нет работ в этой области науки, где бы их не было.

Техника этих объяснений, как она представлена в многочисленных работах по диахронической фонологии, сводится к следующему. За причину или фактор или, в более осторожной формулировке, возможную причину и т. д., принимается отсутствие равновесия системы, ее недостаточная экономность, в частности — наличие «пустой клетки», отсутствие симметрии в распределении фонем в клетках или РП в пучках, различного рода требования экономии языковых средств и т. д. и т. п. (нельзя перечислить все частные возможности такого рода, они очень разнообразны), а само звуковое изменение истолковывается как восстановление равновесия или симметрии, удовлетворение требований экономии языковых средств, урегулирование распределения фонем в их клетках или РП в их пучках и т. д. Поскольку, однако, система пучков РП конструируется тем самым исследователем, который должен обнаружить в ней восстановление равновесия в результате звукового изменения, то естественно, что эта система конструируется так, чтобы данное изменение оказалось в том или ином отношении восстановлением равновесия. Обычно это не представляет никакого труда: отсутствие фонетических описаний и скудость показаний письменности всегда оставляют широкие рамки, в пределах которых должны конструироваться пучки РП. Кроме того, по-видимому, всякое звуковое изменение — это и в самом деле всегда в тех или иных отношениях восстановление равновесия и в то же время в тех или иных отношениях его нарушение. Если бы это было не так, то во всех языках всегда было бы достигнуто абсолютное равновесие, чего, однако, не наблюдается.

Но у объяснений звукового изменения тем, что оно было восстановлением равновесия, есть более существенный недостаток. Всякое такое объяснение, в сущности, так же тавтологично, как указание на отсутствие движения как причину того, что это отсутствие должно прекратиться

[20] См.: М. И. Стеблин-Каменский, Система гласных в исландском и ее история, в его кн. «Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков», Л., 1966, стр. 55—78.

и начнется движение в том или ином направлении. Ведь и при нарушенном равновесии система существует какое-то время, иногда в продолжении веков, и нарушение равновесия никогда не вызывает сразу же, автоматически, его восстановления. Следовательно, нарушенное равновесие — это вовсе не причина или фактор звукового изменения, а только условие возможности такого изменения. Вместе с тем, направление, в котором может произойти восстановление равновесия, никогда не бывает единственным, и, следовательно, нарушенное равновесие — это даже не условие возможности д а н н о г о изменения, а вообще — условие возможности восстановления равновесия. Очевидно, что указание на такое условие — тавтология. По сравнению с классической исторической фонетикой, к которой фонологи-историки склонны относиться несколько пренебрежительно, диахроническая фонология, которая сводится к такого рода объяснениям звуковых изменений, представляет собой, в сущности, регресс. Историческая фонетика устанавливала факты, которые, правда, не были изложены в фонологических терминах, но до сих пор остаются в основном не опровергнутыми. Диахроническая фонология дает иллюзорные и тавтологические объяснения фактов, установленных классической исторической фонетикой.

Тем не менее, увлечение фонологов-историков системным фактором понятно. Во-первых, в языке, конечно, действительно есть системность, и это стало, в сущности, впервые очевидным с возникновением фонологии, т. е. учения о фонеме. Но только это несомненно гораздо более сложная системность, чем та, которую подразумевают пучки РП, клетки, кубики, матрицы и тому подобная примитивная формализация, и притом эта системность, по-видимому, всегда — только тенденция. Во-вторых, на объяснение звуковых изменений системным фактором наталкивает фонолога-историка теория пучка. Ведь если принять эту теорию, то история звуковых изменений превращается в ряд последовательных синхронных описаний того, что принимается за инварианты, т. е. пучков РП. Единственный возможный диахронический момент в такой истории — это действие системного фактора, т. е. самопорождение инвариантов. При этом можно дойти и до такого вывода, не лишенного известной логичности, как он ни абсурден: реализациями фонем, аллофонами и вообще звуковой реальностью в истории языка следует полностью пренебречь, эта реальность как бы и не существовала, а если и существовала, то ее целиком определяли конструируемые фонологом пучки РП, предпочтительно бинарных, а ее изменения были лишь автоматическим отражением тех скачков, которые претерпевали эти пучки от одного синхронного среза к другому под влиянием системного фактора [21].

Таким образом, если рассуждения, развиваемые в настоящей статье, верны, то положение «фонема — пучок РП» опровергнуто. Но этим, конечно, не ставится под сомнение научная ценность данного положения. Ибо, как удачно сказал Йос, «научное положение — это такое положение, которое можно опровергнуть» [22].

---

[21] См.: Я. Б. К р у п а т к и н, Об аллофонических реконструкциях, ВЯ, 1969, 4.

[22] См.: «Readings in linguistics», ed. by M. Joos, New York, 1958, стр. 31.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

А. В. ФЕДОРОВ

О СООТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО И ЦЕЛОГО В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА КАК ТВОРЧЕСТВА

Можно, пожалуй, без преувеличения утверждать, что ни одна область филологии — и традиционной и структурной — не развивалась за последнюю четверть века так бурно и энергично, как теория перевода. Сейчас круг филологов — как лингвистов различных специальностей, так и литературоведов, исследующих проблемы перевода (и художественной литературы, и нехудожественных текстов) — расширился необыкновенно по сравнению с тем, что было лет 40—50 тому назад, и в число этих ученых вошли и такие, которые еще сравнительно недавно не были причастны к данной сфере интересов. Факт этот говорит о том, насколько актуальной стала теперь в общенаучном плане теория перевода и как разносторонни ее отношения с другими смежными науками, и в связи с этим же стоит разнообразие тематики, проблематики, материала, рассматриваемых в современных работах о переводе — монографиях, учебниках, диссертациях, статьях, докладах на конференциях, симпозиумах, совещаниях, почти периодически посвящаемых темам перевода в разных странах мира. в том числе в СССР, и оставляющих след в виде объемистых сборников материалов или тезисов [1].

Неоднократно поднимавшийся в прошлом вопрос о том, может ли существовать наука о переводе — теория перевода, уже довольно давно решен в положительном смысле и вряд ли нуждается в дополнительном рассмотрении; недискуссионным представляется и положение, что сама практика перевода не только как профессиональной деятельности, но и как творческого дела, как «высокого искусства», с пользой может применять (разумеется, не механически, а критически) данные, добытые этой наукой (хотя, конечно, в действительности далеко не все переводчики — независимо от характера работы и от уровня профессиональной квалификации или /и художественного мастерства — пользуются этими данными, нередко открывая для себя уже открытые теорией Америки).

Тем не менее теория перевода — в отличие от традиционных отраслей филологии — остается молодой научной дисциплиной, и одним из свидетельств этой «молодости» служит еще весьма неравномерная осведомленность ученых одних стран о сделанном их предшественниками и современными им теоретиками в других странах. Преобладают, правда, работы, отражающие весьма широкую или даже исчерпывающую эрудицию их авторов в пределах избранного круга вопросов — как например труд Ж. Мунена «Les problèmes théoriques de la traduction» (Paris, 1963), или И. Левого «Umění překladu» (Praha, 1963), но наряду с ними встречаются и такие, где обнаруживается знакомство с научной литературой преиму-

[1] См., например: «Актуальные проблемы теории художественного перевода. Материалы Всесоюзного симпозиума (25 февраля — 2 марта 1966 г.)», I—II, М., 1967; «Вопросы теории и методики преподавания перевода», I—II, М., 1970.

щественно или / и исключительно только на западноевропейских языках — как, например, книга Дж. К. Кэтфорда «A linguistic theory of translation» (London, 1965, переиздание — 1967) или Ф. Гюттингера «Zielsprache. Theorie und Technik des Übersetzens» (Zürich, 1963), безусловно, близкая по своим теоретическим принципам и практической установке точке зрения многих советских филологов, писавших о переводе, но оставшихся автору неизвестными. Надо полагать, что в ходе дальнейшего развития науки о переводе взаимный обмен информацией будет расти и пробелы, подобные указанным, перестанут повторяться.

Несмотря на то, что теоретическое изучение проблемы шло у разных исследователей разными путями в зависимости от характера и направления их интересов, от состояния, задач и методов филологической науки и от уровня культуры перевода в той или иной стране, несмотря на то, что в ряде случаев отсутствовала методологическая преемственность между теоретиками разных поколений, а ученые-современники не всегда бывали знакомы с опытом друг друга, основным понятием, стоявшим в центре внимания теоретиков и критиков перевода уже в течение ряда десятилетий, являлось понятие смысловой или / и стилистической функции языкового средства. Это понятие фактически занимало главное место также и в работах не строго научного, а популярного или литературно-критического характера, хотя там оно часто выступало и под нетерминологическими названиями (такими, как «впечатление», «эффект», «воздействие», «смысл» и т. п.). Важность понятия функции (в его точном терминологическом или неточном выражении) вполне ясна, если принять в расчет глубочайшие функциональные различия лексико-семантических, грамматических, стилистических средств разных языков даже при частичном или /и полном формальном сходстве их в ряде случаев. Понятие функции является определяющим для принципа переводимости, впервые сформулированного в отечественной филологии и принятого теперь также в зарубежной теории перевода (Ж. Муненом).

Функция отдельных элементов языковой формы (плана выражения) выявляется только из их взаимодействия в речи (в функциональном стиле или в индивидуальном стиле писателя), а воссоздание их функции в переводе имеет предпосылкой динамическое понимание самого процесса перевода в единстве планов содержания и выражения. Понятие процесса перевода — теперь также в центре внимания, как о том, в частности, свидетельствуют и две содержательные статьи по проблемам перевода, помещенные в нынешнем году на страницах «Вопросов языкознания» [2].

Обостренный интерес именно к этому процессу пришел в работах последнего десятилетия (и отечественных, и зарубежных) на смену тому интересу, который ранее привлекало к себе взаимоотношение между подлинником и переводом, как некой статической данностью, как результатом уже совершившегося творческого акта.

Впрочем, что касается т в о р ч е с к о й сущности этого акта, необходимы оговорки и уточнения. За последние 10—15 лет, в течение которых появился и развивался машинный перевод, возникла и возможность и необходимость различать перевод как творческую деятельность человека и перевод как работу, которая допускает автоматизацию, может быть доверена электронной машине и тем самым перестает быть творческой [3].

[2] Ю. А. Найда, Наука перевода, ВЯ, 1970, 4; А. Д. Швейцер, К проблеме лингвистического изучения процесса перевода, там же.

[3] Нельзя не согласиться по этому поводу с утверждением Н. Д. Андреева: «Кибернетика среди многих своих заслуг может числить и нечаянную выработку переменного нижнего порога для творческих актов: все то, что уже могут сделать машины, творчеством более не является» (Н. Д. Андреев, Методы статистико-комбина-

Как известно, эти два вида перевода И. И. Ревзин и В. Ю. Розенцвейг предложили обозначать как интерпретацию и собственно перевод и дали для каждого из них особую схему, первая из которых характеризуется невозможностью перейти прямо от высказывания на исходном языке (ИЯ) к высказыванию на переводящем языке (ПЯ) и необходимостью обращения к данным внеязыковой действительности, к собственному опыту и памяти переводчика, а вторая — прямолинейностью перехода от сообщения на одном языке к сообщению на другом [4].

Но и независимо от противопоставления двух видов перевода — «человеческого» и машинного, автоматизованного,— была предложена схема процесса перевода как деятельности творческой, протекающей в сознании человека и рассчитанной на восприятие человеком [5]. Интерес, проявляемый исследователями к процессу перевода, знаменателен и закономерен на том новом этапе развития теории перевода, для которого характерно стремление уяснить на уровне языка и уровне речи весь комплекс взаимоотношений между оригиналом и возникающим переводом. Однако всякая конструируемая схема процесса по неизбежности обедняет именно его динамическую сущность, поскольку не учитывает—и не может учитывать реальных и специфических, конечно, для различных случаев — конкретных особенностей протекания этого процесса у переводчиков разного творческого и психического склада (под творчеством здесь следует разуметь сложные, требующие напряжения и изобретательности виды работы по передаче иноязычных текстов на другой язык, в первую очередь, конечно, перевод художественной литературы как сложнейшую из таких работ, требующую прежде всего литературного таланта и филологической культуры).

Между тем психология художественного творчества (в частности, литературного) изучена еще мало, а психология перевода (также и перевода художественного) практически еще не разработана вовсе [6] — ни экспериментально, ни путем опросов, ни путем анализа текстологических данных. Если для представления о психологии литературного творчества богатый материал давало и дает рукописное наследие поэтов и прозаиков, сохранившиеся варианты и разные редакции их произведений, позволяющие видеть ход работы писателя, поиски решения, следы замен, то в отношении деятельности переводчиков архивные данные используются вообще крайне редко, хотя их анализ и может приводить к ценнейшим результатам. В качестве примера плодотворных наблюдений над материалом рукописей поэтов-переводчиков может быть названа книга Л. Мкртчяна «Армянская поэзия и русские поэты XIX—XX вв.», где автор внимательно прослеживает соотношение разных рукописных вариантов переведенных Брюсовым и Блоком стихотворений армянских лириков. Примеры приводимой исследователем авторской правки отнюдь не однотипны, поскольку она касается и выбора слов и их расположения, и говорят о различных мотивах замен — мотивах, которые, конечно, сохраняют известную долю предположительности, но в общем могут быть восстановлены путем анализа соотношения редакций. Вот два примера из наблюдений над рукописями В. Брюсова с комментариями к ним автора книги:

торного анализа языка в действии и в перспективе, сб. «Статистико-комбинаторное моделирование языков», М.— Л., 1965, стр. 7).

[4] См.: И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг, Основы общего и машинного перевода, М., 1964, стр. 56—60.

[5] O. Kade, Kommunikationswissenschaftliche Probleme der Translation, в кн.: «Grundfragen der Übersetzungswissenschaft», Leipzig, 1968.

[6] Это также отмечает Б. С. Мейлах в статье «Психология художественного перевода как научная проблема (Постановка вопроса)» (сб. «Русско-европейские литературные связи», М.— Л., 1966).

«1. Над гнездами змей разобью свой шатер, где спит скорпион, разобью свой шатер.

2. Разобью свой шатер там, где гнездо ехидн, там, где спит скорпион, разобью свой шатер.

3. Где гнезда ехидн, разобью свой шатер! Разобью свой шатер, где спит скорпион.

Редакции этих строк разнятся, помимо всего, лексически. Однако, В. Брюсова интересовал и порядок расположения слов. Поэт пробовал было поставить в начале строки глагол, но для выражения мысли Абул Ала Маари существенно именно, где он разобьет свой шатер, и потому в беловой редакции строка начинается с придаточного предложения места. „Где гнезда ехидн..." — это должно выделяться. Благодаря такой расстановке слов сильнее подчеркивается решимость Маари уйти от людей, пусть даже к скорпионам и змеям» [7]. И далее: «Есть, впрочем, и ряд таких случаев, когда нелегко объяснить логику правки, логику замены слова его синонимом: 1. И караван под звон бубенцов стремительно быстро бежал, трепеща. 2. И караван под звон бубенцов безудержно быстро бежал, трепеща. Очень возможно, что здесь предпочтение отдано наречию „безудержно" из-за звукописи стиха. Это слово... содержит характерные для звукописи согласные (Ср. „звон", „бубенцов", „бежал")» [8].

Подобные данные, конечно, отражают процесс перевода — в данном случае в одной из его сложнейших форм, поскольку речь идет о переводе поэтическом. Данные рукописной правки прозаических переводов позволили бы яснее и точнее представить себе процесс их создания, тоже достаточно сложный. Однако в отличие от исследований оригинального творчества писателя, в которых текстологические данные более или менее часто привлекаются к изучению, работы о деятельности переводчиков, даже выдающихся, чрезвычайно редко дают сведения текстологического порядка, которые позволили бы судить о том, как развивался процесс создания перевода. К тому же положение с рукописным наследием вообще — с архивами переводчиков (и поэтов и прозаиков), за исключением тех случаев, когда дело касается крупных писателей, занимавшихся также переводами (как, например, русские классики XIX в., из поэтов XX в. — Брюсов, Блок и др.) или отдельных выдающихся мастеров художественного перевода (как, например, М. Л. Лозинский, чей архив хранится в полном составе и неприкосновенности [9]) — отнюдь не является благополучным: несомненно, что богатейший материал, который дал бы возможность судить о творческом процессе во всей его конкретности, не только не используется, но даже, по-видимому, в огромном большинстве случаев не сохраняется. А без учета подобных данных, без «текстологии перевода» все предлагаемые схемы переводческого процесса по неизбежности будут либо весьма абстрактными, либо к тому же не будут и гарантированы от произвольности. Если рукописные (вообще — архивные) тексты переводов со всеми содержащимися в них вариантами будут обследованы и систематизированы в более широком масштабе и с определенной степенью обстоятельности, это создаст условия также и для того, чтобы выяснить во всей конкретности несомненные отличия процесса перевода художественной лите-

---

[7] Л. Мкртчян, Армянская поэзия и русские поэты XIX—XX вв. Вопросы перевода и литературных связей, Ереван, 1968, стр. 116—117.

[8] Там же, стр. 119. См. также материал, связанный с наблюдениями Л. Мкртчяна над рукописями переводов А. Блока из Ав. Исаакяна — стр. 148—157, и разными редакциями и вариантами перевода эпоса «Давид Сасунский» (В. Державина, А. Кочеткова, К. Липскерова, С. Шервинского) — стр. 215—232.

[9] См. о нем.: Е. Г. Эткинд, Архив переводчика, сб. «Мастерство перевода». М., 1959.

ратуры от процесса оригинального литературного творчества как не зависимого от соотношения с иноязычным прообразом. Разница между тем и другим в принципе, очевидно, может быть сведена к тому, что варианты перевода, сохраняющего верность оригиналу, остаются то в более, то в менее широких пределах синонимически параллельными друг другу, тогда как варианты текста оригинального произведения могут быть нисколько не синонимичны [10].

Но даже из непосредственного соотношения оригинала как исходного момента и перевода как результата уже совершившегося процесса (без учета последовательности отдельных его стадий), могут быть получены некоторые данные, характеризующие динамику этого процесса. Если подлинник — нечто, заранее заданное, представляющее собой отнюдь не механическую совокупность, а систему взаимосвязанных элементов разных уровней языка, складывающихся в речевое произведение и тем самым выполняющих стилистические функции, которые определяются из их взаимодействия и дают основание для выявления среди них некой доминанты, то процесс перевода предполагает не зеркальное и не пассивное отображение этой системы, а активный отбор соответствий, имеющихся в другом языке, своего рода борьбу между элементами этого языка за свое место в переводе как новом речевом произведении.

И здесь возникает вопрос о роли понятия закономерных соответствий в концепции теории перевода и о соотношении языка и речи при переводе.

Если справедливо, что целью процесса перевода является создание речевого произведения, соответствующего по своему смысловому содержанию и стилистическим функциям оригиналу как смысловой и эстетической системе, то не менее очевидно, что это речевое произведение не сразу возникает как целое, что оно складывается из многих отрезков, вырастающих постепенно, не сразу же принимающих окончательную форму связи друг с другом; это речевое произведение возникает путем выбора и замены вариантов (для больших и меньших отрезков) — в зависимости от задачи целого, путем выбора между «конкурирующими», «борющимися» между собой возможностями. Этот процесс, приводящий к созданию речевого произведения, в высшей степени динамичен — в плане речи.

Но этот динамический процесс совершается на основе определенных, вполне объективно существующих отношений между двумя языками,— отношений, которые представляют в своем роде устойчивую закономерность и позволяют говорить о наличии закономерных соответствий между конкретными средствами двух языков, когда они представлены двумя речевыми произведениями — подлинником и переводом. Классификация этих закономерных соответствий, предложенная Я. И. Рецкером впервые в 1950 г. [11], известна и дает три основные рубрики (эквиваленты, аналоги, адекватные замены), в пределах которых намечаются еще подрубрики как в лексико-семантическом, так и в грамматическом аспекте.

С наибольшей четкостью определено понятие эквивалента, применимое преимущественно к области терминологии в широком смысле (т. е. с включением и политической номенклатуры — названий партий, государственных учреждений, государств и т. п.) и к некоторым грамматическим конструкциям (например, обстоятельственное придаточное предложение немецкого языка, вводимое союзом *indem*, переводится на русский язык, как правило, деепричастным оборотом в случае согласования с под-

[10] См. об этом: А. В. Федоров, К вопросу о стилистическом эксперименте, в кн.: «Вопросы теории и истории языка. Сборник статей, посвященный памяти проф. Б. А. Ларина», Л., 1969, стр. 119.

[11] Я. И. Рецкер, О закономерных соответствиях при переводе на родной язык, сб. «Вопросы теории и методики учебного перевода», М., 1950.

лежащим главного предложения). Этот вид соответствия, как постоянный и равнозначный по отношению к элементу языка оригинала и не зависящий от контекста в условиях определенного времени и жанра (так, франц. *oxygène*, англ. *oxygen*, нем. *Sauerstoff* и русск. *кислород* всегда эквивалентны друг другу), по самому существу предполагает наибольшую устойчивость (если и не полную статичность, поскольку и он в известных случаях может быть замещен местоимением): недаром именно эквиваленты оказались так полезны при машинном переводе, для которого если не абсолютно обязательно, то максимально желательно полное постоянство взаимосоответствий между двумя языками (в пределах подъязыка, к которому относится переводимый текст).

Понятие аналога дано Я. И. Рецкером в более широком толковании, поскольку оно предполагает выбор между двумя (или/и более, чем двумя) возможностями перевода на основании смыслового параллелизма между ними по отношению к оригиналу. Тем самым степень предполагаемой зависимости от конкретных условий контекста оригинала и перевода возрастает, а степень устойчивости (тем более — статичности) ослабляется.

Что касается третьего вида закономерного соответствия — адекватной замены, которой впоследствии автор классификации дал новое терминологическое обозначение: «описательный перевод»[12] (на наш взгляд, менее удачное, так что предпочтение оказывается первоначальному варианту термина), то его закономерность наиболее относительна, а степень устойчивости по отношению к подлиннику допускает наибольшие колебания, как это явствует из самого определения («... для точной передачи мысли переводчик должен оторваться от буквы подлинника, от словарных и фразовых соответствий и искать решение задачи, исходя из целого: из содержания, идейной направленности и стиля подлинника»[13]). Включение адекватной замены в число закономерных соответствий не является, однако, результатом случайности или неточности классификации, а диктуется, надо полагать, противопоставленностью этого вида соответствия двум первым. Впрочем подвиды адекватной замены, охарактеризованные Я. И. Рецкером с большей точностью, чем это общее понятие, ближе и подходят под понятие закономерного соответствия, например, «конкретизация недифференцированных и абстрактных понятий» или «антонимическая замена» — способ перевода слова с помощью антонима, сопровождаемого отрицанием, типа: англ. *take it easy* — русск. «не волнуйтесь, не беспокойтесь»).

Закономерность описанных Я. И. Рецкером трех видов соответствий и их подвидов состоит еще и в том, что они оказываются характерными для трех основных разновидностей перевода, преобладающих или представляющих тенденцию к преобладанию в каждой из них (эквиваленты — в переводе научно-технического, официально-делового, газетно-информационного материала, аналоги — в переводе общественно-политической литературы и публицистики, адекватные замены — в переводе художественной литературы). Достоинство всей классификации в том, что она охватывает все основные типы отдельно взятых соответствий средств перевода подлиннику, реально взаимодействующих при воссоздании иноязычного текста.

Возможность распределить различные случаи соотношения между оригиналом и переводом по группам «закономерных соответствий» означает, конечно, необходимость вычленения из состава речевого произведения (уже полностью данного нам — в оригинале или хотя бы только воз-

[12] Я. И. Рецкер, Теория и практика перевода с английского языка на русский. Краткий курс лекций для заочного обучения, М., 1956.

[13] Сб. «Вопросы теории и методики учебного перевода», стр. 158.

никающего перед нами — или конструируемого нами — в переводе) отдельных элементов или единиц, более или менее условных, не всегда осознаваемых самим переводчиком. Но эта возможность отнюдь не означает автономии самих этих элементов или единиц, не равносильна пониманию соотношений между деталями оригинала и перевода как статичных, заранее данных, незыблемых, независимых от целого. Конкретное применение того или иного вида соответствий (в том числе и строго терминологических эквивалентов) осуществляется всегда в системе целого, и динамика процесса перевода заключается прежде всего в чрезвычайной подвижности связей, которые возникают между отдельным и целым. Целое здесь невозможно как некий нерасчленимый и сразу полностью создающийся монолит, но оно же невозможно и как простая сумма, механическая совокупность отдельных элементов; без последних оно не обходится, они могут возникать в сознании переводчика и бессистемно, даже хаотически, но самый выбор их подчиняется постепенно рождающемуся целому, а выбор того или иного отдельного элемента может быть не прямо подчинен этому целому (линия связи с которым не всегда и прослеживается), а согласован с выбором других элементов в ближайшем его окружении или даже на некотором расстоянии от него, если с ними у него устанавливаются существенные для смысла или для решения художественной задачи взаимодействия.

Именно в связи с разнообразием и многосторонностью, а также и многостепенностью отношений, в которые отдельное языковое и стилистическое средство вступает с другими элементами создающегося перевода, заключается трудность (если не невозможность) установления постоянной единицы перевода. Что ею не может быть признано слово, сомнений не вызывает. Но автономной и постоянной единицей не может считаться и предложение и даже более крупный отрезок текста (цепь предложений или даже абзац), ибо слишком переменный характер имеют смысловые и в особенности стилистические отношения между всеми этими отрезками текста (и не только в произведении художественной литературы). Порою слова, повторяющиеся в подлиннике на значительном расстоянии друг от друга, требуют воспроизведения одним и тем же словом в переводе, чему контекст в отдельных местах может оказать и сопротивление, а это в свою очередь может вызвать необходимость для переводчика искать среди слов своего языка такое, которое одинаково подходило бы для всех этих разных контекстов, но которое по своему номинативному значению отдалялось бы при этом от соответствующего повторяющегося слова оригинала.

Таким образом, каждое слово, каждое предложение, каждая цепь предложений как в подлиннике, так и в переводе, соотносятся с огромной массой других единиц и единств в составе текста, включаются в единства и более и менее высокого порядка, и поэтому даже говоря о переводе отдельно взятого слова, всегда приходится учитывать роль его окружения, которое в известных случаях может требовать все новых и новых поисков вариантов [14]. При этом, конечно, немаловажная роль в переводе как художественной, так и общественно-политической литературы принадлежит ритмическому или/и фонетическому критерию, который может потребовать изменений в семантике слов (т. е. отступления от заданного подлинником их номинативного значения) и синтаксических перегруппировок — ради соблюдения звукового повторения или определенной

[14] Об этом мне уже пришлось писать в книге «Основы общей теории перевода» (М., 1968, стр. 159—160), и это же положение приходится подчеркнуть и сейчас во избежание недооценки динамического характера процесса перевода.

ритмической структуры или для устранения случайной рифмы или трудно произносимого скопления звуков. Здесь все теснейшим образом взаимопереплетается, а порою и сталкивается, и необходимость уравновешивания становится также одной из задач перевода, отражающейся на содержании творческого процесса.

Именно такова динамика этого процесса, как она протекает в сознании переводчика и как она отражается на бумаге в виде отвергнутых и замененных другими вариантов, перестановок и т. п., и вряд ли он поддается изображению в виде схемы или модели, тем более, что формы протекания подобного процесса бесконечно разнообразны.

Все сказанное вполне согласуется с мыслями, сформулированными А. Д. Швейцером в конце уже названной его работы: «Собственный опыт автора статьи и опыт других переводчиков свидетельствует о том, что процесс поиска оптимального решения при переводе, как правило, не является одноразовым актом, если не считать синхронного перевода. Этот поиск обычно осуществляется „методом проб и ошибок", который заключается в последовательном приближении к оптимальному варианту путем перебора нескольких возможных вариантов и отклонения тех, которые не отвечают... функциональным критериям. При этом наряду с предварительной обработкой исходного сообщения на ИЯ путем трансформаций или путем лексико-синтаксических парафраз (т. е. путем так называемого „внутриязыкового перевода") вполне возможно установление и прямых соответствий между высказыванием на ИЯ и соответствующим высказыванием на ПЯ»[15].

Такая характеристика процесса перевода весьма убедительна и может охватить самые различные формы его протекания, зависящие и от особенностей переводимого материала (художественного, иногда допускающего применение и простейших прямолинейных видов соответствия, научного, делового и т. п.) и от опыта и одаренности переводчика.

«Метод проб и ошибок», о котором идет речь в приведенной цитате, очень близок к идее стилистического эксперимента (по А. М. Пешковскому [16]) в том его виде, как он может быть использован в области перевода. Применение понятия стилистического эксперимента в этой сфере позволяет также поставить и вопрос о специфичности связи между планом содержания и планом выражения при переводе, о чем автору настоящей статьи уже пришлось однажды говорить и что он в данном случае позволяет себе напомнить:

«... план содержания в его единстве с планом выражения задан оригиналом, а в переводе или в различных вариантах перевода это единство воссоздается заново. В том случае, когда сразу создается определенный отрезок перевода, к которому лишь потом начинают возникать варианты, соотношение двух планов оказывается более сложным: наличие плана содержания, заданного оригиналом, само направляет выбор средств плана выражения на другом языке, а тот или иной выбор их вызывает новые оттенки освещения, сообщаемые плану содержания. Связь между обоими планами приобретает, таким образом, двусторонний и динамический ха-

[15] См.: А. Д. Швейцер, указ. соч., стр. 41.

[16] См.: А. М. Пешковский, Принципы и приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы, в кн.: А. М. Пешковский, Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики, М.— Л., 1930, стр. 133 и сл. Небесполезно напомнить, что в этом не переиздававшемся более очерке автор определял выдвинутый им прием «в смысле искусственного придумывания стилистических вариантов к тексту». В процессе творчества — оригинального или переводного — происходит, конечно, не «искусственное придумывание», а сознательная, целесообразно направленная замена одних вариантов другими, но методологическая важность сопоставления вариантов, которую имеет в виду А. М. Пешковский, остается в силе и здесь.

рактер, и только ограниченность эксперимента рамками однородного содержания и (пусть достаточно широким) кругом синонимических средств выражения, так или иначе способных реализовать его, обусловливает известное равновесие между двумя планами...»[17].

Таким образом, аналогией процесса перевода (если не моделью его, поскольку модель предполагает и известное упрощение и схематизацию) может быть признан стилистический эксперимент. Как явствует из только что данной его характеристики применительно к переводу, здесь нет места каким бы то ни было статическим категориям. Процесс перевода, так же как и аналогичный ему стилистический эксперимент, может отличаться величайшей сложностью в поисках нужных решений, требующих перебора огромного числа вариантов, а на отдельных этапах или в единичных точках он может ограничиваться применением однозначных (безвариантных) и простейших соответствий (например, в случае использования эквивалентов). В этом процессе, равно как и в эксперименте, находят себе место и закономерные соответствия между двумя языками, которые — при том условии, что это понятие не абсолютизируется, а принимается с необходимой поправкой на его относительность — не противоречат живой динамической сущности процесса перевода, характеризующегося прежде всего бесконечной подвижностью и переменностью в отношении между отдельными элементами друг с другом и в отношениях с целым.

---

[17] А. В. Федоров, К вопросу о стилистическом эксперименте, «Вопросы теории и истории языка», Л., 1969, стр. 118. Подробнее вопрос о месте стилистического эксперимента в сопоставительной стилистике и теории перевода рассматривается в моей книге «Очерки общей и сопоставительной стилистики», М., (в печати).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

Г. А. КЛИМОВ

О ВНЕШНИХ СВЯЗЯХ КАРТВЕЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ

Интересную и весьма актуальную проблему отношения картвельских языков к севернокавказским и индоевропейским, не нашедшую сколько-нибудь однозначной трактовки за всю историю их изучения, конечно, невозможно решить в рамках журнальной статьи. К тому же недавний выход в свет фундаментального исследования Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, в котором реконструированы общекартвельские фонологическая и морфонологическая системы [1], заставляет учитывать некоторые вновь обнаруженные факты и видеть более широкие аспекты проблемы. В 1968 г. мне уже приходилось частично затронуть соответствующие вопросы в плане оценки современного состояния гипотезы внутреннего родства кавказских языков. Поскольку, однако, мой взгляд на поставленную проблему был в первой же статье, посвященной обсуждению этой проблемы, передан неадекватно (ср., например, утверждение, что для Г. А. Климова менее вероятно родство картвельских языков с севернокавказскими, чем картвельских языков с индоевропейскими [2]), следует остановиться на ней более подробно. Сделать это кажется тем более целесообразным, что в упомянутой статье оказались затронутыми вопросы методики историко-лингвистического исследования, коренные расхождения по которым характеризуют не столько взгляды отдельных кавказоведов, сколько позиции двух различных направлений в кавказском языкознании.

Эти расхождения дают себя знать уже по отношению к столь важному для данной проблемы пункту, как роль показаний севернокавказских языков при решении вопросов синхронной структуры и истории картвельских языков.

Едва ли могут иметься сомнения в том, что факты картвельских языков, как и любых иных, вполне познаваемы сами по себе и что собственно картвелистическое исследование не нуждается в учете данных каких-либо других языков. Поэтому основные вопросы структуры и истории этих языков могут адекватно решаться вне всяких ссылок на показания севернокавказских (или индоевропейских) языков. Такое не направленное на внешний языковой ориентир историческое изучение картвельских языков вполне перспективно и результирует, в частности, в построении их сравнительной грамматики. Примером подобного ненаправленного исследования может послужить упомянутый труд Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, констатирующий интересные картвельско-индоевропейские структурно-типологические параллелизмы лишь после «внутренней» реконструкции общекартвельского состояния (ненаправленность его на соответствующие модели индоевропейского видна также из того, что для

[1] Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани, Система сонантов и аблаут в картвельских языках, Тбилиси, 1965 (на груз. яз. с русск. резюме).

[2] Арн. Чикобава, К вопросу об отношении картвельских языков к индоевропейским и северокавказским языкам, ВЯ, 1970, 2, стр. 59.

другой хронологической плоскости оно устанавливает и картвельско-севернокавказские схождения [3]).

Конечно, существующие между картвельскими и другими языками структурно-типологические аналогии могут оказаться и на практике в ряде случаев оказываются инструктивными для уяснения вопросов структуры картвельских языков. Но в принципе картвелистика в них не нуждается. К тому же хорошо известны опасности, подстерегающие лингвистическое описание, основанное на восприятии фактов одних языков через призму описания других. Однако когда речь идет о доказательстве их генетического родства с севернокавказскими (или индоевропейскими), ориентация картвелистического исследования на показания каких-либо из последних становится методически недопустимой. Следует подчеркнуть, что сравнительно-генетическое изучение картвельских и севернокавказских языков будет свободно от тенденциозности лишь в том случае, если объектом систематического сравнения послужат факты обеих языковых групп, полученные помимо всякого рода перекрестных свидетельств, т. е. исключительно на основе «внутренней» реконструкции каждой из них. Напротив, ориентация исследования истории картвельских языков на показания севернокавказских или каких-либо иных по своему существу предвосхитила бы то, что еще предстоит доказать. Рассматривая до некоторой степени сходную ситуацию, сложившуюся при обосновании так называемой «алтайской» гипотезы (предполагающей наличие генетического родства между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками), А. М. Щербак справедливо отмечает, что «на вопрос о возможности использования монгольских и тунгусо-маньчжурских материалов при реконструкции тюркских праформ необходимо ответить отрицательно» [4].

Ввиду очевидной специфики структурно-типологического и генетического аспектов внешних связей картвельских языков далее они рассматриваются раздельно.

Основное содержание первого аспекта исследования, ограничивающегося в настоящее время рамками характерологии, составляет целый комплекс вопросов союзных отношений картвельских языков. Как это недавно вновь было подчеркнуто Г. В. Церетели, понятия языковой семьи и языкового союза не исключают друг друга, а скорее взаимодополняют [5]. Поэтому не зависимая от соответствующего генетического исследования постановка проблемы о вхождении картвельских языков или общекартвельского языка-основы в тот или иной языковой союз вполне корректна. Рассматривая эту проблему, А. С. Чикобава называет основным выводом исследования Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, посвященного реконструкции фонологической и морфологической систем общекартвельского языка-основы, объединение ими картвельских и индоевропейских языков в один типологический класс [6]. Апеллируя к структурно-типологическим схождениям современных картвельских языков с севернокавказскими, как они в значительной степени уже были выявлены в работах Фр. Мюллера и И. И. Мещанинова, он полемизирует с этим положением, отмечая, что даже столь неполная типологическая характеристика «дает несравненно больше оснований для включения картвельских языков „в один типологический класс“ с северокавказскими язы-

[3] См.: Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани, указ. соч., стр. 365—373.

[4] А. М. Щербак, Сравнительная фонетика тюркских языков, Л., 1970, стр. 12.

[5] См.: Г. В. Церетели, О языковом родстве и языковых союзах, ВЯ, 1968, 3, стр. 12 и сл.

[6] См.: Арн. Чикобава, указ. соч., стр. 52.

ками, чем те признаки, по которым картвельские языки оказались включенными „в один типологический класс“ с языками индоевропейскими»[7]. Ввиду того, что в названном исследовании такого вывода ни как основного, ни как побочного не содержится, едва ли имеет смысл на нем останавливаться. Целесообразно лишь отметить, что отношение конкретных языков к языковым союзам исторически изменчиво. Поэтому было бы очевидной методической ошибкой игнорировать определенную хронологическую перспективу исследования Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани и оспаривать их тезис о соответствующем языковом союзе в отдаленном прошлом, исходя из структурно-типологических характеристик, объединяющих исторически засвидетельствованные картвельские и севернокавказские языки. Нетрудно видеть вместе с тем, что положение о существовании языкового союза между общекартвельским и индоевропейским нисколько не противоречит тезису отдельных исследователей о союзных отношениях между современными картвельскими и севернокавказскими языками.

Необходимо вместе с тем остановиться на выводе, действительно содержащемся в книге Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, а именно на тезисе о вхождении в один типологический класс общекартвельского языка-основы определенной эпохи и общеиндоевропейского: ср., например, высказывание ее авторов о том, что «общекартвельская морфонологическая система изоморфна индоевропейской морфонологической системе (в интерпретации Э. Бенвениста)»[8].

Действительно, как в общеиндоевропейской, так и в общекартвельской фонологической системе имелись три одинаковых класса фонем — согласные, гласные и сонанты. Сходство между системой аблаута в общекартвельском и в общеиндоевропейском, как оно отображено в модели Э. Бенвениста, достаточно очевидно. Все виды общекартвельского аблаута (за исключением чередования *e* : *i*) находят параллели в общеиндоевропейской схеме апофонии. В основном на одинаковых принципах основана фонологическая структура корневых и суффиксальных морфем (с их каноническими типами *CVC-* и *-VC* соответственно) в обеих сравниваемых величинах, очень близки и правила взаимодействия этих структур при сочетании корневой и суффиксальной морфем.

Ввиду ограниченности задачи, стоявшей перед Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, они, конечно, не могли исчерпать всей суммы структурно-типологических параллелизмов, которые можно провести между общекартвельским и общеиндоевропейским состояниями. Одной из таких наиболее интересных встреч можно считать наличие в них эргативной конструкции предложения, которая, напротив, не может рассматриваться в качестве древней общекавказской изоглоссы, так как она отсутствовала в абхазско-адыгском праязыковом состоянии (как известно, такие необходимые признаки этой конструкции, как эргативный или эргативно-косвенный падеж подлежащего и именительный падеж прямого дополнения, формировались относительно поздно — уже в эпоху существования исторически засвидетельствованных абхазско-адыгских языков, когда в них начало складываться склонение)[9]. Впрочем, по-видимому, могут быть

[7] Там же, стр. 53.

[8] Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани, указ. соч., стр. 474 (авторы оговаривают употребление здесь термина «изоморфизм» не в строгом математическом смысле), ср. также стр. 454. Ср. еще: Г. И. Мачавариани, К типологической характеристике общекартвельского языка-основы, ВЯ, 1966, 1, стр. 7; Th. V. Gamkrelidze, A typology of Common Kartvelian, «Language», 42, 1, 1966, стр. 83.

[9] К реконструкции эргативности для общекартвельского состояния см.: Г. А. Климов, Склонение в картвельских языках в сравнительно-историческом

дополнительно приведены и некоторые из параллелизмов фонологической структуры обеих сравниваемых величин.

Совершенно недостаточная изученность картвельско-индоевропейских языковых взаимоотношений, по существу, только недавно восстановленных в повестке дня лингвистических исследований, не позволяет трактовать происхождение перечисленных сходств сколько-нибудь однозначным образом. Относительно более вероятным представляется, что оно обязано либо длительным языковым контактам, либо типологической аналогии (в пользу последнего фактора свидетельствует то обстоятельство, что эти сходства в большей мере наблюдаются в общих структурных принципах, чем в деталях их реализации); не исключено, что возникновение этих сходств продиктовано взаимодействием нескольких различных факторов [10].

В предшествующем изложении неоднократно употреблялся термин «севернокавказский». Необходимо отметить, однако, что как только исследование начинает оперировать понятием севернокавказских языков, оно становится на значительно менее определенную почву. В высшей степени условный для кавказского языкознания характер этого понятия диктуется тем, что оно не оправдано ни в структурно-типологическом, ни в генетическом плане. Так, в структурном отношении обе севернокавказские группы — абхазско-адыгская и нахско-дагестанская — представляют собой, судя по всему, полярные звенья, опосредствованные картвельским лингвистическим типом [11]: ср., например, постепенное нарастание черт флективности, уменьшение удельного веса префиксального строя, усложнение склонения и упрощение спряжения, сокращение словообразовательных возможностей и некоторые другие явления, проходящие по кавказской языковой области с запада на восток через территорию картвельских языков. Более того, имеются серьезные основания считать, что больше общих точек соприкосновения в этом отношении обнаруживают картвельские и абхазско-адыгские языки [12]. К числу последних могут быть отнесены сходства в структуре глагола, обусловленные категориальным составом и аранжировкой грамматических морфем, и производных от него имен, большой удельный вес префиксального строя в словоизменении и словообразовании, почти полное отсутствие грамматической категории класса (классные противопоставления в абхазско-абазинском имеют место внутри грамматической категории лица или числа), наличие «гармонических» комплексов согласных и некоторые другие, часть которых была впервые замечена еще пионерами отечественного кавказоведения. Напротив, имеется лишь относительно меньшее число структурно-типологических черт, объединяющих только абхазско-адыгские и нахско-дагестанские языки (сюда входят преимущественно четырехчленная схема

аспекте, М., 1962, стр. 47—65 и 137—138; см. также: Г. И. Мачавариани, указ. соч., стр. 8. Помимо черт явной расшатанности эргативного строя, зафиксированных в картвельских языках И. И. Мещаниновым, следует отметить факт почти монопольного существования в последних специального (несовмещающего других значений) эргативного падежа, характеризующий поздние стадии функционирования эргативности в языке.

[10] См.: Г. В. Церетели, О теории сонантов и аблаута в картвельских языках, в кн.: Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани, указ. соч., стр. 045—046.

[11] См.: Г. А. Климов, К типологической характеристике картвельских языков (в сопоставлении с другими иберийско-кавказскими языками), М., 1960 («XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР»), стр. 7; ср. также: А. С. Чикобава, Грузинский язык, «Языки народов СССР», IV, М., 1967, стр. 22.

[12] Ср., например: G. Deeters, Die Stellung der Kharthwelsprachen unter den Kaukasischen Sprachen, «Bedi Kartlisa», 23, 1957, стр. 12—16.

оппозиций смычных согласных, наличие серии латеральных фонем, в целом очень слабое развитие гипотаксиса).

Дополнительные трудности в сравнительно-типологическом исследовании кавказских языков обусловлены и далеко недостаточной изученностью их обеих севернокавказских групп в диахроническом аспекте. Представления современного кавказоведения об истории этих языковых групп не позволяют сколько-нибудь уверенно судить о многих характеристиках соответствующих праязыковых состояний, вследствие чего постулировать их возможные структурные связи для прошлого весьма затруднительно. Вместе с тем не доказано и генетическое родство обеих севернокавказских групп.

Думается поэтому, что в большинстве контекстов было бы целесообразнее оперировать не единым лингвистически очень неопределенным понятием севернокавказских языков, а двумя и типологически и генетически детерминированными понятиями групп — абхазско-адыгской и нахско-дагестанской.

Переходя к рассмотрению генетического аспекта поставленной проблемы, следует прежде всего учитывать, что разработанная еще классической компаративистикой методика доказательства языкового родства обладает исключительно позитивными возможностями: иначе говоря, она способна обосновать наличие родства, но не может свидетельствовать об отсутствии такового даже в случае безуспешности ее применения [13]. Поэтому, в частности, неудачный опыт картвельско-индоевропейского генетического сопоставления, предпринятый в середине XIX столетия Фр. Боппом [14], не мог дискредитировать самую идею подобного родства, тем более что он опирался на весьма нестрогую методическую базу. Если традиционная картвелистика обычно не допускала возможности исконного родства картвельских и индоевропейских языков, то современная картвелистика независимо от определенных оптимистических или пессимистических склонностей ее отдельных представителей должна в принципе допускать генетические связи картвельской группы как с обеими севернокавказскими группами, так и с индоевропейскими языками. (За этими связями могут стоять как отношения отдаленного родства, так и аллогенетические отношения.) Вместе с тем, возможное в будущем доказательство родства картвельских языков с какими-либо одними из названных не исключит вероятности их генетической связи и с другими.

Для обоснования факта языкового родства недоказательно проведение между сравниваемыми языками некоторого числа структурно-типологических (например, касающихся морфологической структуры глагола, фонологической структуры корня и т. д.) и материальных параллелизмов. Единственно релевантным в этом отношении критерием является установление систематических соотношений — фонологических корреспонденций — в субстанции значимых единиц (корней, аффиксов и целых слов) языков: только такие соотношения позволяют считать эти единицы системными преобразованиями общей для них исходной традиции. Как известно, родственные языки характеризуются также наличием морфологических и лексических соответствий, однако их установление происходит исключительно на базе ранее выявленных фонологических корреспонденций [15]

[13] См. об этом: A. Meillet, Introduction, «Les langues du monde», Paris, 1924, стр. 3; Э. Сепир, Язык, М.— Л., 1934, стр. 120 и 160; Ж. Вандриес, Язык, М., 1937. стр. 281; H. Vogt, La parenté des langues caucasiques, NTS, XII, 1942, стр. 249; Ch. F. Hockett, Sound change, «Language», 41, 2, 1965, стр. 189.

[14] См.: Fr. Bopp, Die kaukasischen Glieder des indoeuropäischen Sprachstammes, Berlin, 1847.

[15] См. об этом: А. Мейе, Сравнительный метод в историческом языкознании, М., 1954, стр. 35; И. М. Тронский, К вопросу о сравнительно-историческом ме-

(так, для определения факта лексического соответствия груз. *wercxl-i* и мегр. *warčxil-i* «серебро» необходимо предварительно определить системный характер соотношения фонем, репрезентирующих обе эти лексемы). Таким образом, в конечном счете именно системность фонологических соотношений доказывает генетическое единство группы родственных языков. Так, в частности, генетическое родство абхазско-адыгских языков обосновывается наличием целого ряда таких систематических рядов фонологических корреспонденций, как:

абхаз. *š* ~ адыг. *l* ~ *l*[16]
абхаз. *ž* ~ адыг. *l*[16]

абхаз. (бзыб.) *ʒ'* ~ адыг. *z'*
абхаз. (бзыб.) *c'* ~ адыг. *s'*
абхаз. (бзыб.) *ç'* ~ адыг. *ś'*[17]

абхаз. (бзыб.) *ʒ'* ~ убых. d^w ~ адыг. *d*
абхаз. (бзыб.) *c'* ~ убых. t^w ~ адыг. *t*
абхаз. (бзыб.) *ç'* ~ убых. $ṭ^w$ ~ адыг. *ṭ*

(ср. для последней группы звукосоответствий следующие иллюстрации: абхаз. *a-ʒ'əʒ'* ~ убых. $d^wəd^wa$ ~ адыг. *dədə* «шило», абхаз. *-(ʒ')ʒ'a* ~ адыг. *-dəda* приатрибутивная энклитика со значением «очень; совсем», абхаз. *a-c'a* ~ убых. t^wa «слива; черешня», убых. $t^wəq$ ~ адыг. *təq* «затылок», убых. $ṭ^wəs$- ~ адыг, *ṭəs*- «садиться» и мн. др.).

Поскольку подобного рода фонологические корреспонденции между картвельскими и севернокавказскими языками не установлены, гипотеза об их генетическом родстве не может считаться доказанной. Следует иметь в виду, что нет ни одной специальной работы, посвященной подобному доказательству родства и между абхазско-адыгскими и нахско-дагестанскими языками. В частности, на таковое не претендует и часто упоминаемая в данной связи статья Н. С. Трубецкого, целью которой было, как отмечает ее автор, только собрать до некоторой степени достоверный лексический материал для выполнения такого доказательства в дальнейшем [18].

Говоря о перспективах доказательства родства картвельских языков с севернокавказскими или какими-либо другими, следует подчеркнуть, что они остаются очень неопределенными. Одна из наиболее очевидных трудностей в обосновании гипотезы о генетическом единстве картвельских и севернокавказских языков заключается в совершенно недостаточной подготовленности абхазско-адыгского и нахско-дагестанского языкознания к решению проблемы их внешнего сравнения. В сравнительно-исторических грамматиках обеих севернокавказских групп, существенно отстающих в своей разработке от уровня, достигнутого сравнительной грамматикой картвельских языков, многие важнейшие вопросы по сей день остаются предметом дискуссии. Так, например, в абхазско-адыгском языкознании конкурируют две противоположные точки зрения по вопросу о грамматической категории класса, определяющие глубокое различие в решении вопросов истории всей морфологической системы соответствующих языков [19]. В свою очередь в нахско-дагестанском

тоде в языкознании, «Уч. зап. [ЛГУ]», 156, Серия филол. наук, 15, 1952, стр. 21—22; А. В. Десницкая, Вопросы изучения родства индоевропейских языков, М.— Л., 1955, стр. 82, и многие другие работы.

[16] См.: N. Troubetzkoy, Les consonnes latérales des langues caucasiques septentrionales, BSLP, XXIII, 3 (N 70), 1922, стр. 189; R. Lafon, Notes de phonétique comparée des langues caucasiques du Nord-Ouest, «Bedi Kartlisa», XXI—XXII, 50—51, 1966, стр. 19—21.

[17] См.: К. В. Ломтатидзе, К генезису одного ряда троечных спирантов в адыгских языках, «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», IV, М., 1953.

[18] N. Trubetzkoy, Nordkaukasische Wortgleichungen, «Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes», XXXVII, 1—2, 1930, стр. 77.

[19] Ср.: К. В. Ломтатидзе, К вопросу об окаменелых экспонентах грамматических классов в именных основах абхазского языка, «Сообщения АН Груз.ССР», XXVI, 1, 1961, стр. 115 и сл.; G. Deeters, Gab es Nominalklassen in allen kaukasischen Sprachen?, «Corolla linguistica», Wiesbaden, 1955, стр. 27—30.

языкознании по-разному трактуются вопросы истории фонологической системы (ср., например, продолжающуюся дискуссию вокруг латеральной гипотезы, предполагающей исконность для нахско-дагестанских языков целой серии латеральных согласных), склонения (ср. вопрос о степени древности локативных падежей, составляющих здесь основную совокупность деклинационной парадигмы), грамматической категории класса (ср. разные мнения об удельном весе соответствующих экспонентов в составе имен существительных).

Особенно сильно отстает этимологическая разработка абхазско-адыгских и нахско-дагестанских языков. В настоящее время не только отсутствуют этимологические словари этих языков, но и вообще реконструкции праязыкового материала носят здесь эпизодический характер. Вследствие этого в распоряжении гипотезы внутреннего родства кавказских языков оказывается настолько ограниченный материал, что установить на его фундаменте сколько-нибудь системные межгрупповые звукосоответствия едва ли представляется возможным. Так, по подсчетам Г. Деетерса имеется лишь около двадцати общекавказских лексических изоглосс, способных претендовать на исконный характер, а согласно Х. Фогту, общекавказские словарные параллелизмы, представляющие интерес с точки зрения генетической гипотезы, «могут быть пересчитаны на пальцах»[20]. Не намного большее число составляют абхазоадыгско-картвельские лексические встречи аналогичного порядка[21]. Важно при этом отметить, что поскольку эти сближения не опираются на критерий системных звукосоответствий, все они с необходимостью носят чисто импрессионистский характер. Этим в свою очередь объясняется и то обстоятельство, что материал картвельских и севернокавказских языков разные исследователи нередко сополагают совершенно по-разному. Так, например, если одни из них, сопоставляя авар. *ҫҫibil* «виноград» и груз. *babilo* «виноградная лоза, пущенная на дерево», предполагают разнородное происхождение их первых слогов и выделяют общий элемент *bil* со значением «цветок»[22], то я сопоставляю нахск.-дагест. **ҫҫubul* «виноград» (ср. авар. *ҫҫibil*, рутульск,. цахур. *ţəməl* «виноград»[23]) с картв. **ҫlabl̨* «черешня» (ср. груз. *ҫabl-i*, мегр. *ҫ̌ubur-i* «каштан», сван. *heb* «черешня»[24]). Если одни сопоставляют абхаз. *a-baω* «кость; остов» с груз. *bagw-i* «бедро»[25], то я сравниваю абхаз.-адыг.* *pga* «кость; остов» (ср. аб-

---

[20] См.: G. D e e t e r s, [рец. на кн.]: K. B o u d a, Baskisch-kaukasische Etymologien, «Deutsche Literaturzeitung», 73, 4, 1952, стлб. 209; H. V o g t, Le basque et les langues caucasiques, BSLP, 51, 1, 1955, стр. 134; ср. также: Г. А. К л и м о в, О гипотезе внутреннего родства кавказских языков, ВЯ, 1968, 6, стр. 20—21.

[21] См.: Г. А. К л и м о в, Абхазоадыгско-картвельские лексические параллели, «Этимология, 1967», М., 1969, стр. 288—293.

[22] См.: А. С. Ч и к о б а в а, Об одной древней общей основе в термине виноградарства в иберийско-кавказских языках, «Иберийско-кавказское языкознание», VI, Тбилиси, 1954, стр. 49—50.

[23] О фонологическом соответствии авар. ҫγ ~ лезг. *ţ* см.: Е. А. Б о к а р е в, Смычногортанные аффрикаты прадагестанского языка (Опыт реконструкции), ВЯ, 1958, 4, стр. 7.

[24] Сопоставление принято в картвелистике, ср.: Н. Я. М а р р, Яфетические названия деревьев и растений (Pluralia tantum). II, «Изв. имп. Акад. наук», VI, серия 9, 1915, стр. 825; В. Т. Т о п у р и а, Некоторые вопросы сравнительной фонетики картвельских языков, «Иберийско-кавказское языкознание», XII, Тбилиси, 1960, стр. 155 (на груз. яз.); Г. И. М а ч а в а р и а н и, Общекартвельская консонантная система, Тбилиси, 1965, стр. 33 (на груз. яз.).

[25] См.: К. В. Л о м т а т и д з е, К вопросу об окаменелых экспонентах..., стр. 116.

хаз. *a-baω*, *a-bωa*, убых. *pqa*, адыг. *pqə* [26]) с картв. **pxa-* или **pqa-*«остов» (ср. груз. *pxa-*, мегр. *xa-*, чанск. *mxa-*, сван. *pxa* «остов рыбы, змеи; ость») [27].

Вполне возможно, конечно, что крайняя ограниченность сравнимого материала картвельских и северокавказских языков объясняется отсутствием самого факта генетического родства между ними (в таком случае лексические встречи этих языков могут быть обязаны случайному сходству звукотипа близких или идентичных по семантике слов, взаимным заимствованиям, действию фактора субстрата). Однако значительно более определенную почву позиция осторожных исследователей и скептиков находит в серьезных недостатках самой методической стороны доказательства их родства. Как свидетельствует, в частности, первая опубликованная по проблеме взаимоотношения картвельских, севернокавказских и индоевропейских языков статья, отдельные кавказоведы и по сей день, по-видимому, считают достаточным для обоснования факта языкового родства проведение между сравниваемыми языками некоторой совокупности структурных и материальных параллелизмов. В то же время в пока еще эпизодических для практики кавказского языкознания случаях поисков межгрупповых фонологических корреспонденций эти поиски велись на уровне фактов отдельных современных представителей разных языковых групп (например, грузинского, с одной стороны, и удинского — с другой, грузинского, мегрельского и сванского, с одной стороны, адыгейского и кабардинского — с другой, и т. д.). При этом не учитывалось давно известное из теории компаративистики положение о том, что сколько-нибудь однозначные звукосоответствия существуют обычно не между современными представителями родственных языков, а между каждым из них и праязыковым состоянием [28]; отсюда не случайны характерные для подобных опытов выводы о ненаблюдаемости регулярных соотношений, о спорадичности звукосоответствий и т. п.

Исключение на этом фоне составляют по существу работы лишь единичных кавказоведов, ведущих поиски межгрупповых соответствий на уровне праязыковых реконструкций [29]. Необходимо, однако, подчеркнуть, что и подобные попытки не достигают в настоящее время успеха, так как единичные намечаемые корреспонденции не образуют какой-либо системы, аналогичной продемонстрированным выше на примере абхазско-адыгских языков, что необходимо для доказательства. Так, никакой системы не образуют два наиболее статистически выдержанных звукосоответствия между картвельскими и абхазско-адыгскими языками: картв.**l* ~ абхаз.-адыг. *Ø** (нуль звука) в исходе именной основы, а также картв. **m* ~ абхаз. -адыг. **m*, иллюстрирующиеся соответственно тринадцатью и семью примерами. Должно быть очевидным, что при существующем уровне этимологической разработки обеих групп севернокавказских языков, сравнительно-фонетические исследования остаются фактически неподготовленными.

Если учесть, что установление синхронного структурно-типологического сходства между языками способно иногда подсказать ориентир для

[26] Генетическое отождествление абхазско-адыгских форм предпринимается в работах: G. Dumézil, Études comparatives sur les langues caucasiennes du Nord-Ouest (Morphologie), Paris, 1932, стр. 124; J. v. Meszaroś, Die Päkhy-Sprache, «Studies in Ancient Oriental civilization», 9, Chicago, 1943, стр. 222.

[27] Груз. *pxa-* и адыг. *pqə* впервые сопоставил, по-видимому, К. Боуда, см.: K. Bouda, Beiträge zur etymologischen Erforschung des Georgischen, «Lingua», II, 3, 1950, стр. 8.

[28] См., например: А. Мейе, указ. соч., стр. 132.

[29] См.: Г. А. Климов, Кавказские языки, М., 1965, стр. 71—73; R. Lafon, Notes de phonétique comparée des langues caucasiques du Nord-Ouest, стр. 28.

последующего генетического рассмотрения [30], следует думать, что более перспективное направление работ, ведущихся в рамках гипотезы внутреннего родства кавказских языков, составляет сравнительно-генетическое исследование картвельских и абхазско-адыгских языков (более интересны и материальные встречи обеих языковых групп).

Что касается рассмотрения вопроса о возможных генетических связях картвельских и индоевропейских языков, то здесь сравнительно-генетическое исследование, ведущееся в настоящее время исключительно в рамках ностратической гипотезы (ср., например, работы В. М. Иллича-Свитыча, А. Б. Долгопольского, Г. Б. Джаукяна), оказывается объективно более подготовленным не только тем обстоятельством, что этимологическая разработка обеих языковых семей не идет ни в какое сравнение с аналогичными штудиями в области севернокавказских языков, но и тем, что оно опирается на строгую методическую базу: поиски системных фонологических корреспонденций ведутся здесь на уровне соответствующих праязыковых состояний.

Однако эти исследования также не достигли сколько-нибудь очевидного успеха, так как и в этом случае, на наш взгляд, пока не удается показать системности звукосоответствий. Так, в частности, поддерживаемое приблизительно семью-восемью иллюстрациями фонетическое соответствие и.-е. **H* (ларингальный) ~ картв. *γ (ср., например, и.-е. **Herk-* «изогнутый» ~ картв. **γrek-* «изгибаться», и.-е. **reuH-* «разрывать, разбивать» ~ картв. **reγw-* «сыпать, -ся; рушить, -ся», и. -е. **seH* «сытый» ~ картв. **zeγ* «насыщать, -ся», и.-е. **Huedh-* «связка; связывать» ~ картв. **γwed-* «ремень») не удается включить в единый системный ряд с другими звукосоответствиями. Нельзя не признать, что в интересных работах В. М. Иллича-Свитыча предпринят опыт построения именно подобных системных рядов [31]. Тем не менее, в наличной ситуации сравнения обращают на себя внимание два весьма настораживающих обстоятельства. Первое из них, как уже отмечалось в специальной литературе, заключается в необычайном «развитии» синонимии в индоевропейском корнеслове (ср., например, тридцать три корня с общим значением «вертеть», тридцать — со значением «гнать», двадцать четыре — со значением «пухнуть» и т. д.)[32]. Такая картина, обязанная известным трудностям семантической реконструкции, вследствие которых оказывается возможным очертить общий круг значений того или иного корня, но не удается точно определить конкретную тенденцию семантического развития, приводит к положению, когда в индоевропейском корнеслове становится достаточно легко подобрать правдоподобное «соответствие» тому или иному картвельскому корню (последнее обстоятельство будет, возможно, давать себя знать и на более высоком уровне картвельско-севернокавказского сравнения). Другое обстоятельство состоит в немалом общем числе различных нарушений намечаемых звукосоответствий.

Таким образом, сказанное выше может быть кратко резюмировано в следующем виде. Отношения картвельских языков к севернокавказским (ввиду далеко не достаточной изученности последних в диахроническом плане) и индоевропейским представляются в настоящее время не-

---

[30] См., например: Е. Д. Поливанов, К вопросу о родственных отношениях корейского и «алтайских» языков, в его кн.: «Статьи по общему языкознанию», М., 1968, стр. 156—157.

[31] См.: В. М. Иллич-Свитыч, Соответствия смычных в ностратических языках, «Этимология. 1966», М., 1968.

[32] См., например: А. Б. Долгопольский, Методы реконструкции общеиндоевропейского языка и сибироевропейская гипотеза, «Этимология», М., 1966, стр. 264—265.

ясными. Факт существования языкового союза между общекартвельским языком-основой определенного периода и общеиндоевропейским нисколько не противоречит возможности объединения в рамках подобного союза современных картвельских и севернокавказских языков. Относительно большее число структурно-типологических изоглосс ныне объединяет картвельские и абхазско-адыгские языки (поэтому более перспективным направлением разработки гипотезы внутреннего родства кавказских языков представляется сравнительно-генетическое исследование картвельских и абхазско-адыгских языков). Гипотезы о генетическом родстве картвельских языков с севернокавказскими или индоевропейскими вполне корректны, но в обоих случаях остаются необоснованными. Перспективы соответствующего доказательства рисуются весьма неопределенно.

В заключение хотелось бы отметить несколько существенных неточностей в изложении моих взглядов, которые были допущены в первой, посвященной обсуждаемому вопросу статье.

Мое высказывание о том, что разработка не достигшей сколько-нибудь очевидного успеха ностратической гипотезы позволила «отдельным картвелистам более оптимистично смотреть на возможность генетических связей между картвельскими и во всяком случае индоевропейскими языками», не дает никаких оснований автору статьи утверждать, что я разделяю этот оптимизм [33]. Далее мне произвольно приписана мысль, согласно которой родство картвельских языков с «северокавказскими» менее вероятно, чем с индоевропейскими [34]. При цитации моего высказывания о том, что гипотеза внутреннего родства кавказских языков в области предварительных внутригрупповых этимологических исследований существенно отстает от некоторых других построений, имеющих дело со сравнением языков, отдаленное родство которых также гипотетично, автор статьи произвольно опускает слова «в последнем отношении» (т. е. в отношении внутригрупповых этимологических исследований) [35], что изменяет смысл высказывания и позволяет автору использовать его в ином, значительно более широком контексте. Наконец, несмотря на то обстоятельство, что, формулируя тезис о многочисленных и глубоких структурно-типологических схождениях между картвельскими и севернокавказскими языками, Г. И. Мачавариани ссылается именно на одну из моих работ [36], автор статьи, напротив, утверждает, что «Г. А. Климов, ссылаясь на мнение Г. И. Мачавариани, обходит молчанием его тезис относительно глубоких структурно-типологических схождений картвельских языков с северокавказскими языками» [37]. Вопреки сказанному, на протяжении целого ряда лет этот тезис с дальнейшим акцентом на более интересных картвельско-абхазско-адыгских структурных встречах развивался мною параллельно с Г. И. Мачавариани [38].

---

[33] См.: Арн. Чикобава, К вопросу..., стр. 59.
[34] Там же.
[35] Там же. Ср.: Г. А. Климов, О гипотезе..., стр. 22.
[36] См.: Г. И. Мачавариани, К типологической характеристике..., стр. 8.
[37] Арн. Чикобава, К вопросу..., стр. 59.
[38] Ср., например: Г. А. Климов, К типологической характеристике картвельских языков, стр. 7; его же, Кавказские языки, стр. 63 (где отмечается, что при преимущественно промежуточном между обеими севернокавказскими группами положении картвельские языки обнаруживают больше специальных связей с абхазско-адыгскими); его же, О гипотезе..., стр. 23; его же, Абхазоадыгско-картвельские лексические параллели, стр. 286—287 и 295; его же, Структурно-типологические параллелизмы картвельских и абхазско-адыгских языков, сб. «Фонетика. Фонология. Грамматика» (в печати).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

Г. П. НЕЩИМЕНКО

ДЕМИНУТИВНЫЕ ДЕРИВАЦИОННЫЕ ЦЕПОЧКИ И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕШСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Изучение структуры дериватов, объединяемых в составе одного и того же словообразовательного гнезда, позволяет представить направленность словопроизводственного процесса в виде линейного ряда (либо пучка линейных рядов с единым исходным центром) типа $O > Д_1 > Д_2 \ldots Д_n$, где O есть производящая основа, а $Д_1$, $Д_2 \ldots, Д_n$—некоторое (не поддающееся строгому ограничению) множество последовательных деривационных фаз.

Содержание, вкладываемое в понятие «деривационная фаза», в значительной степени абстрактно: это некоторая функциональная ячейка, ассоциирующаяся с вполне определенным категориальным словообразовательным значением. Так, в конкретной словопроизводственной цепочке *učit* > *učitel* > *učitelka* *učitel* является репрезентантом деривационной фазы «существительное мужского рода со значением лица», а *učitelka* — деривационной фазы «существительное женского рода со значением лица».

Набор деривационных фаз, характерных для той или иной производящей основы, охватывает все ее допустимые словообразовательные трансформации, конкретная реализация которых зависит в свою очередь от потенциальных словопроизводственных возможностей основы (в частности, от ее структурно-семантической приспосабливаемости), а также от арсенала словообразовательных формантов, с которыми данная основа может сочетаться.

Следует учитывать, что одна и та же деривационная фаза линейного ряда представлена некоторым множеством репрезентантов. С одной стороны, ее может представлять комплект равнооформленных (в словообразовательном отношении) словоформ одной и той же лексемы; с другой стороны, в ее состав могут входить принципиально возможные словообразовательные синонимы (либо даже семантико-стилистические дублеты). В последнем случае иллюстрацией являются существительные женского рода со значением лица *učitelka* и *učitelkyně* (дериват *učitelkyně* в современном чешском языке не употребляется, однако исконно он входил в состав той же деривационной фазы, что и *učitelka*).

Для дериватов, объединяемых в составе одной и той же фазы линейного ряда, помимо тождества словообразовательного значения, характерно отношение словопроизводственного соподчинения: так, структура упомянутых выше существительных *učitelka* и *učitelkyně* выводится из общей производящей основы *učit* (допустимы, впрочем, и иные параллельные словообразовательные мотивировки).

Образования, относящиеся к различным фазам линейного ряда, напротив, находятся в отношении последовательного словообразовательного подчинения: строение дериватов последующих фаз обуславливается строением дериватов фаз предшествующих.

В связи с тем, что любая деривационная фаза ассоциируется с категориальным словообразовательным значением, при производстве абсо-

лютного большинства номинативных лексических категорий используются лишь о д н о ф а з н ы е процедуры типа $O > Д$, т. е. реализуется лишь какое-то одно звено линейного ряда. Образованием деривата $Д$ данная цепочка замыкается, поскольку дальнейшее развертывание ряда по горизонтали сопряжено с изменением категориального словообразовательного значения производящей лексемы, и, следовательно, выходит за пределы словопроизводства д а н н о й словообразовательной категории. Так, в цепочке *učit* > *učitel* > *učitelka* дериват *učitel* завершает однофазную процедуру *učit* > *učitel*, посредством которой образуется существительное мужского рода со значением лица, а дериват *učitelka* — однофазную процедуру *učitel* > *učitelka*, посредством которой образуется существительное женского рода со значением лица.

Исключение из общего правила составляют лишь определенные разряды экспрессивно-оценочной лексики — мы имеем в виду прежде всего уменьшительно-эмоциональные существительные и прилагательные со значением интенсификации признака,— правила производства которых допускают использование м н о г о ф а з н ы х (с двумя и более фазами) процедур при сохранении т о ж д е с т в а словообразовательного значения. В последующем изложении мы будем оперировать наблюдениями над словообразованием уменьшительно-эмоциональных существительных [1].

*

В основе словопроизводства уменьшительно-эмоциональных существительных находится система деривационных цепочек различных типов.

1. **Однофазные цепочки.** Однофазные цепочки организованы по принципу $O > Д$, где исходная точка словообразовательного процесса (O) представлена нейтральным производящим существительным, а фаза $Д$ — соответствующим дериватом, имеющим уменьшительно-эмоциональное значение. По своей сути такие однофазные цепочки представляют собой оппозиции $\bar{n}A/nA$ (где A есть признак деминутивности). Компонент O не является квалифицирующим членом оппозиции — он обозначает предмет безотносительно к его величине, следовательно, наличие признака деминутивности в нем н е у к а з ы в а е т с я. Компонент $Д$, напротив, фиксирует н а л и ч и е деминутивного признака (обычно в комбинации с сопутствующей эмоциональной характеристикой). Ниже мы рассмотрим примеры однофазных деминутивных цепочек, а также случаи контекстного употребления включенных в них дериватов: (*osobnost* > *osobnůstka*) «Po neblahých zkušenostech s *osobnostmi* a *osobnůstkami* je diagnóza jasná». R. pr.[2]. 13 IV 68; (*lampa* > *lampička*) «Ve všech domácnostech najdete

[1] В тексте статьи равнозначно употребляются термины «словообразовательный, словопроизводственный, деривационный»; «уменьшительно-эмоциональные существительные, деминутивные существительные, деминутивы» (в последнем случае имеется в виду совокупность имен существительных, наделенных уменьшительным, уменьшительно-эмоциональным и эмоциональным значением).

[2] В статье приняты следующие сокращения: A — Архив Института чешского языка ЧСАН; PS — «Příruční slovník jazyka českého», I—VIII, Praha, 1937—1957; SSJČ — «Slovník spisovného jazyka českého», I—III, Praha, 1958—1969; J — J. J u n g m a n n, Slovník česko-německý, I—V, Praha, 1835—1839; Geb — J. G e b a u e r, Slovník staročeský, I—II, Praha, 1903—1916; Šim — Fr. Š i m e k, Slovníček staré češtiny, Praha, 1947; Lang. Sel.— J. L a n g e r, Selanky, V Praze, 1838; Pr. posel — J. K. T y l, Pražský posel, Praha, 1846—1847; Čelak. Ohlas r.— F r. Č e l a k o v s k ý, Ohlas písní ruských, Praha, 1951; Výbor — «Výbor z české literatury od počátků až po dobu Husovu», Praha, 1957; B. N. Bách.— B. N ě m c o v á, Národní báchorky a pověsti, II, Praha, 1950; Mršt. Poh. m.— V. M r š t í k, Pohádka máje, Praha, 1950; Broučci — J. K a r a f i á t, Broučci, V Lounech, 1930; Mloky — K. Č a p e k, Válka s mloky, Praha, 1953; Ašk. Et. d. a nd.— L. A š k e n a z y, Etudy dětské a nedětské, Praha, 1963; V + W_1 — J. V o s k o v e c, J. W e r i c h, Hry osvobozeného divadla,

spoustu *lampiček* a *lamp*, všude svítí naplno, i když v místnostech nikdo není», Vl 12/68; (*kopec* > *kopeček*) «vystupují z mlžného oparu tmavé *kopce* a *kopečky*», Ed. H. Uzel; (*divadlo* > *divadélko*) «Stejně tak její bohatý kulturní život s proslaveným Národním divadlem i Českou filharmonií, *divadly* a *divadélky*», R. pr. 24 II 68; (*řeči* > *řečičky*) «Hlavní roli v mé vznícené fantazii *nehrály* ani *řeči* a *řečičky* kamarádů», Rachl. Obl.; (*park* > > *parčík*) «v obrovském bludišti velikých *parků* a mrňavounkých *parčíků*», Práce, 1964; (*kult* > *kultík*) «systém různých *kultů* a *kultíků*», R. pr. 25 III 68.

2. **Многофазные цепочки.** Многофазные деминутивные цепочки отличаются от однофазных дальнейшим развертыванием линейного словопроизводственного ряда по горизонтали. Они организованы по принципу $O > Д_1 > Д_2$. Появление последующих (после $Д_2$) звеньев цепочки хотя и является теоретически возможным, практически редко реализуется, поэтому в дальнейшем мы пользуемся термином «двухфазные» цепочки. Как следует из схемы, исходной производящей основе (символ *О*) противопоставлены деминутивы, находящиеся в отношении последовательной словообразовательной зависимости: дериваты фазы $Д_2$ (мы называем их вторичными) образуются на базе дериватов фазы $Д_1$ (первичных) путем присоединения дополнительного словообразовательного форманта со значением деминутивности. Несмотря на то, что указанное структурное преобразование не влечет за собой изменения основного, категориального, словообразовательного значения (дериваты фаз $Д_1$ и $Д_2$ в равной степени принадлежат к разряду деминутивной лексики), в семантике вторичных дериватов по сравнению с первичными появляются важные смысловые оттенки, фиксируемые средствами словообразования: мы имеем в виду прежде всего значение интенсивной степени проявления деминутивного признака. Таким образом, если однофазные деривационные цепочки объединяют компоненты, противопоставленные по одному признаку (признаку наличия или отсутствия деминутивного значения), двухфазные цепочки включают в себя два типа противопоставлений: а) противопоставление $Д_1 — Д_2$ по степени проявления деминутивного признака; б) противопоставление $О — Д$ (комплексное обозначение, включающее $Д_1, Д_2$) по наличию признака деминутивности.

Исходя из того, что образование вторичных деминутивов сопряжено с модификацией словообразовательного значения производящего слова, а также из того, что вторичные деминутивы находятся в отношении словообразовательного подчинения деминутивам первичным, мы считаем правомерным квалифицировать факт образования вторичных дериватов как самостоятельную фазу словопроизводственного процесса. Заметим лишь, что применение термина «деривационная фаза» в этом случае является несколько условным, поскольку репрезентанты фаз $Д_1$ и $Д_2$ характеризуются тождеством основного словообразовательного значения. Весьма возможно, что применительно к данной лексике более уместно говорить о некотором раздвоении единой деминутивной деривационной фазы, тем более, что, как показало исследование, двухфазные деминутивные цепочки имеют отчетливо выраженную тенденцию деформироваться в цепочки однофазные. Приводимые ниже примеры иллюстрируют случаи контекстного использования репрезентантов двухфазных деминутивных

I, Praha, 1954; Ed. H. Uzel — E. Hončík, Uzel na oprátce, Praha, 1968 (R. pr.); Rachl. Obl.— Fr. Rachlík, Oblázek, Praha, 1968 (R. pr.); Bl. Dim. Objížd'ka — Blaga Dimitrovová, Objížd'ka, Praha, 1970 (R. pr.); R. pr.— «Rudé právo»; Vl.— «Vlasta» (časopis); Haló — «Haló — sobota» (R. pr.).

цепочек: (*drát* > *drátek* > *dráteček*) «elektrický proud prochází *dráty*, *drátky* i *drátečky* jedině tehdy, jestliže je vodič v naprostém pořádku», VI.8/70; (*kluk* > *klouček* > *kloučíček*) «Byla tudíž velmi překvapena, když se jí narodil *kluk*. Tedy říkám *kluk*, ale spíš klučina. *Klouček*; po pravdě řečeno *kloučíček*. Nebyl totiž o nic větší než normální palec. Spíš menší. Jako paleček», VI.22/68.

В системе словообразования исследуемых существительных однофазные деривационные цепочки имеют, несомненно, больший удельный вес, чем цепочки двухфазные. Основная масса функционирующих в языке уменьшительно-эмоциональных лексем образована посредством однофазных процедур и, следовательно, не расчленяется на первичные и вторичные дериваты. По данным статистики лишь 16% исходных производящих основ допускает образование вторичных деминутивов (в 19% случаев речь идет о существительных женского рода, в 15% — мужского рода, в 12% — среднего — рода)[3]. Сказанное, разумеется, не означает, что существует четкий водораздел между сферами применения однофазных и двухфазных процедур. Проведенное исследование не позволило установить строгие структурно-семантические ограничения, допускающие или же, напротив, запрещающие словопроизводство вторичных деминутивов. Поэтому и за пределами названных 16% лексем, «освященных» языковой нормой, спорадически удается зафиксировать случаи образования и употребления вторичных деминутивов, имеющих характер индивидуальных новообразований — сказанное чаще всего наблюдается в разговорной речи [4]. Приведем лишь один пример: «u stolu sedí načesaná slečna, z níž přímo číší touha udělat dojem dokonale vychované dámy. Asi napodobuje techniku zpomaleného filmu. *Sousta*, či lépe řečeno *soustínečka* nese k ústům tak pomalu, že kdyby jedla živou ústřici, tak by jí cestou z talíře na jazyk ještě povyrostla», Haló 5/70. В данном примере вторичный деминутив *soustínečko* (по сути дела репрезентант фазы $Д_3$) словарями современного литературного языка не отмечен — приводятся лишь образования *soustko* ($Д_1$) и *soustečko*, *soustíčko* ($Д_2$).

Эволюция двухфазных цепочек представляет собой сложное, практически неописанное языковое явление, имеющее немалое влияние как на характер словообразовательной интерпретации лексики, функционирующей в языке, так и на пути словопроизводства лексики вновь образуемой. Сущность данной эволюции заключается в постепенной д е ф о р м а ц и и двухфазного линейного ряда, т. е. в ослаблении, а затем и полном выпадении его наиболее уязвимого звена. Несколько забегая вперед, скажем, что в положении подобного уязвимого звена чаще всего оказываются первичные деминутивы.

*

Объединяемые в составе одного и того же словообразовательного гнезда первичные и вторичные дериваты четко противопоставлены друг другу в структурном, семантико-стилистическом и фреквенционном отношениях. Сказанное полностью исключает вероятность возникновения между ними отношений конкуренции, поэтому причину эволюции состава репрезентантов двухфазных цепочек следует искать в самих этих репрезен-

[3] Исходные цифровые показатели взяты из публикации «Tvoření slov v češtině», 2 — Odvozování podstatných jmen, Praha, 1967 (автор соответствующего раздела Л. Долежел).

[4] Иначе у прилагательных со значением интенсификации признака, у которых семантический диапазон применения вторичных процедур является более рельефным. См.: Г. П. Н е щ и м е н к о, История именного словообразования в чешском литературном языке конца XVIII—XX вв. (Прилагательное). М., 1968.

тантах, во внутренних закономерностях их семантико-стилистической природы и функционирования.

Изучение языковых фактов позволяет прийти к выводу о неравноценности звеньев двухфазных деминутивных цепочек. Наиболее маркантными представителями уменьшительно-эмоциональных существительных являются не первичные, а вторичные дериваты. Подобное «привилегированное» положение во многом объясняется особенностями семантической информации вторичных деминутивов. Мы имеем в виду следующее.

1. **Семантическая цельность вторичных дериватов.** Уменьшительно-эмоциональные существительные выполняют две основные функции: назывную (обозначение субстанции) и оценочную — в диапазоне последней находятся, в частности, значения уменьшительное, уменьшительно-эмоциональное и эмоциональное. Называя предмет или явление, указанные лексемы одновременно их характеризуют. В зависимости от того, сколь выразительным является оценочное значение, оно либо может быть достаточно стабильным, либо, напротив, редуцироваться, тускнеть. В случае полной утраты оценочного значения назывная функция становится единственной функцией слова, а бывшая оценочная лексема, не подвергаясь дополнительной структурной модификации, претерпевает семантическую метаморфозу, отражающуюся нередко и на ее словообразовательной интерпретации.

У вторичных деминутивов оценочная функция играет главенствующую роль, поэтому не случайно в их семантике практически полностью отсутствуют побочные недеминутивные значения. Иную картину мы наблюдаем у первичных дериватов, в семантике которых чисто номинативные значения не являются редкостью. Использование первичных дериватов в функции нейтральных обозначений во многом обусловливается переносным употреблением соответствующих образований, базирующимся на внешнем или функциональном сходстве явлений действительности. Приведенные ниже примеры, позволяющие выявить специфику семантической информации первичных и вторичных дериватов, наглядно свидетельствуют о несомненной функциональной специализации первичных деминутивов: *kůže* > *kožka*, řidč. *kůžka* «zdrob. ke *kůže*; zprav. kůže z mlého savce; mysl. kůže králíků a zajíců a někt. ptáků» > *kůžička* «zdrob. ke *kůže*»; *člun* > *člunek* «1. zdrob. k *člun*. 2. text. lodičkovité pouzdro s útkovou nití, které se prohazuje osnovou; tech. zařízení šicího stroje, které vede spodní nit. 3. bot. část květu rostlin motýlokvětých...» > **čluneček* «zdrob. *člunek* 1»; *kout* > *koutek* «1. zdrob. ke *kout*. 2. expr. příjemné, útulné, odlehlé místo, prostředí; zákoutí, zátiší, ústraní. 3. vyhrazené místo, oddělení, úsek n. odvětví činnosti. 4. postranní část štěrbiny úst, očí » > *koutečeк* «expr. zdrob.»; *bota* > *botka* «1. zdrob. k *bota*; druh obuvi, zvl. ženské. 2. tech. zašpičatělý železný násadec dolního konce piloty; voj. chránítko dolejší části pažby, zprav. kovové; stav. okování konců dřevěných trámů; bot. blanitý útvar objímající lodyhu rostliny nad nasazením řapíku listu; 3. žel. zarážka pod kola vozů. 4. zeměd. součást secího stroje zavádějící zrno do země. 5. železný škrabák na odstraňování hlíny s pluhu; otka» > > zdrob. *botička*, *botečka*, *botinka*; *list* > *lístek*, zdrob. k *list* «1. malý list rostliny; bot. jednotlivý úkrojek složeného listu (např. akátu, jírovce, jeřábu). 2. papírový list malého formátu. 3. pohlednice, dopisnice. 4. druh průkazu o něčem svědčící, k něčemu opravňující. 5. tenký plátek» > zdrob. lísteček (SSJČ).

Приведенные примеры, число которых легко может быть умножено, наглядно иллюстрируют цельность семантики вторичных деминутивов в противовес семантической неоднородности соответствующих первичных де-

риватов. Сказанное, разумеется, не исключает возможности появления недеминутивных значений и у вторичных производных. Ср., в частности, следующие примеры: *babička* «1. matka jednoho z rodičů. 2. stará žena; stařenka. 3. pomocnice při porodu; porodní asistentka. 4. nář. protěž.»; *koníček* «1. zdrob. ke koník; expr. kůň vůbec. 2. záliba, libůstka. 3. dřevěná figura na kolotoči v podobě koně. 4. hádanka, kt. se luští spojováním slabik na čtverečkovaném obrazci podle skoku koně na šachovnici. 5. ob. kobylka, saranče. 6. drobná mořská rybka připomínající šachovou figurku koně. 7. zbož. kožišina hříbat. 8. slang. přenosná plechová záložka umožňující v kartotéce snadnější hledání, jezdec. 9. tělocvičná hra»; *ručička* «1. zdrob. k *ruka*. 2. ukazatel času (na číselníku hodin); tech. ukazatel naměřené hodnoty na stupnici různ. měřících přístrojů. 3. zř. zast. ukazatel v podobě ruky. 4. úponka (bot.). 5. hud. posuvný drát, jímž lze regulovat výšku tónu» (там же).

2. **Максимальная выразительность (в пределах данного словообразовательного гнезда) деминутивного значения, присущего вторичным дериватам.** Образование вторичных дериватов диктуется потребностью зафиксировать с помощью средств словопроизводства интенсивную степень проявления деминутивного признака, а также разнообразную гамму эмоциональных оттенков, отражающую субъективное восприятие человеком окружающего его мира. В связи с этим деминутивное значение в семантике данных существительных представлено, если так можно выразиться, в наиболее концентрированном виде. В семантике первичных деминутивов — непосредственных предшественниках по линейному ряду — деминутивное значение, бесспорно, является менее выразительным и в какой-то мере может восприниматься как некоторый фон, на котором отчетливее обнаруживается семантическая специфичность вторичных дериватов. Ср., в частности, следующие примеры: «Georges:... pane, co to je atom? Jehan: to je malá část hmoty. Georges: Tak řeknu *kousek*. Jehan: To je menší. *Kousínek*, ždíbeček. *Kousek* to je molekula», V + W_1; «Ještě *chvilku*, jenom *chvílinku* malinkou», Mršt. Poh. m., «chtěla se vrhnout na otcovy snímky a roztrhat je na *kousky*, na samé *kouštíčky*», VI.31/68.

В свете приводимого выше материала вторичные дериваты представляются наиболее маркантными представителями деминутивной лексики.

Не менее важной является и другая особенность указанных существительных: вторичные дериваты принадлежат к числу наиболее стабильных репрезентантов уменьшительно-эмоциональной лексики. Действительно, изучение данных разновременно издававшихся словарей чешского языка убеждает в относительной устойчивости лексического состава исследуемых образований.

К числу причин этого явления в первую очередь следует отнести семантико-стилистическую специфичность вторичных деминутивов — своеобразный оградительный барьер, обособляющий данные существительные не только от недеминутивной лексики, но и от первичных дериватов. Семантическая броскость, выразительная стилистическая характеристика, предопределяющая преимущественное использование в экспрессивно окрашенной речи, препятствует семантической нивелировке вторичных деминутивов, изолирует их от остальных лексических пластов. И, напротив, меньшая интенсивность проявления деминутивного признака, большая нейтральность стилистической окраски первичных дериватов влечет за собой расширение сферы использования указанных образований, способствует сближению, а иногда и пересечению зон функционирования первичных деминутивов и недеминутивной лексики. Вышесказанное стимулирует процесс семантической нивелировки, поэтому неудивительно, что относительно большое количество первичных дериватов ситуацион-

н о (т. е. в условиях определенного контекста) либо п о с т о я н н о (т. е. независимо от контекста, во всех словоупотреблениях) утрачивает значение оценки, функционирует как обычные недеминутивные обозначения.

Устойчивость лексического состава вторичных дериватов во многом обусловливается и н и з к о й ч а с т о т н о с т ь ю их употребления. На данном вопросе мы остановимся несколько подробнее, поскольку фактор частотности оказывает существенное влияние на темп протекания целого ряда важных языковых процессов. Так, вовлечение лексики в более а к т и в н о е языковое обращение стимулирует снашивание ее семантико-стилистической специфичности (что особенно важно для исследуемых нами существительных, имеющих выразительную экспрессивную окраску), ускоряет процессы размежевания словообразовательных формантов (например, их конкуренцию друг с другом), выявления наиболее продуктивных аффиксов, обновления лексического состава и пр. В свою очередь н и з к а я частотность употребления влечет за собой известную «консервацию» лексического состава, препятствует семантической и стилистической нивелировке лексем. Именно низкая частотность вторичных дериватов, как мы увидим ниже, и является одной из причин их стабильности в роли репрезентантов уменьшительно-эмоциональных существительных.

В подавляющем большинстве случаев компоненты двухфазных деминутивных цепочек располагаются, как этого и следовало ожидать, по принципу уменьшения частотности употребления. Факт снижения частотности деминутивов по мере удаления от исходной производящей основы наглядно иллюстрируют следующие примеры: *dcera* 282 — *dcerka* 32 — *dceruška* 12; *hoch* 501 — *hošík* 21 — *hošíček* 15; *hadr* 40 — *hadřík* 6 — *hadříček* 3; *kostel* 157 — *kostelík* 12 — *kostelíček* 5; *kout* 175 — *koutek* 57 — *koutečeк* 6; *kufr* 30 — *kufřík* 19, *kufírek* 7 — *kufříček* 3; *noha* 638 — *nožka* 26 — *nožička* 7; *oko* 1766 — *očko* 32 — *očičko* 9; *pokoj* 394 — *pokojík* 19— *pokojíček* 3; *ryba* 92 — *rybka* 11 — *rybička* 8; *stůl* 510 — *stolek* 39 — *stoleček* 7; *strom* 437 — *stromek* 15 — *stromeček* 9; *syn* 465 — *synek* 53 — *synáček* 29; *vítr* 358 — *větřík* 20 — *vetříček* 3; *vrch* 96 — *vršek* 35 — *vršíček* 3; *zrno* 47 — *zrnko* 28 — *zrné* (*í*)*čko* 8 [5]. Как мы видим, нейтральная производящая основа *О* обычно имеет м а к с и м а л ь н ы е частотные показатели, репрезентанты фазы $Д_2$, а тем более $Д_3$, если она имеется, характеризуются частотностью м и н и м а л ь н о й. Отдельные случаи возрастания частотности употребления вторичных деминутивов обычно свидетельствуют о намечающемся потускнении их экспрессивной функции, об их преимущественном использовании в функции нейтральных обозначений; ср., например, обозначения степени родства *babička* 135 — *babka* 21— *bába* 64; *dědeček* 73 — *dědek* 22 — *děd* 25; *tatínek* 501 — *tatík* 40 — *táta* 178.

В отличие от вторичных первичные дериваты характеризуются относительно высокой (для данной категории лексики) частотностью употребления. Указанное обстоятельство в комбинации с ослабленной (по сравнению с вторичными деминутивами) семантико-стилистической выразительностью превращает первичные дериваты в объект, наиболее подверженный различным языковым изменениям, делает их наиболее мобильным, а вместе с тем и у я з в и м ы м звеном деминутивной цепочки. Поэтому не случайно деформация двухфазных деминутивных рядов в боль-

[5] Частотные характеристики взяты из справочника «Frekvence slovních druhů a tvarů v českém jazyce», Praha, 1961.

шом количестве случаев бывает сопряжена с изменением словообразовательной или семантической интерпретации первичных деминутивов.

Ниже мы рассмотрим случаи преобразования двухфазных деминутивных цепочек.

*

Линейная последовательность звеньев двухфазной цепочки $О > Д_1 > Д_2$, при которой структура вторичных дериватов непременно выводится из структуры дериватов первичных, по сути дела является отражением диахронического процесса образования деминутивов. Вместе с тем она не противоречит синхронному восприятию языковых фактов, так как опирается на реально существующие в сознании носителей языка словопроизводственные ассоциации.

В процессе функционирования деминутивной лексики описанная линейная последовательность фаз словопроизводственного ряда претерпевает существенные изменения вследствие неравномерной эволюции репрезентантов отдельных фаз. Как показало изучение материала, наиболее стабильным звеном деминутивной цепочки являются репрезентанты фазы $Д_2$, наименее стабильным — репрезентанты фазы $Д_1$, лексический состав которых несет отчетливые следы словообразовательного и семантико-стилистического размежевания.

Анализ языковых фактов показывает, что многие из исконно двухфазных цепочек ныне могут быть интерпретированы как цепочки однофазные. Подобная синхронная коррекция обусловлена выходом из употребления либо переосмыслением соответствующих первичных дериватов, в результате чего исконно вторичные дериваты становятся единственными репрезентантами деминутивной лексики.

Важно отметить, что указанная эволюция двухфазных линейных рядов не относится к разряду случайных, спорадических явлений, напротив, она имеет приметы устойчивой закономерности, влекущей за собой переоценку словообразовательной интерпретации относительно большого числа функционирующих в языке деминутивов.

Данная эволюция является результатом действия ряда тенденций, в числе которых немаловажную роль играет тенденция унификации словообразовательной системы данной лексической категории.

Ниже мы рассмотрим направления эволюции двухфазных цепочек.

1. **Выпадение фазы $Д_1$.** Данный тип эволюции является наиболее распространенным. Его сущность наглядно отражает схема: $О > Д_1 > Д_2 \rightarrow \rightarrow О \rightarrow Д_2$.

Деформация деминутивной цепочки наступает в результате выпадения фазы $Д_1$ и установления непосредственной словопроизводственной соотнесенности между исконно вторичными дериватами и производящей основой $О$.

Как известно, интерпретация словообразовательной структуры вторичных деминутивов в принципе неоднозначна и допускает возможность выбора словообразовательной мотивировки. При этом, как правило, речь идет о двух параллельных мотивировках, которые схематически можно себе представить следующим образом: $О > Д_2$; $Д_1 > Д_2$. Бóльшая или меньшая предпочтительность той или другой мотивировки зависит от конкретной ситуации. Вследствие деформации деминутивной цепочки, проявляющейся в выпадении фазы $Д_1$, мотивировка $О > Д_2$ из параллельной становится единственно возможной.

Выпадение фазы $Д_1$ главным образом обуславливается выходом из употребления первичных деминутивов, образованных посредством непро-

дуктивных словообразовательных формантов, например, *-ic(e)*, *-c(e)*, *-ec*. Приведем примеры: [6]

sestra > † *sestřice* SSJČ > *sestřička* († *sestřinka*, * *sestruška*) SSJČ.
hudba > *hudbičě* Geb > *hudbička* SSJČ
voda > † *vodice* PS > *vodička* PS
křivda > *křivdičě Šim* > *křivdička* SSJČ
jesle > *jěslky* Geb, *jěslicě* Geb > *jesličky* SSJČ
dratev (*dratva*) > *dratvičě* Geb > *dratvička* SSJČ
kaple > † *kaplice* SSJČ > *kaplička* SSJČ
báseň > *básncě*, *básnice* Geb > *básnička* SSJČ
město > *městce Šim* > *městečko* SSJČ.

Особо следует отметить случаи, когда вышедший из употребления первичный деминутив одной словообразовательной структуры возмещается первичным дериватом иной структуры — таким образом, ступенчатость словопроизводственного процесса, его фазность, сохраняется: *pivo* > *pivko* SSJČ, *pivce* Šim > *pivečko*, *pivíčko* SSJČ; *chlév* > *chlívek*, *chlévek* pon. zast. a nář., *chlé(í)vec* pon. zast. SSJČ > *chlíveček* SSJČ; *lod'* > > *lod'ka*, *lodice* řidč. SSJČ > *lodička* SSJČ; *ruka* > *ručice* Šim, *ručka* SSJČ > *ručička*, *ručinka* SSJČ; *ryba* > † *rybice*, *rybka* SSJČ > *rybička* SSJČ; *zrno* > *zrnko* PS, *zrnce* Šim > *zrné(í)čko* PS; *krám* > *krámek*, † † *krámec*, * *krámík* SSJČ > *krámeček* SSJČ; *klášter* > *klášterec* zast., *klášteřík* SSJČ > *klášteříček* SSJČ.

Нарушение словопроизводственной связи репрезентантов фаз $Д_1$ и $Д_2$ (и соответственно укрепление соотнесения $О > Д_2$) нередко обусловливается переосмыслением первичных дериватов, возникновением в их семантике недеминутивных значений, постепенно вытесняющих уменьшительно-эмоциональное значение. Ср. следующие примеры: *kůže* > *kožka*, *kůžka* > *kůžička*; *hvězda* > *hvězdice*, *hvězdka* bás. zdrob. > *hvězdička*; *bratr* > *bratřík* > *bratříček*; *hlava* > *hlavice*, *hlávka* > *hlavička* (все из SSJČ). Входящие в состав приведенных двухфазных цепочек первичные деминутивы в современном чешском языке в качестве деминутивных обозначений не используются — данная функция полностью монополизирована вторичными дериватами. В справедливости сказанного наглядно убеждает изучение словарной (SSJČ) интерпретации семантики соответствующих образований. Так, у существительных *bratřík*, *hlávka*, *kožka* деминутивное значение из основного превратилось в побочное, второстепенное: *bratřík* «* 1. zdrob. k *bratr*. 2 hist. příslušník husitských vojsk, zejm. pozdějších»; *hlávka* «*1. zdrob. k *hlava* [7], malá lidská n. zvířecí hlava, hlavička. 2. kulovitý rostlinný útvar složený z většího počtu orgánů, např. listů, květů». Существительное *kožka*, řidč. *kůžka*, несмотря на то, что словарь фиксирует у него наличие деминутивного значения, практически функционирует как недеминутивное обозначение кожи зайца, кролика и т. д. Существительные *hlavice*, *hvězdice* претерпели полную нивелировку деминутивного значения — SSJČ следующим образом интерпретирует их семантику: *hlavice* «1. rozšířené zakončení něčeho, obyč. nahoře... 2. věc tvarem připomínající hlavu [8]. * 3. lidská hlava n. zvířecí»; *hvězdice* «1. bás. hvězda na obloze. 2. předmět mající tvar n. podobu hvězdy. 3. mořský živočich». Примечательно, что в словаре Гебауера существи-

[6] Заранее оговорим, что в подаче иллюстративного материала мы полностью отвлекаемся от генетического аспекта: приводимые нами дериваты комплектуются функционально, т. е. с учетом того, какое звено линейного ряда они в данный момент представляют.

[7] Ср., например «stařečkové přemoudří, mající pudrovanou *hlávku* práškem tvrdošíjnosti», Hronka, 1836=A.

[8] Так, в одном из современных контекстов данное существительное употреблено для обозначения боеголовки ракеты.

тельное *hlavice* квалифицируется как деминутив; в аналогичном значении оно используется в тексте произведения, написанного на древнечешском языке: «já z mladú na svéj *hlavici* nosil sem těžkú přielbici», Výbor. Уменьшительно-эмоциональное значение представлено и у существительного *hvězdice* (см. выдержку из произведения, относящегося к середине XIX в.: «hádaly se *hvězdy*/Po nebi po nočním.../A jasné *hvězdice*/ Jeho společnice/ Ruce zhasínaly», Lang. Sel.).

2. Выпадение исходного звена цепочки *О*. Направление данной эволюции отражает схема $О > Д_1 > Д_2 \rightarrow [О]\, Д_1 > Д_2$. Сущность эволюции заключается в выпадении исходного звена цепочки и укреплении словопроизводственной связи вторичных деминутивов с соответствующими первичными дериватами. Подоплекой деформации, главным образом, является семантическое размежевание производящей основы *О* и первичных дериватов.

Наиболее характерным примером эволюции этого рода является судьба деминутивной цепочки *chlap* > *chlapec* > *chlapeček*. В словаре Гебауера существительное *chlapec* квалифицируется как деминутив от *chlap*. Однако в современном литературном чешском языке данный дериват не только полностью утратил уменьшительно-эмоциональное значение, но и словообразовательную связь с исходным производящим словом *chlap* — между этими существительными произошло семантическое размежевание [9]; ср. интерпретацию в SSJČ: *chlapec* «1. nedospělá osoba mužského pohlaví; hoch, mladík, mládenec; 2. expr. muž vůbec (vrstevník, druh, kolega, kamarád, manžel, syn); hoch; 3. milý, mládenec, hoch; 4. nář. zbojníci»; *chlap* «1. expr. muž, zprav. vyspělý a silný; mužský; 2. ob. expr. muž vůbec (zvl. v kladném smyslu); muž, mužský, chlapík; hanl. muž povahy špatné, darebák, ničema; 3. ob. zhrub. muž, mužský; 4. poddaný, nevolník; 5. nář. (bez citového zabarvení) dospělý muž, ženatý muž». Вследствие указанной семантической эволюции существительное *chlapec* ныне выполняет функцию исходного звена цепочки, в то время как исконно вторичный деминутив *chlapeček* — функцию первичного деривата. Таким образом, налицо с м е щ е н и е всего ряда влево.

К рассмотренному случаю тесно примыкает и реконструируемая на основе материалов словаря Гебауера цепочка *jehla* > *jehlice* > *jehlička*. В современном литературном чешском языке данная двухфазная цепочка распалась на две однофазные в результате семантического размежевания существительных *jehla* и *jehlice* [10]: *jehla* > *jehlička* (с выпадением фазы $Д_1$;) *jehlice* > *jehlička* (с выпадением исходного звена *О*).

Выпадение звена *О* иллюстрируют и следующие примеры: [*kop* Geb] > > *kopec*, *kopek* Geb, SSJČ > *kopeček* SSJČ; [*lem* J] > *límec* J, SSJČ, *límek* J > *límeček* SSJČ.

Следует подчеркнуть, что, реконструируя данные цепочки, мы полностью исходим из интерпретации словарей, отражающих относительно ранние стадии существования чешского языка (сказанное в особенности касается словаря Гебауера), поскольку в современном литературном чешском языке семантическая преемственность существительных *kop* и *kopec* [11], *lem* и *límec* [12] полностью нарушена. Единственными носителями

[9] Небезынтересно сопоставить частотные характеристики исконных компонентов цепочки: *chlap* 197 — *chlapec* 523 — *chlapeček* 49.

[10] Ср.: *jehla* «1. nástroj na šití ... 2. věc připomínající tvarem jehlu. 3. řidč. jehlice»; *jehlice* «1. ozdobný předmět podobný jehle, který se zapíchává do kravat, klobouků. 2. nástroj k pletení. 3. list jehličnatých stromů. 4. polokřovitá léčivá rostlina. 5. štíhlá mořská ryba».

[11] Ср. интерпретацию словаря Гебауера: *kop* «kopec, Berg», *kopec* «Berg», dem. z *kop*.

[12] Юнгманн квалифицирует существительное *límec* как деминутив от *lem*.

деминутивного значения ныне являются исконно вторичные деминутивы *kopeček*, *límeček*.

К описанному выше явлению выпадения звена *О* с известной долей условности могут быть отнесены и факты функциональной переоценки первичных дериватов, обуславливающие снижение значимости словообразовательной мотивировки $О > Д_2$. Важно подчеркнуть, что случаи, о которых пойдет речь ниже, полностью относятся к сфере языковой синхронии.

Анализ материала показал, что первичные дериваты могут быть использованы как чисто номинативные обозначения и при сохранении в их семантике деминутивного значения. Данное явление становится возможным в том случае, когда более или менее постоянным качеством обозначаемого словом предмета является малость размеров. В указанной ситуации для его обозначения допустимо использовать как производящее существительное, так и соответствующий первичный дериват. Именно так обстоит дело в парах *kniha — knížka*, *květ — kvítek*, *list — lístek*, *kus — kousek*, *zvon — zvonek*, *kůra — kůrka*, *tabule — tabulka* и мн. др. Структурно-семантическая связь противопоставленных друг другу лексем является несомненной; не подлежит сомнению и наличие деминутивного значения у образований *knížka*, *kvítek* и т. д., квалифицируемых как первичные деминутивы (имеются и соответствующие вторичные дериваты), тем не менее в определенных ситуациях указанные существительные могут быть взаимозаменимы, т. е. функционировать как равноправные обозначения объекта, причем в ряде случаев употребление деминутива является более предпочтительным; ср. *knížka veršů*, *dětské knížky*, *modlitební knížky* и пр. Впоследствии в силу частого употребления первичный деминутив закрепляется за объектом в качестве его постоянного названия, а присущее деривату уменьшительно-эмоциональное значение (в данной конкретной специализации) от частого употребления лексемы стирается, тускнеет и в конце концов исчезает [13]. Ср., например, семантическую интерпретацию существительного *knížka* в SSJČ «маленькая книга, книга вообще» (разрядка наша — *Г. Н.*). О преобладающем использовании первичных дериватов в функции нейтрального обозначения свидетельствует и факт возрастания их частотности: *chvíle* 1651 — *chvilka* 243 — *chvilička* 19, *chvilinka* 10; *list* 238 — *lístek* 139 — *lísteček* 4; *kniha* 325 — *knížka* 97 (частотность вторичных дериватов не указывается).

В некоторых случаях частотность первичных деминутивов превышает частотность соответствующей производящей основы — подобный факт говорит обычно о полном переходе уменьшительно-эмоционального образования в разряд нейтральных обозначений; ср. *svíce* 27 — *svíčka* 88 — *svíčička* 33; *tabule* 43 — *tabulka* 84 (частотность вторичных дериватов не указана); *zvon* 191 — *zvonek* 109, *zvonec* 12 — *zvoneček* 8; *kus* (частотность не указана) — *kousek* 275 — *kousíček* 15 и т. д. В указанной ситуации в ряде случаев наблюдается семантическое размежевание исконного первичного деривата и соответствующей производящей основы [14]. Последняя нередко приобретает увеличительное значение; ср. *svíce* «(větší) svíčka» SSJČ. Данное значение может быть как вполне устойчивым (*svíce*), так и ситуационным, обусловленным конкретным контекстом [15]. Иллюстра-

[13] Ср. случай контекстного восстановления деминутивного значения: «*kvítkem* je jen podle názvu, ve skutečnosti je to obrovský *květ*», R. pr., 1954 (п. 5.)

[14] Ср., например, семантику существительных *kůra* «кора дерева, кора вообще» и *kůrka* «корка хлеба».

[15] Ср. пример из детской речи: «Это не стручок, а настоящий струк».

цией последнего являются следующие примеры: «skořápka poválečné idyly čím dál, tím víc praskala a *zlořádky* malých měšťánků se měnily ve *zlořady* a surovou zlobu fašismu», V + W_1; «Přihnal se tedy náhle vítr. První vlhký jarní vítr, závan, živý vzduch. Takový vítr už dnes možná nebývá. Kdo ví. Třeba se uklidnil a je z něho nudný, nanicovatý větřík» Ašk. Et. d. a. nd.

Рассмотренные выше случаи правомерно квалифицировать как потенциальную деформацию двухфазных цепочек, поскольку нивелировка оценочного значения завершается переходом деминутивов в разряд нейтральных обозначений. Таким образом, несмотря на сохранение структурно-семантической преемственности между исконными репрезентантами фаз $Д_1$ и $Д_2$, сами эти репрезентанты подвергаются функциональной переоценке: первичные дериваты становятся нейтральными обозначениями, а вторичные дериваты — единственными представителями деминутивной лексики в рамках определенного словообразовательного гнезда.

*

Сопоставление обоих типов эволюции двухфазных деминутивных цепочек позволяет заметить, что независимо от того, какой компонент деривационной цепочки (*О* или $Д_1$) является объектом деформации, последствия процесса во многом идентичны: двухфазная цепочка превращается в однофазную путем редукции наиболее уязвимой фазы деминутивного линейного ряда, представленной первичными дериватами. Указанные образования либо полностью выходят из употребления, либо переходят в разряд недеминутивной лексики вследствие нивелировки уменьшительно-эмоционального значения. Так или иначе единственными представителями деминутивов (после деформации цепочки) остаются вторичные дериваты, наделенные, как уже отмечалось, наиболее маркантной семантикой и стилистической окраской и являющиеся стабильными репрезентантами уменьшительно-эмоциональных существительных. Следует иметь в виду, что и для вторичных деминутивов деформация линейного ряда не проходит бесследно: она обуславливает переоценку словообразовательной структуры и семантики. Так, в частности, в результате выпадения промежуточной деминутивной фазы $Д_1$ происходит укрепление словопроизводственной связи нейтральных производящих лексем с исконно вторичными дериватами. Это влечет за собой изменение словообразовательной интерпретации вторичных дериватов: они переходят в разряд деминутивов, не расчленяемых на первичные и вторичные дериваты; в их структуре выделяется единый сложный формант вместо комбинации синонимичных деминутивных аффиксов [16]. Так, например, с современной точки зрения было бы анахронизмом выделять в структуре существительного *dušička*, бывшего некогда вторичным деминутивом, формант *-k-*, нанизываемый на предшествующий деминутивный суффикс *-ic(e)*, поэтому в данном и других подобных случаях правомерно говорить лишь о наличии единого суффикса *-ičk-*. Таким образом, выход из употребления либо переосмысление (с утратой деминутивного значения) первичных дериватов влечет за собой вследствие тесной взаимообусловленности фаз деминутивной цепочки эволюцию ряда в целом. Функциональное смещение деминутивов, находящихся в отношении последовательной словообразовательной зависимости,

[16] Структура вторичных дериватов является результатом присоединения дополнительного аффикса (нанизываемого или же вкладываемого внутрь слова), нагнетающего уменьшительно-эмоциональное значение.

приводит к тому, что исконно вторичные дериваты начинают выполнять функцию единственных репрезентантов деминутивной лексики, а исконно первичные дериваты — функцию исходного звена однофазной деминутивной цепочки либо полностью выходят из употребления.

Эволюция двухфазных деминутивных цепочек не отличается высокой скоростью, напротив, она несколько замедлена в силу низкой частотности деминутивов: общеизвестно, что деминутивы, как и вообще экспрессивная лексика, к которой они относятся, имеют более низкие частотные показатели, чем лексика, относящаяся к сфере нейтральных обозначений. Сказанное предопределяет целесообразность привлечения данных р а з н о в р е м е н н о издававшихся словарей, в особенности словарей, выходивших с большим хронологическим разрывом. Положительные результаты дает и изучение материалов одного и того же словаря — разумеется в том случае, если он содержит стилистические пометы, отражающие реакцию современных носителей языка. Так, например, словарные пометы, свидетельствующие о малой употребительности соответствующих первичных дериватов, подтверждают справедливость их квалификации как промежуточной, необязательной ступени деривационного процесса. Ср. *duše* > [**duška* SSJČ, † *dušice* SSJČ [17]] > *dušička*, *dušinka*, *dušenka* SSJČ; *chléb* > [*chlebík* zř. expr. a nář. SSJČ, *chlebec* Geb] > *chlebíček* SSJČ; *koza* > [*kozka* zast. a nář. SSJČ] > *kozička* SSJČ; *louže* > [**lužka*, **loužka* SSJČ] > *loužička* SSJČ; *lahev* > [*lahvice* pon. zast. SSJČ] > *lahvička* SSJČ; *hnízdo* > [**hnízdko* SSJČ, *hniezdce* Geb, Šim[18]] > *hnízdečko*; *píseň* > [*píesenčě* Šim, **píseňka*, **písenka* SSJČ] > *písnička* SSJČ; *růže* > [**růžice* SSJČ [19]] > *růžička*, *růžinka* pon. zast. SSJČ; *buchta* > [nář. *buchetka* SSJČ] > > *buchtička* SSJČ; *cesta* > [**cestka* SSJČ] > *cestička* SSJČ.

Малая употребительность соответствующих первичных деминутивов существенно снижает вероятность либо даже полностью аннулирует мотивировку $Д_1 > Д_2$.

Следует отметить, что иногда о направлении преобразования двухфазной деминутивной цепочки можно судить на основе чисто синхронных наблюдений (см. привлекаемые выше сведения о частотности, изучение характера функциональной специализации). Немалую роль играет и анализ контекстного употребления уменьшительно-эмоциональных существительных. Так, в частности, правомерность утверждения о том, что именно вторичные дериваты являются наиболее типичными представителями деминутивной лексики, красноречиво подтверждают контексты, в составе которых вторичные деминутивы употребляются в непосредственном соседстве с нейтральными существительными (соответствующие первичные деминутивы опущены): «televizní a filmové společnosti hledají mladé talenty, aby si do bodoucna vychovaly své vlastní *hvězdy* a *hvězdičky*», VI.52/66; «Díval se na *čáry*, *čárečky* a barevné kruhy», Ed. H. Uzel; «Vysokánská *věž*, a na ní čtyři malé *věžičky*», Broučci; «bůh poslal oddíl *duší* a *dušiček* přerozdílných ku vtělování», Pr. posel; «Nepokryla se podzimním listím *dolina*, *dolinečka* a posula se ruským vojskem *krajina*, *krajinečka*», Čelak. Ohlasy r., «Ach, *koně*, *koníčci*, kolikrát jsme se těšili pohledem na vaše plavé hřívy», J. S. Kupka. Rušné dny; «*Ženo*, *ženuško*, neodjížděj», B. N. Bách. II; «Ach *sestro* milá! — přemilá *sestřičko*! Ach *duše* mladá — *mladinká dušičko*!», Lang Sel.; «Oni tam měli spoustu těch *hrází* a *hrázíček*,

[17] Ср. эксперпции: «A slečinka tichounká *duška*», Neruda. Sp., 1898-A; «pokoj věčný *dušici* méj», Výbor.

[18] Ср., например: «přiletě jestřáb výbojce, chtieše to *hniezdce* zhubiti», Výbor.

[19] См. интерпретацию SSJČ: «*1. zdrob. k *růže*; 2. co tvarem připomíná květ rozkvetlé růže».

Mloky; «musíš být hrozně hodný a říkat mi *verše, veršíčky*, cos mi říkával, když jsi mě ještě miloval», Rachl. Obl.; «Proč by nemohl mít most ještě můstek [20], věž věžičku», Ibid.; «Do pozdního soumraku jsme věčně chodili spletencem *cest* a *cestiček*», Bl. Dim. Objížd'ka; «Ten starý pán, to byl slušný kapřík z těch *velryb*, *ryb* a *rybiček*, co plují mezi poctivými lidmi po Václavském», Haló 51/70.

Необходимо подчеркнуть, что в результате эволюции определенной части двухфазных цепочек в однофазные (было бы ошибкой полагать, что эта тенденция распространяется на все двухфазные цепочки) происходит унификация, выравнивание функционирующих в языке деминутивов по преобладающему образцу (напомним, что около 84% уменьшительно-эмоциональных существительных не расчленяются на первичные и вторичные дериваты). Значение степени проявления деминутивного признака в этом случае передается не с помощью средств словообразования, а главным образом описательно, синтаксически.

---

[20] Вторичный деминутив в цепочке *most* > *můstek* вообще отсутствует.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Г. ИЗИНГ

ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ ЯЗЫКОВЫХ ПОДСИСТЕМ*

Хотя большинство ученых не спорит о том, что целью типологического исследования является определение основных признаков анализируемого объекта путем его описания, тем не менее неодинаковые свойства объекта и цели исследования открывают самые различные возможности, позволяющие выделить наиболее существенные черты из всей совокупности явлений и обратить наибольшее внимание на те или иные из них. Это относится также и к лингвистическому исследованию общетеоретического характера, стремящемуся к установлению типологии языковых структур и тем самым к более глубокому пониманию природы человеческого языка, его внутреннего строения, закономерностей его функционирования и развития. При этом именно советские лингвисты нередко указывали, что исследование типологии различных функциональных видов языка и их соотношения друг с другом с учетом экстралингвистических факторов не менее существенно, чем изучение других общетеоретических проблем. Постановка такой задачи предполагает, однако, что язык уже не будет рассматриваться как гомогенная и автономная система; предметом исследования становятся системные варианты, подсистемы языка, причем критерии такой типологии должны соответствовать особенностям предмета исследования. В этой связи ниже будут рассмотрены некоторые основные вопросы.

При типологии структур различных языков в качестве величин сравнения или единиц отсчета, как правило, используются языковые категории. Вряд ли, однако, целесообразно в каждом случае переносить эту процедуру на типологическое исследование языковой системы и ее подсистем. Подсистемы, о различных свойствах которых мы еще будем говорить, в подавляющем большинстве случаев представляют собой системные варианты части языковой системы, принимаемой в качестве нормы. Можно было бы, пожалуй, признать относительную структурную самостоятельность диалектов в рамках современных национальных языков; однако коммуникативная значимость диалектов в современном обществе постоянно убывает. Языковая реальность представляется в настоящее время в виде шкалы самых разнообразных градаций, охватывающих не только вертикальное пространство между полюсами «основной слой языка» (Grundschicht) и «языковой стандарт» (Hochsprache), но и функциональные стили (в самом широком смысле этого термина), обусловленные коммуникативной ситуацией и предметом коммуникации. Лингвистика, занимавшаяся до сих пор главным образом исследованием письменного языка и диалектов, в наше время стоит перед необходимостью понять системную вариа-

* Статья представляет собой доклад, прочитанный автором на Пятой научной сессии по вопросам германского языкознания в ноябре 1969 г. (Москва).

тивность языковой реальности, ее коммуникативную релевантность и основные причины, определяющие сущность этой вариативности. Типология, которая, в зависимости от обстоятельств, охватывает целостную языковую систему компетентного говорящего-информанта или определенной группы говорящих, и противопоставляет ее другим системам, отличающимся только наличием определенных вариантов, была бы безусловно в состоянии выделить основные различия таких систем; однако подобная процедура наталкивается как на теоретические, так и на практические трудности. Языковые подсистемы существуют, по определению, лишь по отношению к иерархически более высоко организованной языковой системе. Представляется поэтому правомерным отделить системные варианты какого-либо языка от его нормы, требующей специального определения (в общей форме норма соответствовала бы письменному языковому стандарту). Такая норма по необходимости представляет собой абстракцию; однако и системные варианты выделяются из языковой реальности только в форме абстрактных вариационных моделей языка. Первый шаг на пути к типологии языковых подсистем, таким образом, состоит в определении основных различий этих подсистем по отношению к стоящей над ними нормативной языковой системе. Такая процедура уместна по отношению к большинству европейских национальных языков.

Национальные языки структурированы не только изнутри; существует системное соотношение между национально-языковой нормой и отдельными подсистемами, а также между самими этими подсистемами. Для уяснения сущности соотношений подобного рода представляется необходимым более детально охарактеризовать системные варианты того или иного языка и даже сделать их предметом типологии. В связи с этим необходимо прежде всего определить, образовалась ли данная подсистема на всех языковых уровнях или она охватывает только определенные части языка и лишь этим отличается от нормы. Даже подсистемы, охватывающие несколько языковых уровней, с точки зрения своей коммуникативной релевантности и территориального распространения могут быть весьма различными.

Различие становится явным, если систему фонетических, морфологических, синтаксических и лексических различий, обозначаемых обычно как «повседневный язык» (Alltagssprache), противопоставить отдельным диалектам. В первом случае мы имеем дело со специфическими особенностями разговорного языка, которые в свою очередь включаются в более широкие рамки национально-языковой нормы (в статистическом смысле), имеющей широкое распространение при коммуникации внутри общества, но регионально не ограничены. Эти особенности с точки зрения национально-языковой нормы можно охарактеризовать как уровень нижнего функционального стиля, а с точки зрения целостной структуры национального языка характеризуется как наиболее высокий пласт в рамках нормы. Напротив, отдельные диалекты имеют лишь ограниченную региональную и коммуникативную релевантность. До тех пор, пока они не находятся в процессе распада или выравнивания, они представляют собой относительно стабильную языковую систему, в рамках которой развивается определенная нормативная тенденция. Именно в этом последнем отношении они отличаются от повседневного языка, который характеризуется чрезвычайной вариативностью, т. е. степень отклонения от нормы меняется в зависимости от коммуникативной ситуации или коммуникативных намерений говорящих.

Противопоставление повседневного языка и диалекта приводит к выделению еще одного критерия, который важен для типологии языковых подсистем: степени вариативности (resp., стабильности) внутри подсистемы.

Этот критерий приобретает особую значимость для типологического определения так называемых средних языковых пластов, которые образуются в переходной зоне между диалектами и национально-языковой нормой и обычно обозначается термином «обиходный язык» [1]. Проведенные в последние десятилетия обстоятельные дискуссии, посвященные определению понятия и сущности обиходного языка привели к мнению, что в промежутке между диалектами и письменным языком не царит безграничная вариативность, не подчиняющаяся никаким правилам, но что и региональные обиходные языки «прикреплены» к системе, хотя последняя может носить очень открытый, а часто лишь потенциальный, характер. Точное определение соотношения вариативности и «прикрепления» к системе приобретает особое значение при типологическом рассмотрении. Оно прежде всего создает предпосылку для включения средних языковых пластов в общую структуру национального языка. Уже при первом ознакомлении с языковой ситуацией в Германской Демократической Республике становится понятным, что средние языковые пласты следует различным образом расположить между крайними полюсами вертикального языкового расслоения. В то время как в северных районах обиходный язык в значительной мере ориентирован на национально-языковую норму, и диалектные особенности встречаются лишь в определенных явлениях (ср., например, использование фрикативного в словах *Erfolch*, *zeicht*, *Tach* вместо *Erfolg*, *zeigt*, *Tag* или краткость гласного в словах *Gras*, *Rad*, *nach* вместо *Grās*, *Rād*, *nāch*) обиходный язык средних областей, характеризуемый особенно влиянием берлинского говора, в большой мере вбирает в себя диалектные элементы (ср., например, *-t* в исходе слова: *det* «das», *wat* «was», а также во флексиях: *j* вместо *g*, *o* вместо *au* в словах *lofen*, *jloben*, «laufen», «glauben», *ville* «viel» и т. д.). Наконец, верхнесаксонско-тюрингский обиходный язык во многих отношениях еще дальше отходит от орфоэпической нормы (ср., например, округленные гласные, слияние звонких и глухих смычных). Подобная характеристика представляет собой лишь «среднюю величину», присущую трем основным типам региональных обиходных языков в ГДР. Задачей типологического анализа в настоящее время должно быть исследование того, группируются ли варианты разговорного языка вокруг этой средней величины более или менее беспорядочно или они группируются системно, образуя более высокие и более низкие пласты. Первые исследования расслоения разговорного языка показали, что системные варианты чаще всего встречаются там, где языковая система наиболее закрыта, т. е. в фонетико-фонологической области. Средние языковые пласты не следует объяснять просто как переходные зоны между нормой и основным слоем языка. На то, что в этой переходной области они консолидируются в самостоятельную систему, указывают два явления: в широких ареалах, особенно в бранденбургской языковой области, в Нижней Лужице, в некоторых частях Верхней Саксонии и Тюрингии, местные диалекты больше не имеют коммуникативной функции: они представляют лишь пассивный языковый запас жителей старшего поколения. Их место занял обиходный язык, выступающий в виде языкового типа с широким ареалом распространения. В других областях этот тип обиходного языка, охватывающий широкий языковый ареал, распространяется из определенных «центров излучения», колеблясь между нормой и местным основным типом языка. Тип обиходного языка, имеющий берлинскую окраску, уже восторжествовал в центральной части района Бранденбурга (Mittelmark)

[1] «Обиходный язык» (Umgangssprache) употребляется немецкими диалектологами в значении, в котором у нас употребляется термин «полудиалект» (Halbmundart).— *Примеч. перев.*

и распространяется в настоящее время вплоть до северных районов; в северных частях района Бранденбурга (Nordmark) в рамках этого обиходного языка *j* частично употребляется вместо *g* (*ville* «viel»), в то время как в диалекте и в языковой норме находим *g* (соответственно *väl*). Следует даже указать на то, что подобные особенности обиходного языка, происходящего из других областей, могут оказывать влияние и на диалект. Нижненемецкий диалект Магдебурга и ареала, окружающего его, заимствовал округленные гласные из обиходного языка, имеющего верхнесаксонскую окраску, хотя с исторической точки зрения эти последние для него не характерны. Все эти примеры показывают, что стабильность языковых подсистем является важным критерием типологического определения.

Языковые подсистемы, как уже указывалось, следует с другой точки зрения понимать как вертикальное расслоение разговорного языка. Необходимо прежде всего указать на те подсистемы, которые охватывают только определенные области или уровни языка или касаются особенностей коммуникативной ситуации. К первым принадлежат прежде всего особенности на лексическом уровне языка, которые неточно обозначаются как специальные, профессиональные языки и т. п. В своей совокупности они не связаны с какой-либо узкой региональной областью, если, конечно, они не представляют собой предметных группировок, ограниченных регионально. О стабильности лексических подсистем можно говорить лишь в очень ограниченном смысле; однако в своей совокупности они выделяются из общеязыкового словарного состава в совершенно другом плане. В качестве крайнего случая здесь можно было бы сравнить словарный состав охотничьего языка (он с достаточной точностью может быть инвентаризирован) с теми особенностями словаря, которые обычно обозначаются как слэнг, жаргон или неряшливый стиль.

Последний пример приводит нас к рассмотрению явления, которое можно считать еще одним критерием типологии языковых подсистем. Речь идет о взаимном проникновении или перекрещивании отдельных системных вариантов. Наиболее часто наблюдается связь средних языковых пластов с лексическими подсистемами. Языковая коммуникация на многих производственных предприятиях характеризуется именно этим языковым типом. Профессиональные особенности проникают также в диалекты в тех случаях, когда диалекты в настоящее время еще сохраняют коммуникативную функцию в обществе. Однако необходимо провести различие между словарным составом тех профессиональных областей, которые по своему происхождению связаны с диалектом (ср., например, профессиональный словарный состав языка сельского хозяйства или мореплавания) и словарным составом тех областей, которые не в первую очередь интегрируются в диалектную языковую систему (ср. определенные области профессионального словаря железнодорожного дела). По мере развития научно-технической революции, которая ведет к значительным преобразованиям в лексических подсистемах, эти различия постепенно снимаются.

Резюмируя сказанное, можно перечислить следующие критерии, которые имеют первостепенную важность для типологии языковых подсистем: 1) включение в иерархическую систему национального языка в виде вертикального языкового пласта или в виде функционального стиля (в самом широком смысле этого термина); 2) степень стабильности подсистемы; 3) охватываемые подсистемой языковые уровни; 4) взаимопроникновение подсистем; 5) региональное распространение и 6) коммуникативная релевантность подсистем при языковом общении.

Оба последних пункта, согласно соссюровской терминологии, принадлежат уже к внешней лингвистике. Территориальное распространение и коммуникативная релевантность, однако, являются самыми обычными

условиями существования языковых подсистем в обществе. Именно поэтому они с полным правом стали рассматриваться как объекты лингвистики и лишь косвенно затрагивают упомянутые выше экстралингвистические факторы в типологии языковых структур. Языкознание, ориентированное на практику, должно исследовать общественную обусловленность форм существования языка и таким образом выйти за узкие рамки своего объекта. Взаимоотношением между языком и обществом в последнее время особенно занимаются языковая прагматика и социолингвистика. В этой связи следовало бы выяснить, в каком направлении необходимо дополнить указанные выше лингвистические критерии типологии с точки зрения социолингвистики.

Типология языковых подсистем не только создает предпосылки для соотнесения с социальными факторами более или менее произвольно выбранных языковых явлений (как это часто встречается в традиционном буржуазном языкознании), но и для понимания соотношения языка и общества как диалектического отношения двух ориентированных друг на друга систем. Понятие социальной обусловленности языковых структур отражает примат общественных отношений. Общественное развитие, естественно, отражается в изменениях национальной языковой нормы. Эти изменения, учитывая общественную сущность языка как такового, могут стать объектом социолингвистического исследования в широком смысле. В качестве междисциплинарной области исследования, рассматривающей комплексные проблемы языкознания и социологии с лингвистической точки зрения, социолингвистика должна рассматривать социальную обусловленность всех форм существования языка и их статус и значение в общественных процессах коммуникации. В этом отношении социолингвистика относится к области исследования марксистской социологии.

Объектом социолингвистической типологии являются прежде всего процессы языковой интеграции, которые происходят на основе процессов общественной интеграции в рамках развитой системы социализма и научно-технической революции. Такая типология должна разработать критерии, которые позволили бы более детально определить коммуникативную значимость языковых подсистем в этих общественных процессах и которые на основе известных закономерностей и тенденций развития дали бы возможность делать прогнозы относительно изменений в структуре национального языка. В этой связи возникают следующие три вопроса: 1) в какой мере языковые подсистемы могут отражать изменения в общественном сознании? 2) в какой мере языковые подсистемы могут отражать общественную реальность в условиях научно-технической революции? 3) в какой мере языковые подсистемы, выступающие как более интенсивные контактные формы человеческой коммуникации, могут сохранить при указанных условиях свое значение?

Эти вопросы еще требуют глубокого исследования для своего выяснения и особенно эмпирического исследования, построенного на новых подходах и концепциях. Противоречивость вопросов, однако, показывает сложность проблемы. Языковая интеграция не может означать языкового единообразия, вариативность в смысле вертикального расслоения может надолго оставаться признаком развитых общественных структур.

Однако языковая интеграция означает, что подсистемы с малой коммуникативной релевантностью, возникшие и сохранившиеся благодаря более ранним общественным укладам, постепенно исчезают. В деревне обиходные языки, имеющие широкий ареал распространения, все более используются в кругу семьи и на производственных предприятиях вместо диалектов. Они в значительно большей степени, чем диалекты, могут вос-

принимать и отражать изменения общественной реальности и общественного сознания, так что их границы по сравнению с письменной нормой становятся все более текучими. Новые определения понятий письменного языка (например, определения, сформулированные Пражской лингвистической школой) отражают эти тенденции развития. Они показывают, что с изменением характера общественной коммуникации увеличивается вариативность в пределах письменного языка. В той мере, в которой уменьшается противоположность между общественной и частной сферой, граница между письменно-языковой нормой и региональным обиходным языком становится все более текучей. Возрастающая роль публичных устных высказываний, воздействие массовых средств коммуникации, популяризация науки ведут к слиянию обеих сфер. Эти изменения, характерные для языковой ситуации в ГДР, безусловно осуществляются в своих основных чертах и в других социалистических странах. Совпадения этого развития, а также различия, обусловленные особыми условиями отдельных стран, в будущем станут объектом совместной работы лингвистов социалистического содружества государств.

Перевел с немецкого *М. М. Маковский*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

А. Е. КИБРИК, С. В. КОДЗАСОВ

ПРИНЦИПЫ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ И ТРАНСКРИПЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКОВ

0. В 1967 и 1968 гг. кафедра структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ организовала две экспедиции в горные районы Дагестана. Задачей экспедиций было практическое овладение методикой полевой лингвистической работы в процессе описания грамматики незнакомого языка. Под методикой полевой работы понималось: а) совокупность приемов, позволяющих получать от носителей исследуемого языка определенные тексты (первоначально фиксируемые в фонетической записи); б) совокупность процедур анализа речевых текстов, позволяющих открыть грамматику языка и установить инвентари лингвистических единиц.

При подготовке экспедиций прежде всего возникла потребность в инвентаре знаков для первоначальной записи речи на фонетическом уровне: без такого инвентаря никакая полевая работа просто невозможна. Что касается инвентаря знаков для фонемной записи, то он является обычно (хотя и не всегда) подмножеством инвентаря знаков для фонетической записи и получается на его основе.

Естественно было бы воспользоваться одной из имеющихся систем транскрипции: либо некоторой универсальной системой, либо частной системой, хорошо отражающей звуковые особенности кавказских языков. Однако уже предварительное знакомство с существующими транскрипционными системами показало, что нельзя использовать ни одну из них в готовом виде: этому препятствует либо неполный или неточный инвентарь звуков и признаков, на котором эти системы основаны, либо их графическая сторона. Отсюда следовало, что нужно или изобрести новую, более пригодную для указанной цели транскрипционную систему, или, выбрав одну из существующих систем в качестве основы, внести в нее необходимые изменения и дополнения. Ввиду очевидной предпочтительности второго пути было решено ориентироваться на него. Об этапах и результатах соответствующей работы и говорится в данной статье.

Прежде всего потребовалось ясно и систематически сформулировать требования к нужной транскрипционной системе (они рассмотрены в разделе 1 статьи). Далее в соответствии с установленными принципами был произведен анализ имеющихся систем и выбор основы для разрабатываемой системы транскрипции. Краткое изложение этой части работы дается в разделе 2. В разделе 3 приводится предлагаемая транскрипционная система (с примером ее применения).

1. Требования к фонетической транскрипции. Для более ясного изложения проблемы рассмотрим отдельно две ее стороны: 1) вопрос о характере элементов, в терминах которых записывается текст, и о требованиях к инвентарю таких элементов, 2) вопрос о графическом выражении инвентаря этих элементов.

1.1. Ясно, что первоначальная запись текста на неизвестном языке производится в терминах фонетических признаков и их комплексов-фонов, а не в терминах различительных признаков и их комплексов — фонем. Различительные признаки предпочтительно описывать как бинарные (различительный признак указывает на принадлежность — непринадлежность фонемы к данному классу), фонетические же признаки могут быть как бинарными, так и иметь большее количество градаций [1].

1.1.1. Существуют две формы фонетической репрезентации высказывания (артикуляторная и акустическая), которые могут быть подвергнуты объективному (инструментальному) анализу, позволяющему получить физиологическое и физическое выражение фонетических признаков. Этим объективным формам соответствуют две субъективные формы: слуховая и кинестезическая. В этих формах выражения фонетические признаки существуют как некоторые эталоны, хранящиеся в памяти человека.

В фонетических описаниях пользуются признаками, относящимися к разным формам фонетической репрезентации речи,— как объективными, так и субъективными. В традиционных описаниях обычно используются артикуляторные признаки и частично — названия субъективных качеств звуков. В последнее время появилась тенденция описывать речь в акустических признаках. Рассмотрим вопрос о том, какую из этих форм описания следует предпочесть.

1.1.1.1. Очевидно, что описание на основе субъективных признаков практически невозможно. Хотя в принципе существуют объективные нейрофизиологические корреляты слуховых и моторных ощущений, однако о них так мало известно и они столь мало доступны наблюдению, что перевод ощущений в эти объективные корреляты является лишь теоретической возможностью.

Как же зафиксировать слуховые и кинестезические эталоны, имеющиеся у человека? Это можно сделать с помощью некоторых случайных импрессионистических названий, своего рода ярлыков для ощущений носителя языка или исследователя; если избрать такой способ описания субъективных признаков и не соотносить при этом импрессионистические названия с объективными признаками, то каждое лингвистическое описание будет написано на своем особом языке и их невозможно будет сравнивать.

Однако в действительности импрессионистические названия признаков сохраняются в лингвистических описаниях в основном лишь в тех случаях, когда ясны их артикуляторные и акустические соответствия (глухость — звонкость, твердость — мягкость и т. п.). Иные случаи импрессионистического словоупотребления приводят к путанице и невозможности понять, о каком фонетическом признаке идет речь. Примером может служить употребление слова «гортанный». Этот термин используется иногда для нерасчлененного обозначения необычного для европейца слухового качества некоторых согласных, среди которых имеются как собственно гортанные (артикулируемые в гортани), так и различные фарингальные и увулярные звуки.

В ряде случаев импрессионистические названия теснее связаны с фонологическими представлениями лингвиста, который их применяет, чем с реальным фонетическим качеством звука. Примером является употребление слов «сильный — слабый» в описаниях кавказских языков. Этими

[1] См.: N. Chomsky, M. Halle, The sound pattern of English, New York — London, 1968, стр. 164; P. M. Postal, Aspects of phonological theory, New York — London, 1968, стр. 65.

терминами обозначаются признаки, которые имеют разные объективные выражения: степень интенсивности и длительности фрикативных, степень длительности смычки взрывных и аффрикат, непридыхательность взрывных. Общее название для этих признаков, отражающее их функциональную тождественность (и, видимо, определенное кинестезическое сходство) не раскрывает их фонетической природы в конкретном языке и в конкретной фонетической позиции. Поэтому следует по возможности избегать импрессионистических названий слуховых и кинестезических эталонов в лингвистических описаниях. В то же время ясно, что такие эталоны являются той реальностью, с которой лингвист в первую очередь имеет дело, особенно в полевых условиях. Желательно поэтому соединение таких субъективных качеств звуков с соответствующими им объективными качествами и обозначение их названиями этих объективных качеств.

Для полевой работы очевидны преимущества артикуляторных признаков (и названий). Во-первых, некоторые из артикуляторных признаков легко поддаются наблюдению и не требуют инструментального анализа, например, губные артикуляции. Во-вторых, тренировка позволяет перейти от неоформленных и недифференцированных кинестезических ощущений к произвольному контролированию многих артикуляторных параметров. Путем имитации подыскав кинестезический образ, соответствующий слуховому, тренированный фонетист может описать его в точных артикуляторных терминах.

В то же время описание устной речи в акустических признаках оправдано лишь при использовании методов инструментального (спектрографического, осциллографического и т. п.) анализа, что в условиях полевой работы вряд ли возможно. Применение же названий акустических признаков без опоры на инструментальные методы — это в действительности лишь обозначение акустическими терминами слуховых и кинестезических эталонов, имеющихся у исследователя, никак не связанное с объективным наблюдением признаков.

Следует указать еще на одно важное соображение в пользу артикуляторного описания не только для полевой работы: согласно моторной теории восприятия, получившей широкое распространение за последнее время [2], акустический сигнал обычно анализируется человеком так, что восстанавливаются исходные артикуляторные движения, которые его вызвали, так как существует тесная связь между слуховыми образами, в которые перерабатывается акустический сигнал, и кинестезическими образами, которые соответствуют вызвавшим акустический сигнал артикуляторным состояниям. Таким образом, артикуляторная и кинестезическая формы репрезентации фонетических признаков являются как бы исходными, а акустическая и слуховая — производными от них.

Все эти соображения заставляют предпочесть фонетическую запись на основе артикуляторных признаков. Иногда для их обозначения могут использоваться привычные импрессионистические термины, точные артикуляторные корреляты которых ясны (в частности, мы, следуя традиции, употребляем нижеследующие термины такого рода: «звонкость — глухость», «шумность — сонорность», «абруптивность — неабруптивность», «ударность — безударность»). Кроме того, в практике описания незнакомого языка возможны случаи, когда исследователь слышит особое качество звука, но не в состоянии понять его артикуляторный механизм, и тогда он вынужден обозначить его каким-то импрессионистическим словом, которое желательно заменить на точный артикуляторный термин после инструментального исследования.

[2] См.: «Речь. Артикуляция и восприятие», М.— Л., 1965.

Следует отметить, что некоторые артикуляторные термины тоже довольно импрессионистичны и скорее отражают недифференцированные кинестезические ощущения, чем дают точное описание артикуляторных движений (например, названия рядов и подъемов гласных). Однако это означает лишь то, что их надо уточнить, но не подрывает сам принцип описания в артикуляторных терминах.

1.1.1.2. Что касается различительных признаков, то ясно, что названия для них могут быть выбраны произвольно (в соответствии с традицией или по соображениям удобства). Для обозначения различительного признака может быть использовано как название его артикуляторных, акустических или воспринимаемых качеств, так и любой искусственный термин.

Предпочтение, которое в некоторых новейших фонологических описаниях отдается акустическим терминам, на наш взгляд, содержательно ничем не оправдано.

1.1.2. Рассмотрев вопрос о характере элементов, используемых для фонетической записи текстов, перейдем теперь к вопросу об инвентаре этих элементов.

Какова необходимая степень подробности первоначальной фонетической записи, или, иными словами, насколько велик должен быть инвентарь фонетических признаков?

1.1.2.1. Если исходить из потенциальной способности человека осуществлять тончайший (в пределах физиологических ограничений) артикуляторный контроль, а также различать и отождествлять любые (в пределах психо-акустических ограничений) звуковые признаки, то инвентарь фонетических признаков для первоначальной записи текста на незнакомом языке может быть огромен. Однако, как известно, восприятие человека имеет категориальный характер: мы плохо воспринимаем такие звуковые различия, которые несущественны с точки зрения усвоенной нами системы звуковых противопоставлений. Можно, конечно, допустить, что лингвист в результате долгих тренировок научился идентифицировать тончайшие звуковые различия, соответствующие самым незначительным различиям артикуляторных положений, и в состоянии произвести первоначальную запись устных высказываний на неизвестном языке в терминах столь подробного инвентаря признаков. Ясно, однако, что такая запись будет очень громоздкой и избыточной.

Естественной альтернативой такого рода «чисто фонетической» записи является запись, подробность которой определяется некоторыми функциональными критериями: разумно записывать лишь такие фонетические признаки, которые предположительно могут использоваться для выражения лингвистических значений в естественных языках.

1.1.2.2. Все фонетические признаки можно разделить на два класса: 1) признаки, разные значения которых служат коррелятами разных значений соответствующих различительных признаков в конкретных естественных языках; 2) признаки, которые не зарегистрированы в описанных языках в качестве различительных.

Все признаки первого класса удовлетворяют выдвинутому функциональному критерию и в к л ю ч а ю т с я в и н в е н т а р ь.

Признаки второго класса в свою очередь разделяются на два подкласса: 2а) фонетические признаки, зарегистрированные для некоторого языка в качестве специфических особенностей его фонетической системы (например, признак альвеолярности переднеязычных смычных в английском языке фонологически не противопоставлен признаку дентальности, однако английские переднеязычные фонетически отличаются от соответствующих переднеязычных французского языка, которые характеризуются

как зубные); 2б) неспецифические признаки, появление которых в речевой цепи обусловлено универсальными коартикуляционными эффектами. Эти признаки принудительно появляются в любом языке в одинаковых фонетических условиях. Коартикуляция может быть как симультанной (например, палатализация согласного всегда сопровождается некоторым изменением места его артикуляции), так и сукцессивной (например, всегда происходит огубление согласных перед лабиализованными гласными) [3].

Признаки класса 2а в соответствии с нашим критерием должны быть включены в инвентарь, так как в принципе они могут использоваться для выражения фонологических противопоставлений и отсутствие их в первом классе может быть вызвано неполнотой наших фонолого-типологических знаний (если бы система транскрипции строилась на основе знания лишь фонетики английского и французского языков, то, в соответствии с этим принципом, пришлось бы ввести для взрывных признак альвеолярности — дентальности, хотя он фонологически «не работает» ни в одном из этих языков; и действительно, есть языки, в которых это противопоставление релевантно, как, например, в языке арапана; см. примеч. 10).

Признаки класса 2б не должны включаться в универсальный инвентарь фонетических признаков, так как они в принципе не могут служить для выражения фонологических противопоставлений.

При предлагаемом функциональном подходе выбор инвентаря фонетических признаков определяется фонолого-фонетическими соображениями типологического характера [4].

Поскольку практической целью данной работы являлось составление универсальной транскрипционной системы для кавказских языков мы, следуя вышеизложенному фонолого-фонетическому принципу, считали своей задачей отразить в инвентаре фонетических признаков все зарегистрированные в кавказских языках признаки, относящиеся к классам 1 и 2а.

1.2. Рассмотрим теперь требования к алфавиту транскрипционных знаков, который является графической формой выражения инвентаря фонетических признаков и фонов.

1.2.1. Возможны два принципиально различных способа построения алфавита транскрипционных знаков. При первом способе каждый фонетический признак обозначался бы специальным знаком, а каждый фон (комплекс фонетических признаков) обозначался бы некоторой упорядоченной последовательностью таких знаков (так называемый «аналитический способ») [5]. При втором способе каждый фон обозначался бы специальной не разложимой далее графемой (так называемой «синтетический способ») [6]. Оба способа имеют свои недостатки и преимущества: при первом способе инвентарь знаков минимален, но фонетическая запись текста

---

[3] Не всегда ясно, имеем ли мы дело с обязательным коартикуляционным эффектом, или со специфическим языковым правилом реализации признака. Особенно это касается «экзотических» признаков, которые встречаются редко и плохо описаны.

[4] Предлагаемый подход, видимо, адекватен выдвигаемому Н. Хомским и М. Халле принципу, согласно которому фонетическая запись должна содержать произвольно-контролируемые артикуляторные параметры (см.: N. Chomsky, M. Halle, указ. соч., стр. 297—298).

[5] Подвид этого способа применяется в матричной записи, где за каждым признаком закрепляется определенная позиция в матрице, что делает ненужным обозначение признака специфическим знаком.

[6] Ряд письменностей, основанных на фонематическом принципе (например, грузинская), фактически использует этот способ (каждой фонеме соответствует специальная графема).

очень громоздка; при втором способе инвентарь знаков велик, зато запись текста компактна.

Обычно избирается смешанный способ транскрибирования: определенные комплексы признаков обозначаются буквами, а не вошедшие в них признаки — дополнительными буквами или диакритиками. Смешанный способ транскрипции представляется нам наиболее удобным. При такой системе транскрипции желательно соблюдать требование: коррелятивные признаки по возможности обозначать дополнительными знаками. Это обеспечивает гибкость системы записи: обнаружение в некотором языке фонов, представляющих собой незафиксированные ранее сочетания коррелятивных признаков с известными комплексами признаков, не требует изобретения новых знаков. Разумеется, некоторые отклонения от этого принципа возможны в случаях, когда это диктуется приводимым ниже требованием графического удобства, а также традицией (например, оправдано обозначение глухих и звонких шумных специальными буквами).

1.2.2. Важным является требование графической простоты и удобства алфавита транскрипционных знаков: нежелательны нагромождение диакритик, графическая сложность знаков и использование графически сходных знаков.

1.2.3. Необходимо также по возможности однозначное использование знаков и однозначное обозначение признаков (фонов) (каждый знак имеет один строго определенный фонетический смысл, каждый признак (фон) имеет только одно обозначение).

1.2.4. При выборе системы дополнительных знаков необходимо соблюдение требования однозначной разложимости текста на составляющие фоны, т. е. нужно, чтобы границы между совокупностями знаков, обозначающими один фон, проводились однозначно.

1.3. Укажем кратко, в каком отношении находится инвентарь различительных признаков и их комплексов-фонем, получаемый в результате анализа первоначальных фонетических записей текстов, к инвентарю фонетических единиц, и как соотносятся графические эквиваленты этих инвентарей.

После установления того, какие фонетические признаки являются контекстными реализациями одного и того же различительного признака, одна из фонетических реализаций принимается обычно за «основной вид» различительного признака, и за ним закрепляется название и транскрипционное обозначение соответствующего фонетического признака. Другие фонетические реализации этого различительного признака, если только они не совпадают с «основным видом» другого различительного признака, не включаются в инвентарь различительных признаков, и этот инвентарь сокращается сравнительно с инвентарем фонетических признаков. Таким образом, в большинстве случаев инвентарь названий различительных признаков является подмножеством инвентаря названий фонетических признаков, а алфавит знаков для фонологической записи текста — подмножеством афлавита знаков для его фонетической записи [7]. Лишь в редких случаях, когда неясно, что считать «основным видом» различительного признака или фонемы, для записи на фонологическом уровне вводятся специальные знаки, которых нет в фонетическом алфавите [8]. Таким обра-

[7] Разный смысл одинаковых знаков фонетической и фонологической записи выражается с помощью разных скобочных обозначений [ ] или / /.

[8] Например, знак α в фонологической транскрипции Р. И. Аванесова для русского языка (Р. И. Аванесов, Фонетика современного русского литературного языка, М., 1956).

зом, при наличии хорошего фонетического алфавита легко перейти к фонологическому алфавиту.

Заканчивая данный раздел, отметим, что изложенные в нем принципы относятся лишь к научной транскрипции и, разумеется, не имеют непосредственного отношения к построению практического алфавита.

2. Анализ существующих систем транскрипции. Установив принципы оптимальной транскрипции, можно перейти к разработке конкретной системы записи для кавказских языков. Сразу же следует отказаться от попытки строить совсем новую графическую систему, не опирающуюся ни на какие традиционные; гораздо удобнее использовать в качестве основы одну из существующих транскрипционных систем. При этом предпочтение естественно отдать такой системе, которая: а) максимально удовлетворяет изложенным выше принципам и требует минимальных усовершенствований; б) является наиболее общепринятой (традиционной).

При разборе конкретных транскрипций не будем всякий раз отдельно рассматривать инвентарь фонетических элементов и инвентарь графических средств их выражения, так как отсутствие графических средств выражения некоторых признаков равнозначно отсутствию этих признаков в инвентаре.

2.1. Прежде всего мы обратились к международному фонетическому алфавиту (МФА), который был задуман как универсальная система нотации любого языка [9]. Однако рассмотрение этого алфавита применительно к фонетическим системам кавказских языков показало, что в нем нет средств записи некоторых артикуляций, характерных для многих кавказских языков. Сюда относятся: ряды латерализованных фрикативных и аффрикат как передне-, так и заднеязычных [10] (здесь и далее см. инвентарь кавказских фонетических признаков в разделе 3.1.1), признаки дентолабиализации, фарингализации (в МФА фарингализация не отделена от веляризации, а для гласных вообще не введена).

2.2. Система транскрипции Л. В. Щербы, в отличие от МФА, составлялась не индуктивно, а дедуктивно: принцип, на котором Щерба строил звуковой инвентарь для своей транскрипции, состоял не в фиксации известных из того или иного языка звуков, а в исчислении всех возможных типов согласных, исходя из потенциальных возможностей артикулятор-

---

[9] См.: «The principles of the International phonetic association being a description of the International phonetic alphabeth», London, 1966. О назначении МФА, его достоинствах и недостатках см.: D. Abercrombie, Elements of general linguistics, Edinburgh, 1967, стр. 123.

[10] Богатые системы латерализованных имеются не только в кавказских языках. С этой точки зрения интересна, например, система австралийского языка арапана («Anthropological linguistics», VIII, 2, 1966, стр. 58—59, транскрипция первоисточника):

	губные	зубные	альвеолярные	ретрофлексные	палатальные	заднеязычные
взрывные	p	t̪	t	ʈ	tʸ	k
носовые	m	n̪	n	ɳ	nʸ	ŋ
взрывно-носовые	M	N̪	N	Ɲ	Nʸ	Ɲ
латеральные		l̪	l	ɭ	lʸ	
взрывно-латеральные		λ̪	λ	ʎ	λʸ	
дрожащие			r	ɾ		
глайды	w			ɻ	y	

ного аппарата [11]. Тем не менее, ввиду неразработанности общефонетической теории в универсальный фонетический инвентарь Л. В. Щербы также не попали некоторые кавказские типы артикуляций (более того, заднеязычные латерализованные признаются им невозможными). Графическая сторона его системы во всяком случае не имеет преимуществ перед МФА (в частности, неудобным, на наш взгляд, является использование диакритик к диакритикам типа $t^{\breve{s}}$ и применение графически слабо различимых диакритик). Против использования транскрипции Л. В. Щербы в качестве основы для разработки нашей системы говорит также то, что она не получила широкого распространения.

2.3. Другие универсальные системы транскрипции (В. В. Радлова, В. П. Васильева и К. Г. Залемана; В. М. Наделяева, А. А. Реформатского [12], равно как и зарубежных фонетистов) имеют, по крайней мере, такие же недостатки.

2.4. Если невозможно без переделок использовать универсальные системы транскрипции, следует попытаться использовать кавказоведческий опыт нотации. Были рассмотрены различные системы транскрипции, используемые в кавказоведении, с точки зрения наших задач и основанных на них требований [13]. Ни одна из этих систем нас не удовлетворила.

2.4.1. Прежде всего ни одна из них не предназначена для фонетической записи. Поэтому в них отсутствуют способы графической передачи некоторых специфических особенностей кавказских звуков, которые не используются для смыслоразличения, например, в них нет специальных графем для обозначения дентолабиализованных согласных [14] и заднеязычных латералов, нет средств передачи позиционной фарингализации звуков, отсутствует знак для звонкого варианта ларингального фрикативного и т. п.

2.4.2. В кавказоведении в настоящее время используются три основных алфавита: грузинский, русский и латинский. Для наших целей грузинский алфавит неприемлем из-за своей нераспространенности (им пользуются исключительно грузинские исследователи).

На основе латиницы существуют различные системы транскрипции; из них наибольшего внимания заслуживают транскрипция Н. Трубецкого и транскрипция грузинской лингвистической школы. В этих транскрипциях наряду с рядом обозначений, совпадающих с МФА, имеется довольно большое количество малоупотребительных обозначений (причем разных в разных системах).

Существующие транскрипции на основе русской графики исходят из практических алфавитов, используемых в письменностях кавказских языков (аварского, лакского, даргинского, абхазского и т. д.). В пределах каждого из этих языков принятые способы обозначения фонем позволяют, как правило, однозначно записать текст. При этом не приходится иметь дело с надстрочными и подстрочными знаками и это типографски удобно,

---

[11] См. об этом: Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, Л., 1960, стр. 151.

[12] См.: Г. П. Сердюченко, Русская транскрипция для языков зарубежного Востока, М., 1967, стр. 60 и сл.; В. М. Наделяев, Проект фонетической транскрипции, М.— Л., 1960; А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1967, стр. 173 и сл.

[13] Обзор этих систем представлен в работе: Г. А. Климов, О проекте единой фонетической транскрипции для кавказских языков, М.— Л., 1962. Анализировались также системы записи, использованные в кн.: «Языки народов СССР», IV, М., 1967, а также в ряде монографических исследований отдельных кавказских языков, особенно арчинского, аварского и лакского.

[14] Так, Н. Трубецкой по фонологическим соображениям одинаково записывает признак лабиализации и дентолабиализации: N. Trubetzkoy, Die Konsonantensysteme der ostkaukasischen Sprachen, «Caucasica», 8, Leipzig, 1931, стр. 14.

хотя в некоторых случаях линейное расположение знаков приводит к нагромождению букв для обозначения одной фонемы (например, *цIцIв* — для долгого абруптивного лабиализованного *ц*). Однако для целей научной общефонетической транскрипции использование такой записи невозможно, так как это приводит к следующим нарушениям требований, предъявляемых к такой транскрипции:

а) дополнительные знаки (*I*, *ъ*, *ь*) даже в пределах одного языка используются для обозначения как различных коррелятивных признаков, так и особых мест артикуляции. Например, знак *I* в транскрипциях многих языков используется для обозначения абруптивности и латеральности согласных, фарингализованности согласных, фарингального места образования согласных; не лучше обстоит дело с употреблением знаков *ъ* и *ь*;

б) значение некоторых основных знаков различно в комбинации с различными дополнительными. Так, в аварской графике *к* обозначает заднеязычный взрывной в случаях *к*, *кк*, *кI*, *кIкI*, а в диграфе *кь* не имеет самостоятельного значения, как и знак *ь*; в данной комбинации они обозначают абруптивную латерализованную аффрикату, противопоставленную фрикативным латеральным *лъ* и *лълъ*;

в) неоднозначность записи внутри каждого языка усугубляется неунифицированностью неоднозначного употребления знаков в разных языках. Например, *къ* в аварском языке обозначает абруптивную аффрикату, а в лакском — неабруптивный взрывной.

Чтобы избежать такой омонимичности, необходимо ввести ряд новых знаков в дополнение к русским графемам и существенно перестроить всю транскрипционную систему.

Таким образом, ни одна кавказская транскрипционная система не могла быть использована для наших целей в готовом виде.

3. Предлагаемая система фонетической записи. За основу собственной системы мы приняли, с одной стороны, инвентарь фонетических признаков кавказских языков, в неявном виде содержащийся в работе Г. А. Климова, и, с другой стороны, систему транскрипционных знаков Международного фонетического алфавита.

3.1.1. Инвентарь фонетических признаков был пополнен следующими признаками: апикальность — ламинальность (для сибилянтов) и фарингализованность (для согласных). Ниже следует список фонетических признаков кавказских языков [15].

I. Признаки согласных:

1. Шумный — сонорный.

2. Способ образования шумных: смычный — фрикативный — аффриката.

3. Способ образования сонорных: носовой — латеральный — вибрант — глайд [16].

4. Место образования: губно-губной — губно-зубной [лезгинский [17]] — межзубный [тиндинский [18]] — зубной (альвеолярный) — палато-альвеолярный — препалатальный [абазинский [19]] — палатальный — велярный — увулярный — фарингальный — ларингальный.

5. Глухой — звонкий.

---

[15] Примеры на большую часть признаков см. в табл. 3 «Арчинские звуки». Для признаков, отсутствующих в арчинском языке, в списке фонетических признаков в квадратных скобках указывается хотя бы один язык, в котором они встречаются

[16] Глайды для простоты считаются сонорными согласными.

[17] «Языки народов СССР», IV, стр. 530.

[18] Там же, стр. 369.

[19] А. Н. Генко, Абазинский язык, М., 1955, стр. 36 и сл.

6. Латерализованный — нелатерализованный.
7. Лабиализованный-дентолабиализованный [табасаранский [20]] — нелабиализованный.
8. Придыхательный — непридыхательный.
9. Долгий — краткий (сильный — слабый).
10. Абруптивный — неабруптивный.
11. Палатализованный — непалатализованный [абхазский [21]].
12. Фарингализованный — нефарингализованный [цахурский [22]].
13. Апикальный — ламинальный [убыхский [23]].

II. Признаки гласных:

1. Ряд: передний — центральный — задний.
2. Подъем: верхний — верхне-средний — средний — средне-нижний — нижний.
3. Лабиализованный — нелабиализованный [бежтинский] [24].
4. Долгий — краткий — сверхкраткий.
5. Назализованный — неназализованный [андийские языки [25]].
6. Фарингализованный — нефарингализованный.
7. Ударный — безударный [26].

3.1.2. Из-за практически полной неизученности интонации в кавказских языках в инвентарь не включены супрасегментные признаки. В случае необходимости обозначения для них могут быть взяты из МФА [27].

3.2.1. Инвентарь транскрипционных знаков МФА был использован с небольшими модификациями и добавлениями. Перечислим их.

3.2.1.1. Наиболее существенным изменением является введение диакритического знака (подстрочной тильды) для обозначения латерализации шумных согласных. В МФА имеется всего две буквы для обозначения фрикативных переднеязычных латерализованных. Однако в кавказских языках латерализованные звуки могут быть переднеязычными и заднеязычными — [s̴, x̴], фрикативными и аффрикатами — [s̴, ts̴], глухими и звонкими [s̴, z̴], краткими и долгими — [x̴, x̴̄], абруптивными и неабруптивными — [k̴x̴', k̴x̴].

Таким образом, латерализованность является в кавказских языках широко распространенным коррелятивным признаком, а не признаком единичного фона или двух фонов, которые можно было бы обозначить специальными буквами, не вводя особого диакритического знака для признака латерализованности.

3.2.1.2. Был добавлен диакритический знак для обозначения дентолабиализации: справа снизу от основной графемы ᵛ (ср. диакритику ʷ для обозначения лабиализации). Предлагается придерживаться того же принципа и при обозначении других видов лабиализации: использовать в качестве подстрочных значков буквы, обозначающие различные губные артикуляции,— ᵩ, ᵦ, ᵬ.

3.2.1.3. В транскрипцию введен знак для обозначения фарингализации гласных и согласных: справа сверху от основной графемы знак перевернутой запятой‘.

---

[20] А. А. Магометов, Табасаранский язык, Тбилиси, 1965, стр. 53 и сл.
[21] «Языки народов СССР», IV, стр. 106—107.
[22] Г. Х. Ибрагимов, Фонетика цахурского языка, Махачкала, 1968, стр. 69.
[23] H. Vogt, Dictionnaire de la langue oubykh, Oslo, 1963, стр. 13.
[24] «Языки народов СССР», IV, стр. 455.
[25] Там же, стр. 272.
[26] Артикуляторные корреляты ударения в кавказских языках не исследованы, поэтому название этого признака, в отличие от прочих неартикуляторных названий, не имеет ясной фонетической интерпретации.
[27] В наших транскрипционных записях использовался лишь знак пробела для обозначения границы слова и знак || для обозначения границы предложения.

Таблица 1

Основные буквы для согласных и гласных

Согласные	Губно-губные	Губно-зубные	Межзубные	Зубные (альвеолярные)[1]	Палато-альвеолярные	Препалатальные	Палатальные	Велярные	Увулярные	Фарингальные	Ларингальные
Взрывные шумные	p b			t d			c ɟ	k g	q G		ʔ
Фрикативные шумные	β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Неносовые сонорные	w ɥ			l r			j				
Носовые сонорные	m			n				ŋ	N		

Таблица 1 (продолжение)

Гласные	Переднего ряда		Центрального ряда		Заднего ряда	
	лабиализованные	нелабиализованные	лабиализованные	нелабиализованные	лабиализованные	нелабиализованные
Верхние	y	i	ʉ	ɨ	u	ɯ
Средне-верхние	ø	e			o	ɤ
Средние	œ	ɛ		ə	ɔ	ʌ
Средне-нижние		æ		ɐ		
Нижние		a			ɒ	ɑ

[1] При необходимости отличить зубные звуки от альвеолярных для обозначения первых в МФА используется подстрочный значок ̪ : t̪, s̪.

3.2.2.1. В МФА для аффрикат предложено два вариантных способа нотации: с помощью комбинаций основной графемы с диакритикой или с помощью диграфа, причем первый способ — только для переднеязычных. Ввиду того, что в кавказских языках система аффрикат очень развита и охватывает почти все локальные ряды, мы сочли разумным использовать единообразный способ записи для всех рядов с помощью диграфов с дужкой снизу (при латерализованной аффикате она избыточна). Дужка позднее опускается, если окажется, что соответствующее сочетание звуков на стыке морфем отсутствует или что оно произносится единой артикуляцией.

3.2.2.2. В связи с широкой вариантностью гласных фонем, которые в кавказских языках оказываются в весьма разнообразных консонантных окружениях, было решено почти полностью оставить инвентарь гласных звуков и соответствующих знаков МФА.

3.2.2.3. В инвентарь кавказских звуков не включены неканоничные звуки (например, зубной кликс, встречающийся в арчинской речи), и соответствующие знаки отсутствуют в нашем алфавите.

Выработанная система транскрипционных знаков для фонетической записи текстов на кавказских языках представлена в табл. 1 (где даны

Таблица 2

Дополнительные знаки

Признаки	Знаки		Примеры	
придыхательность	правосторонние	h	t^h	ts^h
абруптивность		’	t’	ts’
палатализованность		,	t,	
лабиализованность		w	x_w	t_w
дентолабиализованность		v	$\int_v$	$ʒ_v$
фарингализованность		‘	χ‘	a‘
назализованность	надстрочные	~	ã	
длительность		—	ā	k̄
сверхкраткость		˘ [1]	ă	
ударность		´	á	
побочная ударность		ˋ	à	
ламинальность		·	ṡ	
латерализованность	подстрочные	~	x̰	k̰x̰
глухость		ₒ	m̥	i̥

[1] Этот же знак предлагается использовать для обозначения неслогового элемента дифтонга (oĭ, aŭ).

основные буквы для согласных и гласных [28]) и табл. 2 (где даны диакритические знаки). В табл. 3 представлены звуки арчинского языка. В качестве приложения дается образец арчинского текста в предлагаемой транскрипционной записи.

3.3. Из табл. 1 и 2 видно, что в МФА не был введен ни один новый знак, не являющийся диакритическим. Поэтому можно считать, что предлагаемая нами транскрипция является приспособленным к кавказским языкам вариантом МФА [29].

Приложение: фонетическая запись текста на арчинском языке в предложенной транскрипционной системе [30]

1. ‖os ébdəl ébdət’u x̰íbuŭ k^hulúlò‖
2. ‖dŏ‘z éptəmχur k’ān̰ dŏ‘zəm̄u bòli‖
3. ‖zon wírχ$_w$mus χóŭt̄ə bòli‖
4. ‖ú‘qχ‘ə‘l os matʃ’éiʃ̄i wírχ$_w$mus‖
5. ‖iqχ ít’ət̄u bəʃór øўdəli‖ jámum̄ərak^h k^{h}óŭʃuli joŭ̆ lo‖
6. ‖dəgáwur óŭli jémim̄aĭ háñum̄ət̄iʃ háñu inʒít^h óўt̄əʃoŭ̆ sóñət̄iʃ ʃat ópkx̰mus‖
7. ‖joŭ̆ lo t’al óŭli jámu bəʃórmu wírχ$_w$mus os bíqχ’$_w$məʃi‖
8. ‖jat^h bòli jā̆t̄əʃ s̄ob dápx̰ut’oŭ̆ bəŋk̄ówu k^h_wem bòli á‘pqχ‘a‘ t’oŭ̆ χ$_w$ā̆loŭ̆ buk^{h}ém bòli‖

[28] Диграфы (сочетания двух основных букв), используемые для обозначения аффрикат и дифтонгов (например, *ts*, *qχ*, *oĭ*, *aŭ*) в табл. 1 не включены.

[29] Авторы выражают глубокую благодарность Е. А. Бокареву и Г. А. Климову, которые прочитали статью в рукописи и сделали ряд ценных замечаний. Авторы признательны также всем сотрудникам сектора кавказских языков ИЯ АН СССР и сектора бесписьменных дагестанских языков ИЯ Дагестанского отделения АН СССР, которые приняли участие в обсуждении этой работы.

[30] Для удобства в фонетической записи сохраняются пробелы между словами. Это приводит к незначительной неадекватности записи: в ней не отражается слияние конечного придыхательного взрывного с последующим взрывным того же места образования в единый долгий смычный, характер взрыва которого зависит лишь от второго согласного (например, см. предложение 6).

Таблица 3

Арчинские звуки

Согласные[1]

	Губно-губные	Зубные	Палато-альвеолярные	Палатальные	Велярные	Увулярные	Фарингальные	Ларингальные
Взрывные шумные	p^h $\bar{p}$ b p p'	t^h $\bar{t}$ d t t' $\bar{t}$' t^h_w t'_w			k^h $\bar{k}$ g k k' k^h_w $\bar{k}_w$ g_w k_w k'_w			ʔ
Фрикативные шумные		s $\bar{s}$ z s_w $\bar{s}_w$	ʃ $\bar{ʃ}$ ʒ $ʃ_w$ $\bar{ʃ}_w$ $ʒ_w$		x $\bar{x}$ ɣ x_w $\bar{x}_w$	ʁ $χ_w$ $\bar{χ}_w$ $ʁ_w$ χ' $\bar{χ}$' ʁ'	ħ ʕ	h ɦ
Аффрикаты шумные		ts $\bar{ts}$ ts' $\bar{ts}$' ts_w ts'$_w$	tʃ $\bar{tʃ}$ tʃ' tʃ$_w$ tʃ'$_w$		kx $\bar{kx}$ kx' $\bar{kx}$' kx'$_w$	qχ $\bar{qχ}$ qχ' $\bar{qχ}$' $qχ_w$ $qχ_w$ qχ'$_w$ qχ'$_w$ $\bar{qχ}$'$_w$		
Сонорные неносовые	w $\bar{w}$	l $\bar{l}$	r	j $\bar{j}$				
Сонорные носовые	m $\bar{m}$	n $\bar{n}$			ŋ	N		

Гласные[2]

Простые	i e a o u ə	Носовой	ə̃
Долгие	ī ē ā ō ū	Дифтонги	ii ei ai oi e'i ei (ʊ̯y) ai oi ui
Фарингализованные	i' e' a' o' u' ə'		
Фарингализованные долгие	ī' ē' ā' ō' ū'		

[1] По-видимому, почти все согласные в арчинском языке подвергаются изменениям под влиянием соседних фарингализованных гласных. Однако характер и степень этого изменения для разных согласных пока не ясны. В нашу таблицу включены лишь часто встречающиеся фарингализованные варианты увулярных согласных, которые сильно отличаются от нефарингализованных и воспринимаются носителями языка как особые звуки.

[2] Не вполне ясен состав дифтонгов и долгих гласных.

Перевод: 1. Жили-были три сироты.
2. Когда они выросли, самый старший сказал:
3. «Я пойду работать».
4. Пошел он работать в одно место.
5. (Там) был жестокий человек, к нему и попал этот парень.
6. Они заключили договор, чтобы у того, кому другой надоест, вырезать из спины щат (мышца вдоль позвоночника).
7. Этот мужчина послал того парня работать в одно место.
8. Сказал: «Съешь содержимое этой банки, не открыв крышки, и съешь хлеб, не разломив его».

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

Г. И. АХМАНОВА, И. А. ДАНЧИНОВА

АТРИБУТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ В ТОПОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН

Создание и развитие топонимики как науки невообразимо без тесного сотрудничества между географами, лингвистами, социологами и историками. Но топонимы это с л о в а, а будучи словами, они образуют определенную подсистему внутри лексической системы языка и подчиняются всем тем правилам и закономерностям, которые вообще управляют словами. Среди таких закономерностей одна из наиболее известных и наиболее общих есть способность слова делиться на морфемы и вступать таким образом в морфологические соотношения с другими словами. Как известно, именно таким путем создаются комплексные лексические ряды или классы, связанные словообразовательными отношениями.

Словообразование основывается на определенной совокупности формальных и семантических отношений, которые повторяются или воспроизводятся в конкретных образованиях. Среди таких семантических отношений одним из наиболее широко и регулярно воспроизводимых является а т р и б у т и в н о е отношение элементов. Так, например, конкретный лексический элемент *gold* может регулярно воспроизводиться в сочетании с семемой атрибутивного отношения в таких образованиях как *gold* + +(attr.), *golden*, *of gold* и т. д. Или же конкретный лексический элемент *child* будет составлять часть атрибутивного выражения в таких фразах, как *child language*, *childish ways* и т. д. Хотя разнообразие конкретных морфем этого рода, способных вступать в данные отношения, очень велико, атрибутивное значение выступает во всех подобных случаях вполне четко и определенно.

Поскольку топонимы представляют собой определенный класс или подразделение внутри словарного состава языка, есть все основания ожидать, что топонимы будут вести себя совершенно так же, как те слова, которые были только что приведены, т. е. что они будут выражать атрибутивное отношение на равных основаниях со словами общего языка. Эта гипотеза вполне подтверждается наблюдением действительных фактов [1].

Поскольку основным теоретическим направлением работы было выявление именно специфики м о д е л е й или образцов, по которым строятся соответствующие образования в английском языке, очень важным является сопоставление его с другими языками. Во всех других европейских языках «атрибутивные» топонимы всегда имеют 1) либо особое морфологическое оформление, например, немецкое *Londoner*, *Moskauer*, *Wiener*, 2) либо

---

[1] Изучению прилагательных, образованных от топонимов, в сопоставлении с другими средствами выражения атрибутивных отношений, была посвящена дипломная работа одного из авторов этой статьи, Г. И. Ахмановой «Attributive patterns in a toponymic subsystems».

данное отношение выражается только одним описательным способом, как, например, во французском *de Paris*, *de Londres*, *de Moscou* [2].

Иными словами, ни в одном из европейских языков, кроме английского, не наблюдается атрибутивного употребления топоэлементов без изменения формы. Даже в близкородственном ему немецком языке эти единицы оформляются соответствующими морфологическими элементами и входят в соответствующие категории частей речи. Поэтому естественно возникает вопрос: могут ли вообще в английском языке образовываться прилагательные от топонимов? Можно ли вообще говорить о наличии в языке продуктивной словообразовательной «модели» этого рода? На этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Во-первых, единственным исконным английским суффиксом, оформляющим «географические» прилагательные является *-ish*, например, *British*, *Cornish*, *Welsh*, *English*, *Irish*, *Polish*, *Scottish*, *Spanish*, *Swedish*. Во-вторых, наряду с *-ish* встречаются заимствованные суффиксы: *an* (*-ian*, *-ean*), *-ic*, *-ese*, сочетающиеся преимущественно с заимствованными основами. Так, например, немногочисленные прилагательные на *-ic* образованы от греческих основ или непосредственно заимствованы из греческого языка (*Asiatic*, *Arabic*); прилагательные на *-ese*, образованные по романским прототипам, употребляются,,в основном, в описании восточных стран, городов, языков и т. д. и не нашли применения в области собственно английской топонимии [3].

Что же касается суффиксов *-an* (*-ian*, *-ean*), то они продуктивны для основ, построенных по латинским образцам. Вместе с тем, в некоторой своей части они отличаются очень интересными и специфическими стилистическими свойствами, на которых мы подробнее остановимся ниже.

Особую проблему представляют прилагательные *north*, *northern*, *south*, *southern* [4], которые играют очень большую роль в образовании составных топонимов типа «Северная Корея» и т. д. Но чем же обусловливается выбор того или иного варианта? Почему, например, *North Korea*, *North Africa* и *North Borneo*, но *Northern Ireland*, *Northern Rhodesia* и *Northern Italy*? (подобные же примеры могут быть приведены для *east* и *eastern*, *west* и *western* и т. д.: например, *East* и *West Africa*, но *Western Australia*). Прослеживается ли здесь какая-либо система или же употребление их чисто произвольно? По-видимому, выбор формы с *-ern* или без него определяется географическими свойствами топообъекта, т. е. тем, рассматривается ли он в географии как самостоятельный объект, или лишь как часть более крупного географического объекта. Так, например, *North* и *South Shields* — это два разных города, так же как *East Ham* и *West Ham* (**Northern* и **Southern Shields* значило бы два географических деления одного и того же города). *North Africa* и *South Africa* не синомично с *northern* и *southern* (т. е. соответственно, северной и южной) частями Африканского континента; *Southern Wales* — это южная часть Уэлса на карте Англии, но *South Wales* — это самостоятельный промышленный район; *North*

---

[2] Небезынтересно отметить также и то, что атрибутивные топонимы в английском в отличие от, например, русского и других европейских языков, пишутся с заглавной буквы, например: *Bristol cream*, *York ham*, *Oxford* (или *Cambridge*) *sausages*, *Nottingham lace*, *Edinburgh rock*, *Yarmouth bloaters*, *Banbury cakes* etc. (ср.: R. W. Chapman, Adjectives from proper names, Oxford, 1936).

[3] Вслед за М. Оруссо мы разграничиваем три разных понятия и, соответственно, термина, а именно: 1) place names of England, 2) English exonyms, являющиеся видовыми по отношению к родовому понятию, выраженному термином, 3) English geographical names (ср.: M. Aurousseau, The rendering of geographical names, London, 1957).

[4] F. F. Wood, The adjectival use of *North* and *northern*, «Moderna språk», 1, 1956

Wales — живописная страна туризма и курортов (и уже, конечно, *New South Wales*, а не *Southern Wales* в Австралии).

Но, в таком случае, почему же мы имеем *Northern Ireland*, *Northern* и *Southern Rhodesia*, вместо ожидаемых *North* и *South*? Причина здесь в весьма обычном отставании традиционного названия от современного политико-географического состояния. Топоним *Northern Ireland* сложился еще тогда, когда Ирландия воспринималась как одно целое, и *northern* и *southern* рассматривались лишь как демаркационные линии, разделяющие северную и южную ее части.

Очень важным фактором является также то место, которое данный топообъект занимает в общественной жизни данного языкового коллектива. Иными словами, каковы экстралингвистические или реальные ассоциации, возникающие в сознании говорящего при попытке помыслить данный топообъект в том отношении к какому-то другому предмету мысли, который наиболее естественно выражается в языке атрибутивной связью. Сказанное легче всего проиллюстрировать на следующем примере. Когда говорят: «Лондон», то сразу же с большой легкостью можно представить себе огромное количество различных предметов, так или иначе связанных с Лондоном, принадлежащих Лондону и т. д.: нечто «лондонское» весьма просто и регулярно может возникнуть в сознании говорящего. Действительно: *лондонские газеты*, *лондонская сцена*, *лондонский театр*, *лондонский университет*, *лондонские библиотеки*, *лондонские музеи* и т. д., и т. п. Но что произойдет, если вместо Лондона мы подумаем о названии какого-либо другого английского города? Предположим, что мы даже возьмем такие хорошо известные города как, например, Йорк или Ковентри, то будут ли такие же возможности соединения этого топонима с другими словами языка, т. е. будут ли столь же легко образовываться сочетания вроде, например, *York University?* Не будут ли они звучать несколько искусственно и, что самое главное, не появится ли у говорящего естественное стремление заменить эти атрибутивные конструкции с их оттенком непринужденности и чего-то само собой разумеющегося более формальными описательными конструкциями с предлогом *of*, например *the University of York*[5].

В разных языках атрибутивные топонимы связаны отношениями функциональной омонимии [6] с названиями жителей, живущих в соответствующих населенных пунктах [7]. Если определить те общие модели или способы образования соответствующих слов, которые, например, типичны для русского языка, то окажется, что этих способов три: 1) описательное выражение, т. е. *жители*, *трудящиеся*, *спортсмены* и т. д. *Москвы*, *Курска*, *Кубани* и т. д., 2) субстантивированные прилагательные: *московский*, *курский*, *кубанский*, 3) специальное слово-термин, обозначающий жителя данного места или данной местности, например, такие слова, как *москвичи*, *куряне*, *кубанцы*. Если в отношении второго из перечисленных способов можно говорить о просторечии (правда, составители словаря здесь говорят о «непринужденно-разговорной речи»), то стилистические осо-

[5] Дело осложняется тем фактом, что в данной подсистеме английского словаря существуют такие прилагательные, как *Mancunian*, *Cantabrian*, *Brummagem* и *Glaswegian*.

[6] См.: О. С. Ахманова, Очерки по общей и русской лексикологии, М., 1957.

[7] Для русского языка собран очень ценный материал в словаре «Названия жителей РСФСР» под ред. А. М. Бабкина (М., 1964). Составители этого словаря использовали разнообразные материалы, причем вполне естественно, что очень большое место в этом исследовании заняли материалы художественной литературы (см. стр. 3—4). Из художественных произведений, как прозаических, так и поэтических, извлекаются не только такие слова, как *москвичи*, но и такие, как *вологжане*, *тамбовцы*, *костромичи*, *кунгурцы*, *кудымкарцы*, *чусовляне*, *вологодец*, *бакинец* и др.

бенности третьего способа остаются недостаточно выясненными и, по-видимому, общей стилистической оценки, которая в равной мере подходила бы для названий жителей вообще, пока дать невозможно. Действительно, если мы сравним: *москвичи, кубанцы и куряне*, то стилистическое различие между этими словами станет совершенно ясным. *Москвичи* и *кубанцы* — это слова, свойственные литературному языку в обычном его понимании и при этом слова, совершенно лишенные какой-то специфической стилистической окраски: о москвичах и кубанцах может говорить кто угодно и в любом контексте; термин же «куряне» вряд ли может встретиться в обычной литературной речи, и, по-видимому, может звучать естественно только лишь в устах старожителя города Курска. Если же он будет употреблен человеком, к Курску непосредственного отношения не имеющим, то этот термин непременно получит специфическую стилистическую окраску, которую можно было бы обозначить французским «comme qui dirait».

Изложенные соображения подводят нас вплотную к более широкому вопросу, а именно к вопросу о том, в какой степени топонимы вообще способны обладать определенной стилистической окраской [8]. Если мы попробуем сравнить стилистические свойства названий жителей, которые были только что описаны в отношении соответствующих русских слов, и попробуем применить те же таксономии к английскому материалу, то мы без труда убедимся в том, что это сравнительно простое соотношение значительно осложняется в английском языке благодаря разнообразным структурным факторам. Поэтому очень удобно вновь обратиться к сопоставительному анализу.

Как известно, применение сопоставительного метода всегда оказывается связанным с некоторыми более широкими и общими проблемами, а именно с проблемой т и п о л о г и и явлений. В наиболее общем виде типологический подход должен основываться на том, чтобы, подобрав известный эталон или стандарт, известную абстрактную общую базисную систему, затем сопоставлять с ней разнообразные конкретные системы отдельных языков. Типологический эталон должен содержать инвентарь всех гипотетически возможных единиц и отношений, причем практические или эмпирические системы будут тогда выводиться из типологического эталона главным образом путем «вычитания» [9]. Думается, что для того специфического явления, которое составляет предмет настоящей работы, факты русского языка могут вполне служить в качестве типологического эталона. Обращение к реальной звуковой системе, а не к гипотетическому конструкту имеет огромное преимущество не только потому, что это очень облегчает исследование, но также и потому, что перед исследователем не возникает тогда тех методологических сомнений и колебаний, без которых он не может обойтись, если основой его рассуждения является известный «конструкт» как «фикция ума». Насколько же лучше, если исследование прочно основывается на твердой почве конкретных лингвистических фактов, поднимаемых до уровня общей типологической теории путем разумной материалистической абстракции! Иными словами, русский язык дает такой полный и разработанный тип для нашей лексической подси-

[8] Этой части топонимического исследования уделяется особенно большое внимание в работах проблемной группы по типологии топонимических систем, созданной при кафедре английского языка филологического факультета МГУ под руководством В. Д. Беленькой.

[9] Мы не касаемся здесь общеметодических эпистемологических сторон этого вопроса. Скажем только, что представление об эталоне как о конструкте может оправдываться тем, что фактически обычно оказывается невозможным обнаружить в какой-либо фенотипической системе одновременную реализацию или полный инвентарь типологически возможных реализаций или манифестаций данного явления вообще.

стемы, что его можно очень легко и эффективно использовать в качестве эталона, на фоне которого системы других языков можно представить, показать и аранжировать наиболее убедительным образом.

Итак, русский «эталон» дает нам трихотомию: 1)... *Москвы*, ... *Курска* и т. п. (соответственно, *жители Москвы*, *Курска* и т. п.); 2) *московский*, *курский* и т. п. (связанные отношением функциональной омонимии с соответствующими прилагательными) и 3) специальное слово-термин — *москвичи*, *куряне* и т. д. Приведем примеры из топонимии Австралии. Так, например, если взять следующие названия городов: *Adelaide*, *Brisbane*, *Canberra*, *Hobart*, *Melbourne*, *Newcastle*, *Perth*, *Sydney*, *Townsville*, *Wollongong*, то окажется, что только для половины этих топонимов есть отдельные названия жителей: *the Adelaideite*, *the Brisbanite*, *the Canberrite*, *the Melbournite* с вариантом для *Sydney*: *the Sydneyite*, *the Sydneysider*. Для другой же половины возможны только: *a man from* (*a resident of*) *Hobart*, *a man from* (*a resident of*) *Newcastle*, *a man from* (*a resident of*) *Perth*, *a man from* (*a resident of*) *Townsville*, *a man from* (*a resident of*) *Wollongong*.

Типологическое сравнение представляет собой общую основу исследования. Конкретные же данные отдельных языков требуют привлечения более конкретных, частных методов, а именно использования информантов и исследования текстов художественной литературы. Обзор этого материала позволил сделать следующие выводы: 1) частота употребления разных моделей неодинакова: 2) название в контексте приобретает особые метасемиотические (стилистические) коннотации.

Методика стилистического (или метасемиотического) исследования топонимического материала представляет совершенно особую проблему. В нашей работе мы исходили из метода широкого контекста для стилистической оценки изучаемых нами слов. Как показал материал, такие английские топонимы, как *Manchester*, *Birmingham*, *Liverpool*, употребляются атрибутивно (и предикативно) в обычных ситуациях и не несут особой стилистической нагрузки; иными словами, в общеупотребительной речи они оказываются стилистически нейтральными. Так, например: «Manchester Public Parks and Pleasure Gardens»; «Manchester Town Hall»; «... to observe Manchester etiquette...»; «the Manchester Ship Canal»; «Although expatriate Liverpool supporters will be pleased...»; «... which the Liverpool National Party is working so strenuously to keep alive» и т. п.

Если же в атрибутивной функции выступают собственно прилагательные, как несубстантивированные, так и субстантивированные, например, *Mancunian* и особенно *Brummagen*, то они оказываются стилистически сниженными или даже гротескными. Следующие примеры, заимствованные из журнала «Панч» и отчасти из художественной литературы помогут пояснить нашу мысль: «Why so many Mancunians are going slant-eyed»; «Mancunians are forbidden to set any snares or other engine for the taking of ground game... disturb fish, sing or play any musical instrument...»; «So move on before I book you on paragraph fifty-six»; «What's that»; «Anti-Mancunian Activities»; «... but it is difficult not to sympathise with the fears of men from Worcs and Staffs across whose borders the Brummagen suburbs have spread like semi-detached lava». «I gather that it is nip and tuck between the Trotter and Blenkinsop as to who shall be the uncrowned queen of Liverpudlian society. Sometimes one gets her nose in front, sometimes the other».

Топонимические исследования привлекают к себе все большее внимание языковедов. Одновременно увеличивается число и разнообразие исследовательских приемов, направленных на то, чтобы как можно шире и разностороннее рассмотреть специфику топонимических систем в разных языках.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ АКАДЕМИКА Л. В. ЩЕРБЫ

В архиве В. В. Виноградова есть рукопись — конспект лекций Л. В. Щербы «Русский синтаксис», читанных им (как указано в этой рукописи) в Российском Институте истории искусств (в Ленинграде) в 1924—25 учебном году [1]. Конспект содержит 21 лекцию [2].

Законспектировано 19 лекций (под лекциями 11 и 12 записано: «Разбор „Капит. дочки"»). Составителя конспекта установить, к сожалению, не удалось.

«Центральная часть» этого курса, содержащая подробный анализ структуры синтагм, была опубликована в 1956 г. в конспективной записи С. Г. Бархударова [3]. Большая часть текста, опубликованного С. Г. Бархударовым (со слов: «Правила составления синтагм различны в зависимости от слова, лежащего в основе синтагмы» [4]), соответствует записям 13—21 лекций настоящего конспекта и по существу совпадает с ними (при незначительных и несущественных разночтениях). Поэтому воспроизводить данную часть конспекта здесь нецелесообразно. Что же касается начальной (до приведенных выше слов) части текста, опубликованного С. Г. Бархударовым, которая соответствует 1, 2, 3 и началу 4-й лекции, то, во-первых, текст ее менее полон, чем текст настоящего конспекта; во-вторых, в нем есть купюры, и подчас довольно существенные по объему и по содержанию. Поэтому представляется целесообразным воспроизвести запись указанных лекций. Это важно и для того, чтобы был ясен контекст освещения вопросов, затронутых в 4—10 лекциях.

Ознакомление с конспектом курса «Русский синтаксис» убеждает, что лекции законспектированы достаточно квалифицировано. Конспект с большой степенью точности воспроизводит идеи Л. В. Щербы, развивавшиеся им в середине 20-х годов. В «Русском синтаксисе» нашли отражение и те проблемы, над которыми крупнейший советский лингвист работал в 30—40-годы. В этом убеждает сопоставление конспекта с печатными трудами Л. В. Щербы, прежде всего с ближайшей по времени публикации статьей «О частях речи в русском языке» (сб. «Русская речь», Новая серия, II, Л., «Academia», 1928). В этой работе широко использованы материалы нескольких лекций конспекта (в основном 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10), причем изложение вопроса и подача иллюстративного материала в статье очень близки к публикуемому тексту (ср. стр. 88—93 настоящей публикации и текст статьи по изданию: Л. В. Щ е р б а, Избранные работы по русскому языку, М., 1957, особенно стр. 67—82).

Чрезвычайно интересно то место конспекта, в котором излагается вопрос о категории состояния. Ведь установление в системе русских знаменательных частей речи категории состояния как особой части речи является, по словам В. В. Виноградова, открытием Л. В. Щербы [5]. Здесь находим, пожалуй, одно из первых упоминаний Л. В. Щербы о данной части речи и наиболее раннее использование им самого термина.

---

[1] Д. Л. Щерба в статье «Лев Владимирович Щерба (1880—1944)» (сб. «Памяти академика Льва Владимировича Щербы (1880—1944)», Л., 1951, стр. 13) писал: «В Институте истории искусств Лев Владимирович состоял действительным членом по разряду словесных искусств и читал курсы общего языкознания и синтаксиса русского языка». В изданиях Института Л. В. Щерба выпустил три последних книжки «Русской речи».

[2] Д. Л. Щерба упоминает о наличии в архиве Л. В. Щербы «подробного, но не датированного конспекта курса синтаксиса, содержащего 21 лекцию», связывая этот факт с лекторской деятельностью Л. В. Щербы в Институте живого слова (Д. Л. Щ е р б а, указ. соч., стр. 16—17).

[3] См.: С. Г. Б а р х у д а р о в, Л. В. Щерба о русском синтаксисе, «Академику Виктору Владимировичу Виноградову к его 60-летию. Сб. статей», М., 1956, стр. 60.

[4] Там же, стр. 61.

[5] В. В. В и н о г р а д о в, Синтаксические взгляды и наблюдения академика Л. В. Щербы, «Уч. зап. МГУ», 150, Русский язык, 1952, стр. 49.

Многие мысли и положения, содержащиеся в конспекте, получили то или иное отражение в книгах и статьях Л. В. Щербы. Это обстоятельство надежно ставит «Русский синтаксис» в контекст лингвистических воззрений академика Щербы.

Так, с одной стороны, в конспекте представлено развитие тезиса, сформулированного Л. В. Щербой в докладе «Формальное направление грамматики» на Петроградском съезде преподавателей родного языка и литературы (сентябрь 1921 г.): «С научной точки зрения формальное направление не выдерживает критики, так как формы могут быть вскрыты лишь при параллельном анализе их значений» [6] — ср. раздел «Учение о частях речи» 4 лекции (стр. 87—88).

С другой стороны, в конспекте немало вопросов, которые получили в дальнейших трудах Л. В. Щербы или более полную и глубокую разработку, или развитие в ином направлении, в зависимости от конкретных задач исследования. К примеру, в 1 лекции по ходу изложения высказана интересная мысль о роли владения иностранными языками: «Говорящий на одном языке всегда находится во власти одних символов, знающий иностранные языки выходит из этого круга и приходит к языку как потребности выразить свою мысль» (стр. 86). В выступлении Л. В. Щербы на 1-м Всесоюзном тюркологическом съезде в 1926 г. эта мысль развивается в связи с вопросом о преподавании родного и русского языков в условиях двуязычия, сложившегося в советских национальных республиках, и в связи с проблемой общеобразовательного значения преподавания одного языка в сопоставлении с другим [7]. Развернуто и детально аналогичные идеи разрабатывает Л. В. Щерба и в книге, посвященной преподаванию иностранных языков в средней школе [8].

Или вопрос о синтагме. Общепризнано, что термин «синтагма» в качестве обозначения «простейшего синтаксического целого» Л. В. Щерба вводит в статье «О частях речи в русском языке» (1928). Публикуемый текст позволяет утверждать, что к этому термину, понимая под ним «отрезки (речи.— *Ю. Б.*), соответствующие самостоятельным элементарным представлениям» (стр. 87), Л. В. Щерба прибегает уже в 1924 г.

Разработкой учения о синтагме Л. В. Щерба занимается до конца своей деятельности [9]. В. В. Виноградов отмечал: «Наиболее полно и глубоко понятие синтагмы освещено в еще ненапечатанных докладах и рукописных статьях акад. Л. В. Щербы, относящихся к последнему периоду его жизни и деятельности... некоторые из предсмертных докладов Л. В. Щербы ставили своей непосредственной задачей раскрытие понятий синтагмы и предложения. Кроме того, учение о синтагме довольно подробно изложено Л. В. Щербой в набросках незаконченного введения в Академическую нормативную грамматику русского языка» [10].

В «Русском синтаксисе» Л. В. Щерба ограничивается общим определением синтагмы, устанавливает соотношение между нею и бóльшим словесным отрезком, сопровождаемым «ощущением известной законченности» — предложением, формулирует задачу синтаксиса — «изложить правила стройки синтагм» (стр. 87) [11] и дает подробный анализ структуры синтагм и правила их составления (лекции 13—18, по тексту записи С. Г. Бархударова — стр. 61—67).

Немаловажным представляется такой момент в настоящем конспекте лекций Л. В. Щербы, как проецирование вопросов русского синтаксиса в плоскость общих проблем языкознания и введения этих вопросов в контекст движения лингвистической мысли 20-х годов. Именно такой поворот конкретных лингвистических проблем характерен для исследовательского метода Л. В. Щербы.

Наконец, в конспекте лекций нашла отражение авторская манера Л. В. Щербы — «раскованное», свободное от догматизма и схем изложение обсуждаемых вопросов. Как отмечает Д. Л. Щерба, «Лев Владимирович был настоящим ученым-общественником. Оригинальные научные обобщения и тонкие наблюдения над фактами он излагал в простой форме, делал их доступными для широких кругов, занимаясь практическими и актуальными вопросами» [12].

Ю. Бельчиков

---

[6] «Родной язык в школе», Книга 1-я (2), 1919—1922, М.— Пг., 1923, стр. 95.

[7] Л. В. Щ е р б а, Новейшие течения в методике преподавания родного языка, «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 53—54.

[8] См.: Л. В. Щ е р б а, Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики, М.— Л., 1947, стр. 33, 42—47.

[9] См.: Л. В. Щ е р б а, Фонетика французского языка, М.— Л., 1937; е г о ж е, Очередные проблемы языковедения, ИАН ОЛЯ, 1945, 5; е г о ж е, Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики.

[10] В. В. В и н о г р а д о в, Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 210.

[11] «Таким образом, мы не нуждаемся в учении о предложении. Мы имеем ряд синтагм, из которых одна является главной»,— говорится в лекции 18. Ср. текст записи С. Г. Бархударова, стр. 68.

[12] Д. Л. Щ е р б а, указ. соч., стр. 21.

ЛЕКЦИИ Л. В. ЩЕРБЫ ПО РУССКОМУ СИНТАКСИСУ

(Конспект лекций, читанных в Российском Институте Истории искусств в 1924/25 учебном году)

Лекция 1. В истории науки мы наталкиваемся на три основных понимания задач синтаксиса. Одно изучает значение и употребление граммат[ических] форм (главн[ым] обр[азом] западные системы, напр[имер] Миклошича)[1]. Другие стремятся к анализу предложения и его частей. Эклектический подход бессистемно соединяет факты первого и второго порядка.

Первый подход лингвистический. Он возник из практических нужд преподавания. Второй подход философский. Он начинается Аристотелем. [...]. Он ведет к постановке вопроса в психологии — о суждении, в логике — о предложении. Оба односторонни и пропускают ряды явлений. Отсюда возникает тенденция к эклектическому объединению.

Для выяснения вопроса рассмотрим, что такое язык.

Язык есть некая система символов с их значениями. Формальная грамматика идет от символов к значениям. Это является и общим путем всего языкознания. В новейшем же языкознании мы видим попытку перевернуть вопрос: подойти от идеи к символу (см. напр[имер] Брюно[2]). Здесь классифицируются категории мыслей, и это естественнее, так как мысль предшествует ее выражению. Человек создает новое понятие и ищет слов для его выражения. Видит человека летящего на машине и говорит: «летчик». Но с др[угой] стороны, мы очень охотно формируем наши идеи по символам: слово часто властвует над нашей мыслью. Каждая мысль как бы сидит под колпачком слова, и движение мысли вперед есть борьба со словом.

Путь от формы к значению отражает действительное обычное положение вещей — норму, застой в языке, неиндивидуальное. Движение, эволюция обусловлена ассоциацией, обратно направленной: от мысли к слову. Говорящий на одном языке всегда находится во власти одних символов, знающий иностранные языки выходит из этого круга и приходит к языку, как потребности выразить свою мысль. Символы в языке выражаются различно. Самые простые — слова. Затем выражаются порядком слов, частью слова, ударением, связью с соседними словами (*А она его ... рукой*. Ясно, что пропущен глагол).

З н а ч е н и я. Мы различаем понятия самостоятельные и несамостоятельные, связанные с другими. (*Дом моего брата*). Между рядом идей и рядом символов отношения могут быть самые разнообразные. Но обязательно, чтобы простые идеи передавались простыми средствами и наоборот.

Лекция 2 и 3. Классифицируя синт[аксические] явления, мы можем подходить с точки зрения след[ующих] единиц в языке: 1) слов, 2) предложений. Стоя на первой точке зрения, Рис[3] предложил рассматривать учение о предложениях как частный случай учения о слове (словосочета-

---

[1] [Очевидно, имеется в виду прежде всего: Fr. M i k l o s i c h, Vergleichende Syntax der slavischen Sprachen, Wien, 1868—1874].

[2] [Имеется в виду, по всей вероятности, 13-томное сочинение Ф. Брюно «История французского языка» (F. B r u n o t, Histoire de la langue française), первый том которого вышел в Париже в 1896 г. См. также: F. B r u n o t, La pensée et la langue, Paris, 1922.— *Ю. Б.*]

[3] [См.: J. R i e s, Was ist Syntax?, Marburg, 1894 — *Ю Б.*]

ние). Но, кроме описания символов и идей, в задачи науки о языке входит самостоятельная задача изучения ассоциаций между самими символами. Т[аким] обр[азом] образуются след[ующие] науки: 1) грамматика, изучающая способы образования слов; 2) обратный ход — понимание нами новообразованных слов — этим занимается этимология; 3) соотношение между словами и идеями изучает семантика; 4) синтаксис изучает правила расстановки слов, способы составления из отдельных слов целых иного порядка.

Понятие слова, как основа для изучения синтаксиса. Что такое слово — неясно. В опыте нам дано говорение. Постулатом понимания является система символов и их значений, существующая у нас в сознании. Т[аким] образом, мы должны различать недоступную нам, существующую лишь в сознании систему (langue) и доступное нам говорение (parole). Трудность определения слова в том, что слова есть только в системе, а не в речи. Речь разбивается на отрезки, соответствующие самостоятельным элементарным представлениям, называемые синтагмами. Символически отдельные предложения разграничиваются в произнесении паузами. Фактически эквивалентное впечатление создается и чисто интонационными средствами и т. п.

Слово есть кратчайшая синтагма, могущая быть произнесенной отдельно без изменения смысла. *Белый платок* — два слова. *Белый медведь* — одно. Даже предлоги и союзы могут быть синтагмами. Пример: *Вам с сахаром — Без.* В речи, кроме синтагм, мы находим бо́льшие словесные отрезки, сопровождаемые ощущением известной законченности. Такие отрезки мы будем называть предложением. Ряд предложений образует более крупное целое — абзац, главу, выделяемую графически и интонационно.

Лекция 4. Слово является единицей в системе языка (как символ изв[естного] значения) и единицей в речи (как кратчайшая синтагма). Отсюда возникает возможность упорядочения слов в двух планах: 1) классификация по внешней форме; 2) классификация по смыслу.

Синтагмы и предложения в синтаксисе. У нас в сознании нет системы фраз: они случайны. Общий же словарь есть. Наряду с этим есть знание типичных способов построения из слов — синтагм и из синтагм — предложений. Это дано не в отвлеченных схемах, а в типовых фразах: по их типу строятся нами предложения. Задача синт[акси]са — изложить правила стройки синтагм.

Учение о частях речи до сих пор не имеет определенности и ясности. Обычное понимание частей речи классификационное: слова делятся на группы, которые и называют частями речи. Но принципиум дивизионис при этом обычно произволен. Пешковский и Ушаков [4] классифицируют одновременно и по смыслу: предметы, качества, действия, и по форме: склоняемые, изменяемые по родам, спрягаемые, и слова неизменяемые. Действительно, слово имеет и смысловую и символическую сто-

---

[4] [См. прежде всего: А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении. Популярный очерк, 2-е изд., М., 1920. Ср. в примечании Л. В. Щербы к статье «О частях речи в русском языке»: «Из новой литературы я более всего обязан книге Пешковского „Русский синтаксис в научном освещении", которая является сокровищницей тончайших наблюдений над русским языком» (Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, М., 1957, стр. 63). Д. Ушаков, Краткое введение в науку о языке, 6-е изд., М.— Пг., 1923. Ср. в той же статье Л. В. Щербы: «Д. Н. Ушаков в своем отличном учебнике по языковедению прямо учит, что возможны две классификации слов — по значению и по формам» (стр. 64).— *Ю. Б.*]

рону, и эту связь нельзя упускать. Но непосредственное наблюдение над языком показывает, что, с одной стороны, различные лексические содержания подходят под одну и ту же формальную категорию, с др[угой] стороны, одно и то же содержание может выражаться в различных формах и отношениях. В разных языках существуют разные общие лекс[ические] идеи. Европ[ейским] языкам свойственна, например, идея рода. В персидском языке ее нет. Идея среднего рода также вылилась в опр[еделенную] форму не во всех языках. Мы должны заниматься не классификацией слов, а констатированием апперцепционных форм, известных общих модусов восприятия ряда конкретных содержаний. В языке имеется ряд общих категорий, но существование общей категории мы можем признать лишь тогда, когда она получила свой штамп, свое внешнее выражение.

Лекция 5. Внешние признаки категорий мы будем называть формальными. Изменяемость по падежам есть признак сущ[ествительного] и прилагат[ельного]. Изменяемость по лицам во многих языках — признак глагола. Артикул в европ[ейских] языках — признак существ[ительного]. Категория может определяться фразовым ударением (*Когда́ вы приехали.* Ударение на *когда* делает его наречием, при отсутствии ударения оно союз). Категория может определяться интонацией; есть, например спец[иальная] интонация сказуемости, также — порядком слов. Формальным признаком может быть и отношение соседних слов, например, *Быстрый ... пробежал.* Ясно, что пропущено существительное. В каждом случае категория может выражаться одним или несколькими признаками. Контрастирующие признаки подчеркивают категорию особенно отчетливо. Одно и то же слово может выступать в разных категориях (*Глухой* — существительное и прилаг[ательное], *кругом* — наречие и предлог). Одно и то же лексическое значение мы можем одновременно подводить под разные лексические категории, так как мы классифицируем не слова, а разные точки зрения на эти слова. Например, в причастиях мы мыслим действие одновременно как некое качество. Некоторые слова мы не подводим ни под какие категории. Их условно можно назвать вводными (*даже*, *кажется*, *ведь*). Степень ясности категорий различна: есть случаи ясные, есть спутанные.

М е ж д о м е т и я составляют особую категорию. Они — выразители эмоций. Познавательный элемент в них очень затуманен. Формальным признаком междометий служит их обособленность, отсутствие синт[аксических] связей. Примеры междометий: *Ай*, *ах*, *о*, *увы*. *Ах* — лит[ературное] междометие вторичн[ого] порядка, условное выражение придыхательного звука, являющегося непосредственным рефлексом. *Увы* — взято из церк[овно]слав[янского], куда оно попало из греческого. К междометиям следует отнести и такие слова, как: *Ура*, *боже мой*, *беда*, *черт побери*, так как все они являются выразителями эмоций. Разбирать *черт побери* как существит[ельное] и глагол значит впадать в ученую рефлексию и смешивать исторические планы. Но то же выражение, вступая в синт[аксическую] связь с другими, приобретает и некот[орое] реальное значение. Например, *Черт вас всех побери.* Так же выражение *увы мне* — уже не междометие. *Татьяна — ах, медведь за ней.* Здесь *ах* можно рассматривать либо как глагол (сокр. *ахнула*), либо, если оно в кавычках как вносное слово, разобщенное с другими, как междометие. Категория междометий — одна из самых неясных категорий. Есть ряд слов промежуточного типа, например: *наплевать*, *спасибо*. В них наряду с эмоциями есть и какое-то высказывание. Междометные особенности имеет и звательный падеж. Формально в русском языке он отсутствует, интонационно су-

ществует. Звательный падеж не вступает в синт[аксические] сочетания. Повелительное наклонение тоже имеет большой эмоциональный оттенок (*молчать, цыц, ни гу-гу*), но для признания таких выражений междометиями мы не имеем строго определенного формального признака.

Лекция 6. Мы различаем слова знаменательные и служебные. Знам[енательные] слова имеют самостоятельный смысл и могут распространять синтагмы. (*Я хожу, я хожу кругом*). Служебные слова выражают лишь отношения между предметами мысли. Второй признак: знаменательные слова могут иметь на себе фразовое ударение. Служебные не могут и получают его только по контрасту. (*Он не столько непорядочный, сколько беспорядочный*). Отнюдь не служит признаком служебных слов их неизменяемость.

Знаменательные слова. Существительное — слово, которое мы мыслим в категории предметности. Это не слово, обозначающее обязательно самый предмет, вещь, а категория субстанциональности. Сюда, например, относятся такие отвл[еченные] слова, как *белизна*. Существит[ельное] фиксирует комплексы признаков, которые по отношению друг к другу являются неподвижными. В языке штампуются, субстанционируются очень многие процессы. Например, *гроза* — процесс, а не субстанция. *Электричество* — тоже. Эта привычка субстанционировать, по всей вероятности, была источником как мифотворчества, так и философских заблуждений. Субстанциональность нам постоянно навязывается языком.

Существительное и его признаки. Признаки существ[ительного], т. е. категории субстанции, следующие: 1) изменяемость по падежам, т. е. возможность различать действующее лицо при глаголе (им. п.), предмет, по отношению к которому совершается действие (дат. п.), орудие действия (твор. п.) и т. д. Падеж не есть обязат[ельный] признак существительного (*какаду, пальто*); 2) окончания; 3) словообразовательные суффиксы (*наркомпочтель* мы склонны относить к существ[ительным] типа *учитель*); 4) определение посредством прилагательного (в фразе *красивый какаду* — ясно, что *какаду* существительное); [5] определение глаголом в личной форме или связкой (*Телебри были несчастные* — ясно, что *телебри* — существительное).

Местоимения также относятся к категории существительных, так как они склоняются, при них глагол стоит в личной форме и т. д. *Кто-то приехал к нам. Кто-то* — существ[ительное]. Отсутствует только один признак существительных — определение при помощи предшествующего прилагательного (*Добрый я* — невозможно).

В индоевр[опейском] яз[ыке] категория местоимений была ярко формально выражена, что отразилось в особых склонениях. Это была категория субстрата. Но сейчас такой категории нет. Уже в то время целый ряд слов начал колебаться между именным и местоименным склонением. Только ограниченность количества и своеобразность функций делает из местоимений отдельную группу, но в пределах существительного.

В целом ряде случаев местоимения являются промежуточной формой между существительным и прилагательным: *Я этого не переношу, всякий это знает, я берусь каждого провести* — эти слова более прилагательн[ые], чем существительные. В фразе же *я люблю все* — *все* существительное. *Я люблю все хорошее* — *все* — прилаг[ательное], *хорошее* — существ[ительное]. Во фр[анцузском] яз[ыке] существуют соотносит[ельные] сущ[ествительные] и прилагат[ель]ные местоимения.

Местоимения — это группа, выделяемая по смыслу (личные, указательные, и т. д.), а не по форме.

Лекция 7. Категория имен существительных. 1. Собственные и нарицательные. Есть мнение, что это категории не лингвистические. Но это неправильно, так как собств[енные] имена отличаются тем, что не имеют множеств[енного] числа и, будучи поставлены во множеств[енном] числе, они обращаются в нарицательные (*Петров — Петровы*). Такие сущ[ествительные], как *солнце* — тоже [...]* входит ряд признаков, определяющих содержание. В собственных же именах указать сущ[ественных] признаков нельзя. Оно не более, чем этикетка. Когда в собственном имени какой-нибудь признак становится существенным и обязательным, то собственное имя становится нарицательным (*Плюшкин*).

2. Отвлеченные и конкретные. Формальный признак отвлеченных имен — отсутствие множественного числа, во множ[ественном] числе они конкретизируются.

3. Одушевленные и неодушевленные. Разница в форме вин. падежа: *И люблю язык*, *Привели языка*. Разница эта наблюдается не всегда.

4. Вещественные имена существительные. Формальный признак отсутствие множеств[енного] числа (*сахар*, *мед* и т. п.); *меды* — имеет смысл: разные сорта меда.

5. Собирательные. Такие слова, как *стая*, *полк*, *рота*, вопреки мнению школьной грамматики, не есть собирательные, так как в них не выражена идея множественности. Собирательные: *мужичье*, *офицерье*, *тряпье*, *студенчество*, *офицерство*. Суффикс *-ье* — конкретно-собирательный, суф[фикс] *-ство* — отвлеченно-собират[ельный]. Раньше категория собирательных была настолько ощутимой, что требовала множ[ественного] числа в согласующихся словах (*Дружинушка хоробрая полегли костьми*).

6. Единичные. Примеры: *бисерина*, *жемчужина*. По контрасту с ними — *бисер*, *жемчуг* выступают почти как собирательные.

7. Категория родов. Мужской, женский, средний. Но категория рода не чисто формальная, а исторически условная. Иначе бы говорили: *моя папа*. Различение по родам очень древнее. Происхождение родов в точности неизвестно. Предполагают, что это следствие первобытного одушевления и персонофицирования вещей. Одушевленные награждались полом, неодушевленные оставались средними (ср. данные мифологии). Ополовление вещей сопровождалось расцветом творческой фантазии. Эта категория есть своеобразное раздувание эротизма, через обратное влияние языка на создавшую его психику.

Категория прилагательных. 1. Основное значение этой категории — качество. Такие слова, как *отцовский*, *мамин* — тоже прилагательные: отношение мыслится как некое фиктивное качество. Формально прилагательность выражается в том, что данные слова относятся к существительным, что выражается согласованием. Признаком прил[агательных] является своеобразное склонение и изменение по степеням сравнения, причем последнее распространяется не на все прилагательные. Прилагат[ельные] имеют собственные словообразоват[ельные] суффиксы: *-ист-*, *-ован-*, *-ан-*, *-ян-*. Они распространяются наречием. В фразе *Очень ... человек* — мы можем подставить либо глагол, либо прилагательное. *Всякий*, *каждый* — это прилагательные. *Первый*, *второй*, *третий* и т. д.— прилагательные прежде всего. Это счетные прилагательные, выделившиеся в силу совместных повторений. Но идея порядковости не получила специфических средств выражения и потому не стала категорией.

* [Пропуск в рукописи.— *Ю. Б.*]

Некот[орые] ученые считают сравнительную степень не прилагат[ельным], а наречием, но это неправильно, т[ак] к[ак] неизменяемость не есть только признак наречия. В церк[овно]славянском есть целый ряд неизменяемых прилагательных. Если срав[нительная] степень относится к существительному — она прилагательное, если к глаголу — наречие (*Ваш рисунок лучше* — прилагательное; *Вы рисуете лучше* — наречие).

Категории прилагательных: 1. Притяжательные прилагат[ельные]. Примеры: *мой*, *моя*, *папин*, *отцов*, *бабий*. Все они характеризуются общностью окончаний. Имен[ительный] падеж муж[ского] рода имеет краткое (нулевое) окончание. В косвенных падежах это категория разрушающаяся. *Отцов день*. *Отцовского дня*. Когда-то эта категория характеризовалась особым строем, но сейчас эти особенности отмирают.

2. Качественные и относительные прилагат[ельные]. Качественные имеют степени сравнения, относит[ельные] не имеют.

3. Причастия — имена прилагательные, имеющие глагольное значение.

4. Наречия. Значение этой категории формальное, по смыслу это те же прилагательные, вся разница в том, что прилагат[ельные] относ[ятся] к существительному, наречия же — качества, которые мы открываем в глаголе или прилагательном. Такие наречия, как *сильно*, *легко*, в значительной степени есть только форма соответствующих прилагательных. Но наречия *очень*, *весьма* и т. п. не имеют прилагательных форм и они-то заставляют выделить категорию наречий.

В русском языке признаком наречий служит их относительная неизменяемость. Однако некоторые наречия могут изменяться по родам: *Я весь белый*, *я вся белая*.

Есть языки, в которых все наречия изменяются по родам.

В известных случаях наречия трудно отличить от существительных: *они живут* ***за границей*** — наречие, так как здесь произошел разрыв с реальным представлением границы. В фразе *за южной границей* — мы имеем существительное.

Лекция 8. Слова количественные (числительные). Раньше их считали особой частью речи. Теперь формалисты-лингвисты считают их существительными, исходя из утверждения, что все склоняемое есть существительное. Но в количественных есть нечто специфическое: они от существительных отличаются связью: *Я управляюсь десятком солдат*, но *Я управляюсь десятью солдатами*. В прошлом кол[ичественные] числительные были существительн[ыми], отвлеченными от соответств[ующих] порядковых прилагательных. Произошло изменение конструкции — они перестали подчинять существительное и стали сами ему подчиняться. К количественным же относятся: *много*, *мало*, *нисколько*, *несколько*. Их неправильно называют наречиями. *Тысяча* ощущается до сих пор как реальная единица, но отчетливости в определении категории нет. Говорят: *С тысячью солдат*, но: *тысячи солдатам*. *Миллион* раньше имел отчетливую субстанциональность — был не собирательной единицей, а существительным отвлеченным. Однако в молодом поколении это может измениться: миллион, как малая обиходная единица приобрел реальный счетный смысл.

Категория предикативных наречий. Примеры: *нельзя*, *пора*, *жаль*, *можно*, *надо*. Это — признак или качество действия. С точки зрения значения они выражают состояние. *Я болен*. *Я болею*.

Я больной — одно и то же содержание выражается то в виде состояния, то в виде действия, то в виде качества.

В русск[ом] яз[ыке] нет настоящей резко оформленной категории состояния. Она не до конца осознана и не имеет общих средств выражения. Есть разные попытки ее выразить. Сюда можно отнести личные конструкции: *Он был навеселе*, *наготове*, *настороже*, *замужем*, *без чувств*. Предикативные наречия играют роль сказуемого со связкой.

Лекция 9. Г л а г о л ы. Обычное определение: глагол обозначает действие или состояние. Новейшее формальное опред[еле]ние: глагол — спрягающаяся часть речи. Старое определение было неправильным, так как классифицировало по смыслу конкретные слова. Неправильно и чисто формальное опред[еле]ние. Значение категории глаголов состоит в идее действия.

Краснеть — качество проявляется как действие. Формальный признак глагола — спряжение. Это не есть только изменения по лицам. Конкретно, надо считать все формы: причастие, инфинитив и т. п., в которых лексическое содержание выражено, как действие,— глаголами. Надо отвергнуть обычное утверждение, что инфинитив — это не глагол. Лицо — несущественный момент в глаголе. *Иду — идти* — формы одного и того же слова.

П р и ч а с т и е — глагол и одновременно прилагательное. Действие предмета представляется как его качество.

Д е е п р и ч а с т и е — глагол и наречие. Действие дано как признак или обстоятельство. Герундий (лат.) есть глагольная форма, так как требует вин. падежа. Такие слова, как *бах*, *трах*, *хвать* — могут быть глагольной формой без глагольного окончания, выражаемой соседними словами.

Глагол *быть*. Сравним: *он был бедняк* и *он был в театре*. В первом случае нет и тени глагольности. Здесь *был* несет чисто логическую функцию приписывания известных признаков — оттенка же активности в нем нет. В данном случае это не глагол, а копула, связка. Во втором случае это настоящий глагол. Связка не глагол, несмотря на глагольные формы, она не обозначает действия. *Был* — вид несовершенный, совершенный *стал*. Здесь в связку внесена некоторая глагольность. *Сделался* — еще глагольнее. *Произошел* — еще более: это знаменательная связка. Лишено идеи глагольности только одно *быть* в несовершенном виде. Знаменательные же связки имеют одновременно две функции — глагольную и связочную. *Он лежал больной* — здесь *лежал* функционирует и как глагол, и как связка: *он лежал* и *он есть больной*.

Очень большое количество наших высказываний состоит из субъекта, предиката и соединяющей связки. Обычное двучленное сочетание: *есть кто-то* (субъект, которому приписывается нечто). В глагольных предложениях этого нет. *Он гуляет*. Этот *он* недифференцирован. Глагол от него неотделим, действие со своим лицом составляет одно целое.

Из отличия связки глагола вытекает деление речи на 1) класс глагольных высказываний одночленных и 2) класс высказываний со связкой, которые по самому существу своему двучленны. Фраза номинальная и фраза вербальная. Первая является расчленением действительности, установлением логической связи, деятельностью отвлеченного ума, в основе второй, глагольной, фразы лежит интуитивное мышление.

Б е з л и ч н а я ф о р м а г л а г о л о в. Возьмем две фразы: *Голова ребенка темнеет* и *уже темнеет*. Первая — личная конструкция. Вторая — безличная. Во второй дано вовсе не третье лицо, а только форма третьего лица. Глагол при этом остается глаголом, хотя отсутствие лица

при действии ослабляет идею действия. Категория безличности граничит с категорией состояния (т. е. с такими выражениями, как *холодно*, *темно*, *морозит*). Возможно, что все безличные обороты ведут начало от личных. Собственно безличные обороты чаще всего относятся к явлениям природы.

Стилистические функции безл[ичных] оборотов: ср. *Здесь курить воспрещают* и *здесь курить запрещается*. Безличный оборот создает впечатление независимости действия от воли какого бы то ни было лица. Наше восприятие заинтересовано, когда есть некоторая неопределенность, а это дается безличным оборотом. Вот почему в нек[оторые] эпохи им так охотно пользуется поэзия.

К а т е г о р и я в о п р о с и т е л ь н ы х с л о в. Эта категория не самостоятельная, а существующая в связи с другими категориями. *Кто — что* — вопр[осительные] существительные. *Где — когда* — вопро[сительные] прилагат[ельные]. Эти слова объединяются присутствием сильного фразового ударения.

Лекция 10. К а т е г о р и я с л о в с л у ж е б н ы х. Здесь нет такой ясности, как в словах знаменательных.

1. С в я з к а. Связку необходимо отличать от глагола. Связка выражает чисто логическую связь между понятиями. Чистая связка только глагол *быть*. Знаменательные связки — это глаголы, служащие связкой. *Дети — это наше будущее*. Здесь слово *это* несет функцию связки.

2. П р е д л о г и. Предлоги — частицы или слова, которые соединяют два слова или две группы слов в одну синтагму и устанавливают отношения между определяющим и определяемым. Например, *Мел для писания* — определяемое, предлог, определяющее. С формальной точки зрения предлоги управляют падежами. Предлоги: *внутри*, *кругом*, *наверху*, *наподобие*, *в течение*, *вследствие*. *Тому назад* приближается к предлогу. Если посмотреть не этимологически, а с точки зрения значения, то под понятие предлога подойдут такие слова, как *чтобы*, *с целью*, *как*. Например, *Я пришел, чтобы поесть*; *Меня одевали, как куколку* (*как — наподобие*). Здесь *как* падежом не управляет, но по значению это предлог.

3. С о ю з ы — частицы, соединяющие слова или группы слов на равных правах в одно целое — в синтагмы или группы высшего порядка. Союзы распадаются на: 1) соединительные союзы: *и — да — или*: *Иванда-Марья*; *Я хотел взять учителя или учительницу к своим детям*. *И* заменяется *с*: *Брат и сестра — Брат с сестрой*; 2) противительные союзы (объединяющие по контрасту): *а*, *но*, *да*. *Я ем вилкой*, *а не ножом*; 3) обе группы могут нести и функцию разъединительную, в зависимости от интонации. *Я трепещу и проклинаю*, *И мачта гнется и скрипит*. Союзы в разъединительной функции называются присоединительными, а при перечислении уединительными: *И плащ*, *и стрела*, *и лукавый кинжал*. Это третья группа союзов; 4) особая группа — союзы разъединяющие, но связывающие в цепи при перечислении. Они называются слитными. *И — и — и*. *Или — или — или*. При интонации бесконечного (неизвестного) ряда мы имеем открытые сочетания: *У меня есть Пушкин, и Байрон, и Диккенс* ... При интонации конечного ряда известных предметов мы имеем закрытые сочетания. Слитные сочетания могут образовываться и без союзов — одной лишь интонацией перечисления. Наконец, слитные сочетания могут образовываться путем бессоюзного сочетания с соедин[ительным] союзом перед последн[им] членом: *К нам пришли отец, мать и сестра*.

4. О т н о с и т е л ь н ы е с л о в а — слова, создающие отношение определяющего к определяемому, но не между отдельными словами,

а между синтагмами. Их обыкновенно называют подчинительными союзами. *Я приехал, когда было темно*; *Я нашел книгу, которую я считал пропавшей*. Относительная функция этих слов может контаминировать со знаменательной. *Гуляю с кем хочу, с кем* — относит[ельное] слово и сущ[ествитель]ное. Формальный признак относительных слов — отсутствие фразового ударения.

Лекции 11 и 12. Разбор текста «Капит[анской] дочки» [Пушкина][5].

---

[5] [В. В. Виноградов подчеркивал: «В качестве иллюстрации (членения речи на синтагмы.— *Ю. Б.*) Л. В. Щерба обычно прибегал к синтаксическому анализу первых строк „Капитанской дочки“ Пушкина и показывал, как тесно связано разнообразное членение текста на синтагмы с осмыслением этого текста» (В. В. Виноградов, Синтаксические взгляды и наблюдения академика Л. В. Щербы, стр. 60). Ср. также свидетельство Д. Л. Щербы: «В университете он (Л. В. Щерба.— *Ю. Б.*) в течение ряда лет толкует произведения Пушкина: „Медный всадник“ и „Капитанская дочка“, мелкие стихотворения (Д. Л. Щерба, указ. соч., стр. 43).— *Ю. Б.*]

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

З. Н. СТРЕКАЛОВА

ЗАМЕТКИ О РУКОПИСНОМ «СРАВНИТЕЛЬНОМ РУССКО-ПОЛЬСКОМ СЛОВАРЕ» С. Б. ЛИНДЕ

I. Выдающийся польский лексикограф Самуэль Богумил Линде известен широким кругам славистов прежде всего как автор «Словаря польского языка» [1].

Издание этого словаря (1807—1814) было значительным событием своего времени, его научной и культурной жизни [2]. Труд Линде считается «памятником польской национальной культуры» [3].

К Линде как к признанному авторитету до сих пор обращаются языковеды, его словарь служил и по сей день служит надежным источником данных, необходимых для исследований как в области истории польской культуры, так и в сфере славянской филологии. Общеславянская ценность словаря Линде определяется, в частности, и тем, что в нем содержится сравнительный лексический материал ряда славянских языков.

Научная и общественная деятельность Линде была связана с Краковом, с Веной, где, будучи библиографом Максимилиана Оссолиньского, он собирал библиотеку, которая позже стала носить имя Оссолиньских, с Варшавой, где он был ректором основанного им лицея, а затем преподавал философию и языкознание в университете. Линде был первым ректором Варшавского университета. В России ему было присвоено звание почетного члена Академии наук (1818).

Работу по составлению и изданию «Словаря польского языка» Линде закончил, будучи еще молодым (ему было тогда 43 года). Словарь этот остался вершиной его трудов: с завершением словаря кончился наиболее значительный этап научной деятельности Линде. Затем в жизни ученого начался период гораздо менее плодотворный, когда им были опубликованы лишь небольшие и сравнительно малозначительные работы по истории славян и славянских литератур, а также переводы [4].

Известно, что у Линде были замыслы и проекты больших лексикографических, библиографических и литературоведческих работ, которые ему по различным причинам не довелось осуществить [5]. И все же «Словарь польского языка» не был единственным большим трудом Линде. Его ученая деятельность позднего периода связана с разработкой и осуществлением планов «Сравнительного словаря славянских диалектов», широко задуманного монументального труда, к которому Линде постоянно возвращался, неоднократно меняя свои планы, но оставаясь верным своим лексикографическим

---

[1] S. B. Linde, Słownik języka polskiego, I—VI, Warszawa, 1807—1814. В 1854—1860 гг. уже после смерти Линде, вышло второе издание этого словаря. В 1951 г. он переиздан фотоофсетным способом.

[2] Современники встретили словарь восторженно. Ср., например, такое высказывание рецензента: «Недавно изданный польский словарь ... относится к числу наиболее важных явлений начала нового века и удовлетворяет ту потребность, которую испытывали почитатели науки о языке, давно ожидавшие подобного труда» («Allgemeine Literaturzeitung», 333, Halle, I XII 1808) [цит. по работе: W. Doroszewski, Przegląd historyczny słowników języka polskiego. Uwagi i wyjaśnienia wstępne («Słownik języka polskiego», I, s. IX, Warszawa, 1958)].

[3] См., например, выступление Б. Вечоркевича по случаю 120 годовщины со дня смерти Линде («Poradnik językowy», 3, 1968, стр. 16).

[4] «O Statucie Litewskim, ruskim językiem i drukiem wydanym, wiadomość», Warszawa, 1816; «O języku dawnych Prusaków. Rozbiór dzieła profesora Vatera». («Rocznik t-wa Przyjaciół Nauk», 15, 1821); «O literaturze Słowiansko-Rosyjskiej» («Pamiętnik Warszawski», 1815—1816). Переводы: M. Grecz, Rys historyczny literatury Rosyjskiej, Warszawa, 1823; J. M. Ossoliński, Vincent Kadlubek, ein historisch-kritischer Beitrag zur Slawischen Literatur, Warszawa, 1822.

[5] См.: J. Michalski, Niezrealizowane plany naukowe Lindego, «Pamiętnik Literacki», 50, 3—4, Warszawa, 1959.

интересам. В последние 12 лет жизни, уйдя в отставку, Линде целиком посвятил себя работе над сравнительным словарем, ограничившись сопоставлением двух языков — русского и польского. Результатом его работы в области сравнительной лексикографии явился большой рукописный русско-польский сравнительный словарь. Судьба этого словаря не была счастливой, он не был закончен. Труд Линде не получил признания ученых-лингвистов.

Биографы и исследователи научной деятельности Линде, отдавая должное блестящим страницам его деятельности, изучают его польский словарь, проявляют большой интерес к лексикографической лаборатории автора «Словаря польского языка» [6].

Последние десятилетия жизни ученого остаются в тени; их считают малоинтересными, а порой и вовсе бесплодными [7]. Они плохо изучены и несомненно заслуживают большего внимания.

О рукописном «Сравнительном словаре» Линде впервые писал В. Францев [8]. Из его работы стала известна в основных чертах история создания сравнительного словаря. В. Францев детально и достаточно объективно осветил некоторые существенные моменты творческой биографии Линде; коснувшись восторженных отзывов Погодина, он особенно подробно остановился на оценках «Сравнительного словаря» «суровым» Востоковым, который читал и рецензировал большие фрагменты рукописи Линде, присланные «на рассмотрение» в Петербургскую императорскую Академию наук. Брошюра В. Францева до сих пор остается наиболее значительной работой, посвященной изучению «Сравнительного словаря» Линде. Она оказала влияние на последующих исследователей и популяризировала мнение Востокова, не одобрившего сравнительный словарь.

Некоторые вопросы, касающиеся проектов, материалов и судьбы «Сравнительного словаря», рассматриваются в статьях, опубликованных сравнительно недавно. Авторы этих статей, как правило, опираются на сведения, сообщенные В. Францевым, а также привлекают некоторые архивные материалы (переписку Линде), проливающие свет на лексикографическое наследие ученого [9].

Одним из стимулов для нашей работы было знакомство с забытой рукописью «Сравнительного словаря» Линде. Рукопись Линде не была изучена и не привлекалась для исследования тех вопросов, которые затронуты еще В. Францевым. Как нам кажется, она может быть использована для более обстоятельного изучения позднего периода лексикографической деятельности Самуэля Богумила Линде.

II. Обращаясь к вопросу о рукописном наследии Линде, отметим, что сведения о рукописях Линде имеются в работе польского ученого, историка и филолога А. Белёвского, готовившего второе издание «Словаря польского языка». А. Белёвский пишет, что в 1853 г., т. е. через пять лет после смерти Линде, семья Линде-Горецких передала его рукописные труды в Библиотеку Оссолиньских [10]. «Все эти рукописи,— сообщает А. Белёвский,— относятся исключительно к сравнительному словарю славянских диалектов и частично представляют собой законченный труд, а частично подготовленные для него обширные материалы» [11]. Далее А. Белёвский отмечает, что законченная часть сравнительного словаря содержит расположенные по русскому алфавиту слова на *В* (начиная от слова *Вить*), *Г*, *Д*, *Е*, *Ж* и *З*. Белёвский предполагает, что Линде

---

[6] Материал «Словаря польского языка» послужил базой для многих исследований по польскому языку. Мы упомянем лишь о двух работах, которые по сути дела продолжили труд самого Линде: S. H r a b e c, F. P e p ł o w s k i, Wiadomości o autorach i dziełach, cytowanych w Słowniku Lindego, Warszawa, 1963; «Indeks a tergo do Słownika języka polskiego Lindego» pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa, 1965.

[7] К. Нитш писал, например: «Дата, которую должен знать каждый культурный поляк,— это годы 1807—1814, с именем Линде связан труд эпохального значения, человек его не пережил» (K. N i t s c h, Linde, JP, XXVII, 6, 1947, стр. 186). Ф. Пшилубский, автор научно-популярной биографии Линде, пишет: «Период после написания словаря («Словаря польского языка».— *З. С.*) менее интересен и в нашей книге опущен» (см. заключение к кн.: F. P r z y ł u b s k i, Opowieść o Lindem i jego Słowniku, Warszawa, 1955).

[8] В. А. Ф р а н ц е в, Сравнительный славянский словарь С. Б. Линде, Варшава, 1905.

[9] J. W. O p a t r n ý, Rosyjsko-polski słownik porównawczy Lindego, «Rozprawy Komisji językowej [Wrocław. Tow. Nauk.]» IV, 1963; A. H e r m a n n, Lingua communis slavica und allgemeinslawisches Wörterbuch von Samuel Bogumil Linde, «Slawisch-deutsche Kulturbeziehungen. Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität, Berlin», Gesellschafts-sprachwissenschaftliche Reihe, XVI, 5, 1967; J. M i c h a l s k i, указ. соч.

[10] A. B i e l o w s k i, Przedmowa, в кн.: S. B. L i n d e, Słownik języka polskiego, I, 2 wyd., Lwów, 1854, стр. 4—5.

[11] Там же, стр. 5—6.

разработал также и некоторые следующие буквы: «Нас заверяли, что некоторая завершенная часть словаря осталась либо в Петербургской Академии, куда посылались рукописи, либо у помощников Линде, вместе с ним работавших над словарем».

Позже, в 1898 г., был опубликован каталог рукописей Библиотеки им. Оссолиньских, в котором под номером 1368 значится «Рукописный кодекс в четырех томах, написанный по преимуществу одной рукой, XIX век. Русско-польский словарь Самуэля Богумила Линде» [12]. Других упоминаний об этой рукописи в литературе вопроса нам не встретилось.

Рукопись, о которой идет речь, сохранилась до наших дней и находится в настоящее время в Отделе рукописей Библиотеки АН УССР во Львове (фонд Оссолиньских, дело 1368/III). Она переплетена в четыре не равные по объему тома, хорошо сохранилась. Автор писал на разной по плотности и качеству бумаге, тонким пером. Чернила выцвели, местами настолько сильно, что текст трудно восстановить.

Том первый рукописи содержит слова на *Б*, *В*, *Г* (от *Благій* до *Гіена*), в нем насчитывается более тысячи страниц, пронумерованных цифрами 17—36, 53—1332. Начиная со стр. 233 нумерация двойная: кроме общей нумерации, есть вторая, сделанная красными чернилами, охватывающая ту часть тома, где содержатся слова на букву *В* (начиная от *Вить*) и на букву *Г*.

Второй том содержит слова на букву *Д*. В нем 688 стр. Стр. 284—405 представляют собой часть словаря, начисто переписанную очень четким почерком. Черновик этой части словаря подшит в тот же том. Видимо, черновик, написанный рукой Линде, был переписан кем-то из его учеников.

В томе третьем пронумерованы листы, а не страницы, как в первом и втором томе. На них стоят цифры от 1 до 670 — таким образом, в третьем томе насчитывается 1340 стр. Этот том, самый большой по объему, содержит слова на буквы *Е*, *Ж*, *З*.

Страницы четвертого тома пронумерованы цифрами от 26 до 256. В нем содержатся слова на все остальные буквы русского алфавита, от *О* до *Я* включительно. Последний том словаря отличается от предыдущих — конечные буквы алфавита мало разработаны, число словарных статей на каждую букву невелико. В конце четвертого тома есть дата: 5—12 IX 1837.

В рукописи полностью отсутствуют слова на букву *А*, а также на *И*, *К*, *Л*, *М*, *Н* [13]. Следует отметить, что рукопись, находящаяся во Львове,— более полная, чем та, о которой сообщал А. Белёвский. Вероятно, часть ее поступила в библиотеку Оссолиньских позже, после 1853 г.,— затем словарь был переплетен.

III. Самостоятельный интерес, как нам кажется, представляет размещение словарного материала в «Сравнительном русско-польском словаре» [14]. Оно привлекло внимание А. Белёвского, писавшего: «Русский язык Линде принял за основной и расположил материал по русскому алфавиту. Обнаружив польское слово, которое соответствовало русскому по звучанию и по значению, автор помещал его рядом, рассматривал его происхождение, подтверждая его многочисленными польскими примерами» [15].

В рукописи, о которой идет речь, каждая страница разделена на два столбца. Левая половина содержит русские словарные статьи, правая — польские. Словник представляет собой «одинаково звучащие», параллельно расположенные русские и польские слова. Структура русской и польской статьи одинакова.

Русская словарная статья содержит заглавное слово с грамматическими пометами, а также объяснения значений заглавного слова с текстовыми иллюстрациями. Если от заглавного слова образуются производные слова, все они включаются в словарную статью. Каждое из производных слов выделено в тексте словарной статьи (подчеркнуто), переведено на польский язык и, как правило, проиллюстрировано примерами из русских источников. Размеры статей различны; наиболее разработанные и сложные занимают по несколько страниц рукописи. В польской словарной статье также выделены значения заглавного слова, приводятся производные слова, образованные от заглавного слова, которые переведены на русский язык.

---

[12] «Catalogus Codicum Manuskriptum Bibliothekae Ossolinanae Leopoliensis», wyd. W. Kętrzynski, III, Lwów, 1898.

[13] Над буквой *К* Линде работал дополнительно, подготавливая к печати «Материалы для сравнительного словаря русского языка (буквы *К* выпуск первый)», вышедшие в Варшаве в 1845 г.

[14] Рукопись, в каталоге именуемую «Русско-польским словарем», мы будем называть «Сравнительным русско-польским словарем» или для краткости «Сравнительным словарем». Линде называл словарь этот в письмах к Погодину «Русско-польско-славянским» («Russisch-polisch-slawisch Wörterbuch»), В. Францев — «Сравнительным славянским». Употребляемое нами название представляется наиболее правильным. Оно уже встречалось в литературе — см.: J. W. O p a t r n ý, указ. соч.

[15] A. B i e l o w s k i, указ. соч., стр. 5.

Принцип подбора «одинаково звучащих» слов и размещения словарных статей осуществлен в словаре очень последовательно. Таким образом, структура сравнительного словаря, хотя и представляется сложной, прослеживается вполне отчетливо.

Как пример размещения материала в «Сравнительном русско-польском словаре» мы приведем несколько статей из второго тома рукописи.

Дополнять, дополнить, дополняю, дополнилъ, дополню, -нишь, гл. д. добавлять что къ недостаточному или неполному. 2 *Ак.* 2, 183. Дополняю что къ помѣщенному куда-либо, чтобы полно было. 1 *Ак.* 4 dopełnic. Дополнить кадку водою 1 *Ак.* 4, 972 Екатерина II спешила обновить то, что устарело, дополнить, чего недоставало. *Устр. На.* Будущій историкъ воспользуется трудомъ этого автора, дополнитъ то, чего недостаетъ у него, исключитъ лишнее. *Ж. П.* 39, 2, VI, 69. Дополнить смыслъ въ сочиненіи. 1 *Ак.* 4, 972. Если наши разсказы не будутъ полны, то другіе любители могутъ ихъ дополнить. *С. П.* 39, 124. **дополняться**, гл. стр. быть дополняему, dopełnić się. **Дополненіе**,— -я дѣйствіе дополняющего, dopełnienie, самая вещь, служащая дополненіемъ, datek dopełniający, дополненіе въ книгѣ. 1 *Ак.* 4, 972. **Дополненный** -ая, -ое прил. имеющее значеніе глагола своего дополнять, dopełniony 2 *Ак.* 2, 183. **Дополна** нар. стар. обстоятельно, достаточно подробно, dokładnie, w zupełności, obficie. У нихъ того увѣдалъ до полна. 1 *Ак.* 2, 183. *Ник. Лѣт.* 7, 993. **Дополнитель**, -я, м. совершитель, dopełniciel. **Дополнительница**, -ы. **Дополнительный**, -ая, -ое, прил. къ дополненію служащій, dopełniający, uzupełniający, dodatkowy. Дозволено по мѣрѣ нужды учреждать въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ и дополнительные сверхъ общаго плана курсы. *Ж. П.* 39, 1, 6. Учрежденіе новыхъ дополнительныхъ классовъ русского языка при училищахъ. *Ж. П.* 40, 2, 1, 19. Къ спеціальнымъ заведеніямъ Варшавского Учебного Округа принадлежитъ ученое и вмѣстѣ учебное заведеніе подъ названіемъ дополнительные курсы. 40, 5, 1, 79.

Dopełnić, cz. dk. dopełniać ndk, miarę czyli liczbę pełnić albo wyrównać, do pewnego kresu napełnić, dołożyć, dosypać, dolać, doliczyć zpełna. дополнять, добавить, довершить, совершить. Czemu ostateczny dodatek, by też był najmniejszy, czyni najwięcej; bo nie tak pomnaża, jak raczej dopełnia. *Pile ch. Sen. list.* 4, 136. Już on dopełnił piętnasty rok, gdy go posłano na nauki. *Weg. Mar.* 1, 118 (skonczył już). Dopełnienie miary, liczby, kresu, spełnie-nie, domiar, dokład, dodatek, дополненіе, добавокъ, прибавокъ, прибавленіе, совершенство, пристеженіе. *Math.* dopełnienie kąta albo łuka, to, o cotenłuk jest mniejszy albo większy jak 90 stopniów. *Jak. Math.* 1, 17. *Mier.* II. Dopełnienie jest to, co trzeba przydadź do kąta, albo objąć, żeby był wart 90 stopniów. *Jak. Math.* 1, 17, complementum, ostatek. *Solsk. G.* 2. Dopełnienie arytmetyczne, reszta, complementum arithmeticum. *Jak. Math.* 1, 203. Dopełnić czego, wykonać wcale, w zupełności исполнить, выполнить, совершить. Dopełnie, com przyrzekł. *Müll.* 1, 103. Dopełnić powinności prawa, powołania. *Oss. Wyr.* (wypełnić). Jeżeli tego dopełni, czegom od niego żądał, kochać go będę. *Teat.* 53, 45, 6. (jeżeli to zrobi, uskuteczni, zjiści). Dopełnić czyjej woli, czyjego żądania, czyich życzeń. *Troj. sł.* 1, 124. Zaimk. Dopełnić się. zjiścić się, uiścić się, do skutku przyjść, сбыться, совершиться. Dopełniciel, -a, m. dopełniający, wykonywasz, zjiściciel, исполнитель, вершитель, совершитель, дополнитель. Dopełnicielka, fem.— исполнительница.

Духовенство, -а, с. р. состояние, званіе духовное, duchowieństwo, stan czyli powołanie duchowne. Вступить въ духовенство. 1 *Ак.* 2, 508 (w stan duchowny, 2) въ образѣ имени собирательн. особы духовного состоянія, duchowni, duchowieństwo. Духовенствомъ управляютъ Архіереи. 1 *Ак.* 2, 508. Въ духовномъ регламентѣ опредѣлены права и обязанности духовенства. *Устр. Ист.* 3, 152. Онъ ученѣйшимъ почитается между духовенствомъ. 1 *Ак.* 2, 508. Духовенство бѣлое, особы духовнаго состоянія, противуполагаемые монашествующимъ, duchowieństwo świeckie. Духовенство черное, манашествующее, противуполагаемое бѣлому духовенству, zakonu duchowieństwo.

Duchowieństwo, -a, n. stan duchowny, духовенство, причетъ, священничество. Udał się na duchowieństwo, czyli na stan duchowny. *Cn. Th. cf.* kapłaństwo, collekt. osoby duchownego stanu, n. p. Prześwietne duchowieństwo niech żyje! Duchowieństwo-duchowność, духовность. Dusza nasza jest z cielesności i duchowieństwa spojona: cielesność chce wczasów, rozkoszy, lecz duchowieństwo i rozum, gdy widzi, że to uczciwości szkodzi, przeciwić się winny. *Sk. Kaz.* 597.

Дымить, надымить, дымлю, гл. ср. пускать дым посредствомъ горящего вещества, н. п. дымить куря табак. 1 *Ак.* 849, dym wypuszczać, dymić. **дымиться**, гл. возвр. куриться, испускать, производить дымъ, dymić. Прикасайся горамъ и дымятся *Ps.* 103. Другія на дымящіеся развалины раззоренныхъ отъ непріятеля градовъ своихъ со слезами взираютъ. *М. Л.* Печь дымится, починить надобно. 1 *Ак*, 2, 79. Театръ здѣсь можно узнать по двумъ или тремъ лампамъ которыя дымятся у его подъезда. *С. П.* Онъ пронзилъ себя мечемъ, дымившимся еще кровію его сестры. *Enc.* 2.358. Тотъ страшно возстоналъ на копья восхищенный и сверженный во прахъ дымясь оцепенелъ. *Жук.* 1. 209. Лежалъ облитый кровью человекъ, кинжалъ въ груди его дымился. *Пант.* 40, 4, 24.

Dymić — cz. niedok. дымить, dym wypuszczać z siebie. Piec dymi, komin dymi, drzewo dymi; s. dymić co in malam partem przydymiać: Zły kucharz wszystkie potrawy dymi. Dymić-kopcić. n. p. Piec źle wylepiony dymi wszystkie ściany. **Dymać** — cz. niedok. Dąć, dmuchać mianowicie, **dymalny, dymarka, dymek, dymeczek.**

Дымка, -и, с. ж., родъ флеру, бываетъ разного цвѣта и мшистее нежели обыкновенный флеръ. 1 Ак. 2, 848 dyma, dymka, tkanka, krepa. Шляпки женскія делаются иногда из дымки. ib. Театральная природа остается картонною природою, если живительная дымка воображенія зрителя не обдастъ ее правдоподобіемъ и жизнью. *Пант.* 40, 2, 92. Край неба окатился густымъ багрецомъ и къ вышинѣ протянулась розовая дымка. С. П. 40, 12, 47.

Dyma, -y, ż. Dymka, -i, ż. dem; **tkanka bawełniana**, a pospolicie **bawełnianolniana**, канифасъ. Dyma wyszywana, *Fr.* Dymy na żupan chciał kupić. *Taet.* 290, 76. II. Dymka-gatunek cebuli. *Lad.* II. N20.
Dymkowy, dymkowaty, dymnica, dymnice, dymnik.

От указанного порядка расположения словарного материала Линде отступает лишь там, где сопоставляемые слова — с его точки зрения — представляют особый интерес, дают возможность сделать определенные наблюдения или выводы. Эти примечания Линде касаются одной или сразу нескольких пар «одинаково звучащих» слов, написаны по-польски через всю страницу рукописи и помечены значком №. Размеры примечаний различны, от нескольких строк до нескольких страниц рукописи.

В IV томе сравнительного словаря такие примечания не встречаются; здесь работа автора свелась в основном к фиксированию «одинаково звучащих» русских и польских слов. Например:

окладъ — rama, oprawa obrazu;	*okład* — обкладывание, теплая примочка;
оконница — рама деревянная;	*okiennica* — ставень;
оковъ — miara żbożowa;	*oków, okucie* — оковка;
околѣть — umrzeć;	*okolić* — окружить сваями;
ослухъ — nieposłusznik;	*osłuch* — наслышка;
роскошь — zbytek, przesada;	*rozkosz* — сладость, сладострастие;
скотникъ — pastuch;	*skotnik* — дорога, по которой скот ходит на пастбище;
сличать — porównywać;	*zliczać* — сосчитать; считая, определить сумму;
уважать — poważać, szanować;	*uważać* — разобрать, рассудить;
умилять — wzruszać;	*umilać* — усладить;
упрятывать — chować;	*uprzątać* — прибрать, прибирать.

Видимо, свою работу над сравнительным словарем Линде начинал именно с установления, с подбора аналогичных «одинаково звучащих» слов.

Материал по русским источникам Линде собирал длительное время, особенно интенсивно — в последние годы жизни. По словам А. Белёвского, в картотеке Линде было 200 тысяч карточек с русскими примерами [16].

[16] A. Bielowski, указ. соч., стр. 5.

А. Х. Востоков, рассмотрев русскую часть сравнительного словаря [17], отмечал, что Линде включил в нее «слова, изъяснения их и примеры из печатных словарей, доселе вышедших, присовокупляя еще от себя примеры, выбранные им из разных новейших русских книг» [18].

Судя по многочисленным ссылкам Линде, в основе сравнительного словаря (его русской части) лежал Академический словарь, откуда автор заимствовал и толкования слов, и большую часть примеров. Ему были известны также словари П. Алексеева, П. Соколова, Ф. Рейфа, из которых он черпает материал. Порой он спорил с ними, особенно с последним. Условные обозначения источников, которыми пользовался Линде, не расшифрованы. Мы можем лишь отметить, что в числе его источников были, например, произведения Пушкина, Карамзина, Жуковского, Державина, Княжнина. Есть у него и многочисленные примеры из журналов,— например, из «Московитянина», «Северной пчелы», «Современника», «Журнала Министерства народного просвещения». Линде цитирует также русские летописи; примеры из них снабжены пометой «архаич.». Пометой «диал.» отмечены цитаты из украинских и белорусских источников, а также диалектизмы. В рамках нашей статьи нам приходится ограничиться кратким перечнем лишь некоторых русских источников, расписанных польским лексикографом; мы не ставили своей целью исследовать, насколько широко отразил Линде материал русского языка.

Польская часть сравнительного словаря основана на «Словаре польского языка». В правом столбце рукописи Линде оставлял иногда незаполненные места с пометкой «см. Словарь польского языка». Польская часть рукописи, о которой идет речь, была изучена А. Белёвским. Он надеялся использовать рукопись Линде для того, чтобы сделать возможные дополнения и поправки в тексте подготовляемого им второго издания «Словаря польского языка». «Линде,— пишет Белёвский,— работая над сравнительным словарем, подвергал более суровому рассмотрению текст своего польского словаря, исправлял его согласно своим первоначальным записям, а также дополнял более поздними наблюдениями» [19]. В рукописи сравнительного словаря Белёвский находит более точные объяснения польских слов, исправленные цитаты из польских авторов,— наконец, слова из старопольских источников, ранее не отмечавшиеся.

Таким образом, в процессе работы над сравнительным словарем Линде дорабатывал польский материал. Расположение польских словарных статей он подчинил своим сравнительно-лексикографическим планам.

IV. Чтобы говорить о том, как Линде понимал задачи сравнительной лексикографии, необходимо обратиться к предыстории создания рукописного «Русско-польского сравнительного словаря».

Начало научной деятельности Линде совпало с эпохой просвещения в Польше, точнее — с ее завершающей стадией (конец XVIII в.). Он был приверженцем и глашатаем философского рационализма, нашедшего отражение, в частности, в его понимании категорий языка. Наряду с «типичным рационалистически-идеалистическим кредо» у автора «Словаря польского языка» обнаруживаются «формулировки, отмеченные трезвым, разумным эмпиризмом» [20].

Материал различных славянских языков Линде собирал еще в период работы над польским словарем. Тогда же у него возникли планы создания сравнительного словаря «всех славянских диалектов», которые в представлении Линде были неразрывно связаны с задачами этимологии. Он видел свою конечную цель в том, чтобы «показать на отдельных языках, что человеческая речь, восходящая к немногим малым элементам, согласно определенным правилам, присущим человеческому разуму, выросла в неизмеримое богатство» [21]. Это и есть, по мнению Линде, цель науки, именуемой этимологией.

«Я заметил,— пишет далее Линде,— что не все звуки или буквы, составляющие слово, в равной мере существенны, что под этим углом зрения их необходимо различать самым тщательным образом и посредством точных наблюдений проследить их взаимную заменяемость; что корни слов следует соотнести с корнями других диалектов и других языков...» [22].

[17] Заметил попутно, что русской частью ограничилось знакомство Востокова с рецензируемой рукописью. Он писал: «Рукопись г. Линде писана столь нечетким почерком и по большей части столь бледными чернилами, что во многих местах весьма трудно разобрать оную, особливо в польском столбце, который я посему и пропускал вообще без внимания, стараясь разобрать русский столбец» (Журнал заседаний Имп. Российской АН», 8 IV 1839, цит. по указ. работе В. Францева, стр. 8).

[18] В. Францев, указ. соч., стр. 8.

[19] A. Bielowski, Przedmowa, в кн.: S. B. Linde, «Słownik języka polskiego», II, стр. III.

[20] W. Doroszewski, Przegląd historyczny słowników języka polskiego. «Słownik języka polskiego» pod red. W. Doroszewskiego, t. I, s. 10, Warszawa, 1958.

[21] S. B. Linde, Słownik.., Wstęp, 2 wyd., стр. XIII.

[22] Там же.

Свою теорию значимых или «радикальных» звуков Линде обстоятельно изложил в «Правилах этимологии», предпосланных «Словарю польского языка» [23]. Согласно этой теории, значимые звуки содержатся только в корне слова, и каждый корень можно свести к первичной группе «радикальных звуков», определяющих значение слова. Носителями значения считаются только согласные звуки; группы «радикальных звуков» состоят из двух или трех согласных. Предметом звукового анализа являются только согласные; автора «Правил этимологии» привлекают данные изучения различных сочетаний «радикальных звуков» и их взаимозаменяемости (т. е. чередование согласных в корне слова). Задача выяснения родства слова сводится к установлению общих «радикальных звуков» в сопоставляемых словах (принадлежат ли рассматриваемые слова к одному языку или к разным языкам — это вопрос второстепенный, для автора «Правил» несущественный).

В тот период, когда еще не возникло сравнительное языкознание, такие идеи не казались неоправданными, попытки Линде можно считать для своего времени закономерными. Однако уже А. Белёвский, почти современник Линде, но знакомый в общих чертах с достижениями сравнительного языкознания, смотрит на теории Линде иными глазами. «Филологи прошлого века,— пишет он,— имели большое сходство с художниками той поры, когда еще не было известно понятие перспективы. Отдаленные и близкие предметы они помещали в одном ряду, освещая их одинаковым светом. Звучание слова решало вопрос о его происхождении из близкого или более далекого языка, ибо еще не были установлены принципы, согласно которым можно было бы группировать языки с учетом их родства» [24]. Белёвский считал, что Линде не мог избежать недостатков подобного рода, но «то, что от него зависело, а именно — разумное и последовательное осуществление принципов, выработанных современной ему наукой, было в его труде столь совершенным, что он во многих отношениях заслуживает изумления и поклонения» [25].

Как «Словарь польского языка», так и планы составления сравнительного словаря славянских диалектов создавались накануне того великого переворота в языкознании, каким было возникновение сравнительно-исторического метода.

Задачи, которые ставил Линде в области сравнительной лексикографии и этимологии, не могли быть решены средствами современного ему языкознания. Несомненной заслугой Линде является «трезвый и разумный» подход к этим средствам, весьма осторожное их применение к лексикографической практике, умение отказаться от поспешных выводов (например, тех, которые ему подсказывала теория «радикальных звуков»).

Как известно, в первой половине XIX в. слависты — современники Линде — делали попытки создать этимологический словарь.

Так, П. Й. Шафарик собрал большой материал для словаря «славянских корней», но своей работы до конца не довел [26]. Первый русский этимологический словарь — «Корнеслов» Ф. Шимкевича — появился в 1842 г.; это была работа, слабая даже для своего времени [27]. Предшественником научной этимологии в России был А. Х. Востоков, долгие годы собиравший материал для этимологического словаря [28]. Итоги изысканий в области этимологии не удовлетворяли Востокова, публиковать свое «Этимологическое словорасписание» он не счел возможным, его работа известна лишь в рукописи. Важно отметить, что уже в 1820 г. Востоков выпустил в свет исследование, в котором нашел применение сравнительно-исторический анализ [29]. Между прочим, в этом исследовании Востоков рассмотрел взаимное соотношение русских и польских гласных звуков. Отношение Линде к этой работе Востокова нигде не было высказано. Можно только строить предположения относительно того, была ли она ему известна.

Планы словаря «всех славянских диалектов» были обречены на неудачу по причинам не только научным, но и организационным. Создание своего словаря Линде связывал с проектом организации «Польско-славянского общества», возлагая надежды на помощь ученых из разных славянских стран. Его проект не получил поддержки [30], Линде пришлось отказаться от составления словаря «всех славянских диалектов».

---

[23] S. B. Linde, Prawidła Etymologii, в кн. «Słownik języka polskiego» t. I, стр. XX—LXI.

[24] A. Bielowski, Przedmowa, в кн.: S. B. Linde, «Słownik języka polskiego», 1, wyd. II, стр. 38.

[25] Там же, стр. 38.

[26] См.: V. Flajšhans, Životní dílo P. J. Šafařika, «Bratislava», V, 2, 1931.

[27] См.: Р. М. Цейтлин, Краткий очерк истории русской лексикографии, М., 1958, стр. 48—49.

[28] По словам В. Францева, с этой целью Востоков тщательно изучал польский словарь Линде (см.: В. Францев, указ. соч., стр. 15).

[29] А. Х. Востоков, Рассуждение о языке славянском, служащее введением к Грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным памятникам, М., 1820.

[30] См. об этом в ст.: В. Францев, Проект польско-славянского ученого общества С. Б. Линде, РФВ, 1911, 2.

V. Вскоре после издания «Словаря польского языка» Линде заинтересовался библиографией русской литературы и опубликовал критический обзор книги В. Сопикова «Опыт российской библиографии». Позже он перевел «Опыт краткой истории русской литературы» Н. Греча. Можно считать, что уже в это время «русские темы» занимали в его научных планах значительное место. В предисловии к переводу книги Греча Линде пишет: «Нам необходим хороший русско-польский и польско-русский словарь; но этого недостаточно, нужен труд, который сравнительным путем вскрыл бы во всех подробностях не только грамматических, но особенно лексикографических, различия между русским и польским языком, объяснил бы их и сблизил при помощи других братских языков, всеобщей грамматики и лексикографии» [31].

Таким образом, в 1823 г. Линде впервые пишет о русско-польском словаре как о словаре сравнительном, хотя цели составления такого словаря изложены им очень неясно. Из приведенного высказывания видно, что исследовательским целям сопутствовали цели общекультурного характера, стремление найти пути сближения родственных славянских языков и создания единого языка, общего для всех славян [32].

Теоретическое кредо, изложенное в «Правилах этимологии» (1807), не было воплощено в дальнейших лексикографических работах Линде. К периоду сравнительного русско-польского словаря вряд ли можно в полной мере отнести его прежние идеи, касающиеся сравнительного изучения лексики славянских языков. Все же некоторые из этих идей продолжали оставаться в силе и нашли отражение в рукописном сравнительном словаре. Так, сопоставления, предлагаемые в словаре, носят явный отпечаток его ранней теории «радикальных звуков». Среди выделенных им пар «одинаково звучащих» слов подчас оказываются родственные слова, восходящие к одному славянскому корню,— ср., например, такие пары, как *борода — broda, ворона — wrona, врата — wrota, голова, глава — głowa*. Вместе с этим делаются сопоставления такого типа, где родство слов, а также и их семантическая связь по меньшей мере сомнительны: *опричникъ — opryszek* (разбойник), *одръ — odra* (корь, название болезни), *ряпуха* (вид лосося) — *ropucha* (жаба).

Бóльшая часть «одинаково звучащих слов», приводимых в сравнительном словаре — это слова, семантическая и этимологическая связь которых не изучалась, она представляется неясной и проблематичной. В числе сопоставляемых русских и польских слов имеются слова разной степени формальной и семантической близости, например:

варяти, варити «предшествовать, наперед идти» — *wara* «ustąp się, na stronę»,

душникъ, «небольшое отверстие, делаемое в оконницах для впускания в покои свежего воздуха» — *dusznik* «duszy nieprzyjaciel»,

околѣвать, околѣть «1. умирать, 2. от стужи цепенѣть, озябать» — *okolić* «окружить, обсадить сваями»;

опрятный «ochędóżny», *oprzętny* «рачительный, заботливый, деятельный»;

опыт «próba, doświadczenie» — **opyt, opytka* «распрос, повальный обыск, розыск»;

оковъ «miara zbożowa» — ków «оковка»;

огонки, огонокъ «в меховом промысле хвост у соболя», *ogonek* «хвостик»;

околичность «obwód» — okoliczność «обстоятельство, приключение»;

овчина — owczyna «огарок, остаток недогоревшей свечи»;

оглашать, оглосить — ogłaszać «провозглашать, обнародовать»;

опутать «opętać, obwiązać» — *opętać* «опутать»;

околица «1. окрестность, 2. окрестная, непрямая дорога» — *okolica* только в первом значении;

оглавъ «nagłówek u uzdy» — *ogłów, ogłowie* «намордник»;

оголить, оголять — ogolić «обрить»;

орденъ «order, zakon» — *order* «1. приказ, 2. орден»;

осада «oblężenie» — *osada* «1. оправа, 2. основание, 3. колония, селение»;

ослухъ «nieposłusznik» — *osłuch* «наслышка, то, что не сам виделъ»;

ослушаться «być nieposłusznym» — *osłuchać się* «прислушаться, привыкнуть к какому-либо звуку, голосу»;

отделать «wykończyć dzieło» — *oddziałać* «1. против действовать, отражать, упорствовать, 2. наградить, отметить, 3. отвратить, отколдовать»;

оконница «рама деревянная со стеклом» — *okiennica* ставень»;

окладъ «rama, oprawa obrazu» — *okład* «обкладывание, теплая примочка»;

отживать, отжить — odżyć «ожить, воскресать, оживотвориться»;

рѣзвиться — rzeźwić, orzeźwić kogo «оживить, одушевлять, ободрить, развеселить»;

---

[31] S. B. Linde, Wstęp, в кн.: M. Grecz. Rys historyczny literatury rosyjskiej, Warszawa, 1823.

[32] Линде выражал надежду, что таким языком станет польский, что «наш польский язык возьмет верх и будет господствовать в славянских землях» (Письмо Яну Снядецкому, 6 VII 1813, цит. по указ. ст. Михальского, стр. 361). Попытки «сближения» русского и польского языков нашли отражение и в рассматриваемой нами рукописи, но их изучение не входит в наши задачи.

роскошь «излишнее удовлетворение мнимых нужд, предпочитая в вещах редкость и платя за оные дорого» — *rozkosz* «сладость, прохлада, довольствие, сладострастие, сластолюбие»;

рубаха — *rubacha* «забавник, весельчак, буеслов, кощун, низкий шут»;

сомнѣніе, сумнѣніе «wątpienie» — *sumnienie* «совѣсть»;

сполохъ, сполошный «тревожный» — *spłoszony* «напуганный, согнанный с места», *popłoch* «пустой страхъ, робость, ужас»;

сажалка «sadz ruchomy na ryby» — *sadz, sadzawka* «садок, сажалка, ящик деревянный для сохранения рыбы»;

свѣрять «одно с другимъ сличать»,— *zwierzyć, zwierzać* «вверить, вверять, поручать, сообщать тайну»;

сгодиться «быть нужну» — *zgodzić się* «согласиться», *zgodzić kogo* «подрядить, нанять»;

скрутить — *skręcić*;

скотникъ «pastuch» — *skotnik* «выгон, дорога, по которой гоняют стада на пастьу»;

святыня — *swiątynia* «1. храмъ, 2. церковь, 3. святилище»;

скарбъ «sprzęty domowe» — *skarb* «сокровище, клад, казна»;

ублажать, ублажить — *ubłagać* «умолить, упросить»;

уважать «уважать, оказывать почтение» — *uważać* «разбирать, разобрать, рассудить»;

угнетать «przygniatać» — *ugniatać* «жать, ужимать»;

угождать, угодить «удовлетворить чьей воле» — *ugodzić* «попасть, уцелить, уметить»;

уголь — *węgiel*;

упрятывать «chować» — *uprzątać* «прибрать, прибирать»;

укосъ «количество травы скошенной» — *ukos* «косвенное направление, отлогость», *ukośny* «косый, косвенный»;

Теория «радикальных звуков» не только служит основой для установления пар русских и польских «одинаково звучащих слов»; с помощью понятия «радикальный звук» Линде объясняет изменения семантики слова, ставя их в непосредственную связь с наличием отдельных звуковых элементов, «значащих» согласных в слове. Например, он пишет: «В русском для выражения продолжающегося действия употребительно не *м* (как в польском), а *в*: *вдунуть — вдувать*, ср. *wdąć, wdiwać*; *задуть — задувать*, ср. *zadąć — zaduwać*». Ср. также следующее наблюдение Линде: «В русском *дурь, дура* указывает на изъян разума, рассудка. Когда в производных словах появляется в середине *н*, значение переходит от изъяна рассудка к изъяну внешности, слово обозначает физический недостаток. Отсюда разница между *дуреть* и *дурнеть*» (рукопись сравнительного словаря, т. II, стр. 580). Линде указывает, например, на «хорошо выказанное и соблюденное различие между прилагательными *духовный* и *духовый*, отличающимися на письме согласною *н*; касательно же значения, первое относится к духу как существу сверхчувственному, второе — как к существу воздушному, дыхательному...» (там же, стр. 580). Такие приемы анализа слов характерны и для «Правил этимологии», и для сравнительного словаря.

По всей вероятности, надо признать, что закономерности развития родственных языков, которые осуществляются прежде всего в звуковом строе, остались для Линде неразгаданными. Сравнивая слова по внешнему звуковому облику, Линде часто допускает их сближение по случайным признакам. Установление пар одинаково звучащих слов было для Линде определенным приемом его лексикографической практики. Вполне очевидна связь этого приема с этимологизированием, с попытками рассмотреть семантические связи между сопоставляемыми словами, принадлежащими к двум родственным славянским языкам. Вероятно, одинаково звучащие русские и польские слова, рассмотренные в плане их семантических связей (в том числе и материалы сравнительного словаря Линде, если бы их можно было использовать), представили бы известный интерес — например, в тех случаях, когда, сравнивая их значения, можно попытаться найти семантическое «промежуточное звено». Этимологизирование Линде и сводится, как правило, к попыткам установить смысловые связи между сопоставляемыми словами, его интересовало смысловое сходство и различие этих слов, семантические сдвиги, которые он устанавливает умозрительно, посредством чисто логических ассоциаций.

Изучение истории лексики, видимо, его не привлекало. Как нам кажется, он имел основания считать, что Востоков, советовавший ему подойти к сравнительному словарю с точки зрения истории конкретных заимствований в русском языке из польского, не разгадал его замысла [33].

В некоторых пояснительных замечаниях, содержащихся в рукописном сравнительном словаре, Линде сопоставляет целые лексические гнезда, образованные от одинаково звучащих русских и польских слов.

[33] Ср. В. Ф р а н ц е в, указ. соч., стр. 11.

Например, сопоставляя глаголы *дать*, *давать* и *dać*, *dawać*, он указывает на их связь со словами *дар*, *даровать*, *дарить*, *даром* и *dar*, *darmo*, а также отмечает, что «по звуковому составу *даръ* отличается от первого корня *да-* своей согласной *р*, а по значению связан с первым и ограничивает понятие давания дополнением, что давание бесплатное, без вознаграждения, в качестве подарка» (рукопись сравнительного словаря, т. II, стр. 37).

Интересны замечания Линде к глаголу *хватать*. «Словарь Академии, а за ним и Рейф, различают как два отдельные корня *хватать* и *хитить* без сравнения с польским **chycić*, *chwycić*, *chwytać*». Линде пишет, что как русские, так и польские слова являются в данном случае «только модификациями, происходящими от одного корня *chyt*, *chwyt*, *chwat*» (Рукопись сравнительного словаря, т. I, стр. 839).

Основываясь на соотношении простых и более сложных производных образований, Линде пытается проследить пути развития семантики и касается собственно этимологических задач. В его пояснительных замечаниях содержится много верных наблюдений, подсказанных интуицией опытного лексикографа, который, видимо, по преимуществу оставался лексикографом-практиком. В качестве примера мы приведем замечания Линде к словам *дуть*, *дунуть*. «Русское *дуть*, *дунуть* представило необходимость поместить здесь в *dąc*, *dunąć* как в собственном, так и в весьма переносном значении исчезания, убежания; с другой стороны, польское *dąć*, в настоящем времени *dmie*, *dmę* оправдывает помещение здесь не только русского *дмить*, *дмиться*, но и прочих польских слов *dma*, *dmuch*, *dmuchać*. Свойство букв глагола *dąć дуть*, равно как и переносно-нравственного значения его, осмелило меня поместить здесь даже польские слова *dąsy*, *dąsać się*. Принужденный алфавическим порядком, прерываю здесь невольно эту идеологическую цепь, оставляя слова *dech*, gen. *tchu*, глагол *tchnąć*, *dychać*, *dyszeć*, равно как *duch*, *dusza*, *dusić*, *dyszeć*, *dychać*, *dychawica* с производными их словами, свойственному им алфавитическому месту при русских словах *дыхание*, *духъ*, *душа*, *душить*, *дышать*, *дыхание*, *дохнуть*, *дхнуть*, *дымъ* etc. Разделивши таким образом эту главную группу на несколько меньших, возможно будет с большим удобством рассматривать их весьма обильное свойство. Непосредственно от глагола *дуть* происходящие слова суть следующие: *дуванъ*, *дуло*, *дульце* etc. В польском пребывают здесь все сложенные с глаголами *dmuchać*, например, *dodmuchać*, *nadmuchać*, etc. Прочія происходящія от *дуть*, *дунуть*, *дмить* как то: *духъ*, *душекъ*, *воздухъ*, *душа*, *душка*, *душевить*, *душить*, *дышать*, *дохнуть* с их опять производными смотри каждое на соответственном им алфавическом месте (там же, т. II, стр. 291). Далее Линде пишет: «В соединении с выше помещенными примечаниями после слов *дуть* и *духъ*, прибавляем здесь еще некоторые, относящиеся к этой группе слова — *душа* и т. д., к которым ниже присоединяются слова *дышать*, *дышать* с предшествующим им *дымъ*. Во всех этих группах виден переход от физической, непостоянной чувственности к высшей и самой возвышенной умственности» (там же, стр. 324). «В русском замечать нужно различия слова *душникъ* от польского *dusznik*, *dusznica*. *Душевный* — **duszewny* в польском редко употребительно, вместо него употребляется *duszny*, однако здесь некоторым образом мешает другое физическое значение духоты, пара, воздуха. Наречию *душевно* отвечает польское *duszno*, которое различать нужно от наречия *duszno*» (там же, стр. 325). Ниже Линде отмечает: «Достойно примечания в польском значении слова *dymnice-duny* „песчаные бугры на берегу моря". Ср. ger. *der Dunn*, franc. *Dunes*, Holl. *duynen*, angl. *downs*, ср. польск. *dunąć*, русск. *дунуть*...». Приведенные выдержки из пояснительных замечаний Линде в силу необходимости очень кратки, но они дают хотя бы некоторое представление о характере его наблюдений и о стиле его примечаний.

VI. Подводя итоги сказанному, следует отметить, что материалы сравнительного русско-польского словаря позволяют говорить о четком размещении автором словарного материала, об определенных принятых им приемах описания лексики (сопоставление «одинаково звучащих слов»), о характере этимологизирования. Сказанное нами касается незавершенного труда, в котором начинания автора осуществлены не до конца. Лексикографические приемы сравнительного описания лексики были несовершенными и вполне могли послужить той причиной, по которой труд Линде не был осуществлен.

После критики сравнительного словаря А. Х. Востоковым, который счел словарь слишком громоздким и преждевременным, Линде пошел по пути использования собранных им материалов для составления словаря русского языка. Если судить по изданным в 1845 г. «Материалам для сравнительного словаря русского языка», намерение работать над словарем русского языка означало отказ от попыток этимологизирования, было поворотным пунктом, изменившим первоначальные сравнительно-лексикографические планы Линде. «Материалы для сравнительного словаря русского языка» не отражают направления той работы, которую проделал Линде, готовя сравнительный русско-польский словарь. Эту публикацию можно считать опытом составления статей для русского словаря, но не «пробным выпуском» сравнительного словаря, как неоднократно отмечалось в литературе вопроса»[34].

[34] См., например: Nowy Korbut, Oświecenie, 5, стр. 257.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В ЖУРНАЛЕ «TÜRK DİLİ» (1960—1970) [1]

Журнал «Türk dili» (далее — TD) является главным печатным органом «Общества турецкого языка» («Türk dil kurumu»), пропагандирующим его языковую политику, основные принципы которой изложены в «Декларации» [2]. В своей деятельности, направленной на очищение турецкого языка от иноязычных элементов и на создание некоего идеального «чистого турецкого языка» (Öz Türkçe), «Общество» руководствуется, как это указано в «Декларации», принципом «революционной сознательности», на основе которого допускается активное вмешательство в языковое строительство, в процессы очищения турецкого языка от любых заимствований. При этом «Общество» опирается на «научные методы» словотворчества, пополняя словарный состав языка не путем изобретательства слов (uydurma), а посредством сбора слов из народного языка и диалектов (halk ağzından derlemeler) и из литературных памятников (eski metinlerden taramalar). «Общество» подтвердило свои пуристические воззрения, заявив о стремлении к полному очищению и обновлению турецкого языка.

Более умеренную точку зрения на перспективы развития турецкого языка занимает видный турецкий филолог и деятель «Общества» А. С. Левенд в статье «Что такое чистый турецкий язык?» [3]. Полагая, что «чистый турецкий язык» и есть современный турецкий язык, Левенд считает вполне закономерным присутствие в нем иноязычной лексики, в которой выделяются, с одной стороны, ассимилировавшиеся за многовековой период заимствования, а с другой — иностранные слова, которым в турецком языке не найдено пока эквивалентов. Совершенствование языка и приближение его к идеалу автор видит в создании и внедрении в язык таких эквивалентов. В другой программной статье «Исследования турецкого языка» [4] А. С. Левенд, призывая шире развернуть изучение истории турецкого языка, указывает, в частности, на необходимость создания «Исторического словаря турецкого языка» («Türkiye Türkçesinin tarihî sözlüğü»), который мог бы стать источником пополнения лексики современного турецкого языка.

Об остроте языковой ситуации в современной Турции свидетельствует создание в 1966 г. «Общества защиты и развития турецкого языка» («Türk dilini koruma ve geliştirme cemiyeti»), явившегося своего рода антиподом созданного в 1932 г. Ататюрком «Общества турецкого языка» («Türk dil kurumu»). На страницах TD программа нового «Общества» была обсуждена как реакционная, прежде всего, за призыв к сохранению норм старого османского языка [5].

Проблемы «языковой революции» (dil devrimi) и ее связи с различными аспектами жизни современного турецкого общества занимают видное место на страницах журнала [6]. Однако удельный вес

[1] «Türk dili». Aylık dil ve edebiyat dergisi, 107—223, Ankara, 1960—1970. Обзоры за предыдущие годы см. ВЯ, 1957, 4 и 1960, 6.

[2] «Bildiri», TD, 166, 1965. См. также: Ö. A. A. Türk dil kurumu otuz üç yaşında, TD, 169, 1965.

[3] A. S. Levend, Öz Türkçe nedir?, TD, 219, 1969.

[4] A. S. Levend, Türk dili araştırmaları, TD, 186, 1967.

[5] Ö. A. A., Türk dilini koruma ve geliştirme cemiyeti, TD, 181, 1966; H. Ediskun, Türk dilini koruma ve geliştirme cemiyeti, TD, 180, 1966.

[6] A. R. Önder, Dilde değişme, devrim-evrim ilişkileri, TD, 180, 1966; его же, Bilim, din ve siyasa açısından dil devrimi, TD, 183; его же. Dil devriminin türkçeye kazandırdıkları, TD, 185, 1967; H. Batuhan, Dil devrimi üzerine düşünceler, TD, 191, 1967; T. Yücel, Dil devrimi ve kurallar, TD, 200, 1968.

собственно лингвистических исследований в TD за последние десять лет значительно сократился по сравнению с предыдущим десятилетием; большое место стали занимать произведения как турецких, так и иностранных писателей, а также литературоведческие, критические и искусствоведческие статьи. С начала 60-х годов стали издаваться специальные выпуски журнала, посвященные проблемам литературной критики (TD, 142, 1963), театра (TD, 178, 1966), кино (TD, 196, 1968), фольклора (TD, 207, 1968), драматургии (TD, 214, 1969).

Исследования в области турецкого языка на страницах журнала велись почти по всем основным разделам языкознания; вопросы фонетики турецкого языка за данный период в журнале почти не освещались. Вопросы турецкой диалектологии косвенно отражены в статье М. Уйгунера «Следы местных говоров в рассказах Саит Фаика», в которой внимание уделено фонетическим и лексическим особенностям восточноанатолийских, причерноморских, румелийских и других говоров турецкого языка в произведениях этого известного турецкого писателя [7]. В статье М. Анда «Карагёз, персонажи и персонификация в народном театре» проводится фонетический анализ турецкой речи отдельных персонажей — носителей различных диалектов турецкого языка и представителей других народностей (лазов, курдов, армян, евреев, албанцев, цыган и пр.), говорящих на турецком языке [8].

Проблемы лексики и терминологии занимают главное место в журнале, являясь наиболее острыми в развитии современного турецкого языка. Несмотря на широкое внедрение заимствованных из европейских языков терминов, в журнале упорно отстаиваются пуристические идеи замены этих терминов исконно турецкой лексикой [9]. Основным и единственным источником образования терминологии признается только сам турецкий язык, и при этом игнорируется существование значительного слоя интернациональной терминологии. Много статей посвящено как прошлому [10], так и настоящему в развитии терминологии, относящейся к различным отраслям науки и общественной жизни Турции, а также морфологическим средствам образования терминов-неологизмов [11]. Несколько статей касается турецкой юридической терминологии, которая, несмотря на относительную консервативность, существенным образом модернизировалась [12]. В статье О. А. Аксоя «Очищение языка права» приводятся статистические данные, свидетельствующие о темпах развития в этой отрасли терминологии: если за 60 лет до 1937 г. исконная турецкая лексика в юридическом языке увеличилась с 16% до 35%, то за 30 лет после 1937 г. ее состав возрос с 35% до 75% [13].

Конкретные проблемы медицинской терминологии разбираются в статьях А. Ёрюкоглу «Языковая революция и язык медицины» и Ф. Динчера «Турецкие соответствия названий болезней в народном языке» [14]. Экономической терминологии посвящена статья М. Уйгунера «Проблема термина в турецких стандартах» [15]. Публиковались и статьи, касающиеся этимологического анализа отдельных слов и терминов [16].

Интерес представляет статья К. Юнда «Наименования ремесел у тюрок в XIII и XIV вв.», в которой приводится список терминов, обозначавших ремесла и ремесленников и отмеченных в словаре «Hilyetül-insan ve Helbetül-lisan» Ибн-Муханны [17].

Проблемы ономастики отражены в статье А. Р. Ондера «О наших фамилиях», где выделяются наиболее продуктивные в настоящее время форманты, образующие фамилии: *-oğlu*, *-gil*, *-ler*, *-li*, *-ci* [18].

На страницах TD освещался ряд общих проблем турецкой морфологии; наиболее значительные статьи по грамматике и лексике, помещенные в журнале, были изданы отдельным сборником «Проблемы языкознания» [19].

Среди работ по турецкому словообразованию, опубликованных в журнале, следует отметить серию полемических

[7] M. Uyguner, Sait Faik'in hikâyelerinde yersel ağızların izleri, TD, 212, 1969.

[8] M. And, Karagöz ve orta oyununda kişiler ve kişileştirme. I—III, TD, 184—186, 1967.

[9] См., например: H. R. Çongur, Uluslararası terimler ve özleşme akımı, TD, 199, 1968.

[10] O. Hançerlioğlu, Osmanlıcada terim kargaşası TD, 202, 1968.

[11] H. Ediskun, Dilde uydurmacılık, TD, 111, 1960.

[12] См., например: A. Erdoğdu, Yasaların dili, TD, 173, 1966.

[13] Ö. A. Aksoy, Hukuk dilindeki özleşme, TD, 133, 1962.

[14] A. Yörükoğlu, Dil devrimi ve hekimlik dili, TD, 198, 1968; F. Dinçer, Hastalık adlarının halk dilindeki Türkçe karşılıkları, TD, 211, 1969.

[15] M. Uyguner, Türk standartlarında terim sorunu, TD, 213, 1969.

[16] H. Ediskun, «Orinag. örnek ve örneğin hikâyesi», TD, 183, 1966; E. N. Gökşen, İki terim. TD, 217, 1969.

[17] K. Yund, XIII, ve XIV. yüzyıllarda türklerde sanat adları, TD, 201, 1968.

[18] A. R. Önder, Soyadlarımız üzerine, там же.

[19] «Türk dili kurumu yayınları. Dilbilgisi sorunları», Ankara, 1967.

статей Х. Эдискуна и З. Коркмаз, по вопросу о генезисе словообразовательного аффикса *-l, -al, -sal*, образующего относительные прилагательные. Х. Эдискун приводит обширный фактический материал из тюркских литературных памятников и современного турецкого языка, аргументируя исконность происхождения аффикса [20]. З. Коркмаз стремится доказать монгольское происхождение этого аффикса [21].

Усилительным формам имен прилагательных в современном турецком языке посвящены статьи Э. Н. Гёкшена и М. А. Агакая [22]. В статье Э. Н. Гёкшена на материале «Divanü lugat-it-Türk» и других более поздних памятников (XV—XVII вв.) анализируются синтетические усилительные формы прилагательных (в приложенном к статье списке насчитывается 78 словоформ). Известный турецкий лексиколог М. А. Агакай показывает механизм образования таких прилагательных в современном турецком языке в зависимости от фонетического состава основ этих прилагательных.

В статье советского турколога К. М. Любимова «Категория наклонения в современном турецком языке и глаголы, образованные посредством аффиксов наклонения» разграничиваются две функции категории наклонения — грамматическая и лексическая [23]. В статье К. Аджарлара «Причины семантических сдвигов в глагольных наклонениях» отмечены интересные факты употребления времен и наклонений в турецком языке в несвойственных им значениях (например, долженствовательное наклонение в значении желательного, будущее время в значении повелительного наклонения) [24]. В его же статье «Аорист в турецком языке» анализируется с точки зрения исторической продуктивная в современном турецком языке глагольная форма на *-r*, используемая во всевременном значении, а также в значении прошедшего, настоящего и будущего времени [25].

В статье О. Кайнака союзы в турецком языке рассматриваются с точки зрения их морфологической структуры, выделяются одночленные и составные; исходя из синтаксического функционирования, автор различает союзы, которые соединяют только слова, и союзы, которые соединяют только предложения, а также выделяет универсальные союзы, служащие для связи и слов и предложений [26]. Статья Т. Н. Генджана посвящена синтаксическому анализу одного из наиболее распространенных парных союзов в турецком языке — *ne ... ne* [27]. На материале памятников турецкой литературы и фольклора автор делает попытку разграничить употребление данного союза и другого парного союза *da ... da*, рекомендуя использовать *ne ... ne* только при отрицательной форме глагола. Э. Н. Гёкшен касается разграничения синтаксических функций союза *ve* «и» и послелога *ile* «с» [28].

Значительное количество статей по синтаксической тематике связано с полемикой по поводу устанавливаемой некоторыми турецкими лингвистами специальной синтаксической категории «объект со служебным словом» (edat tümleci), его соотнесенности с другими членами предложения [29].

В статье «Модели предложения» Э. Оздемир выделяет основные типы простых турецких предложений по составу их второстепенных членов, обусловленному лексико-грамматическим значением главного конструирующего члена предложения — сказуемого в действительном или страдательством залоге [30].

В статье «Инвертированное предложение» К. Аджарлар, выясняя различные жанры языка, в которых особенно распространена инверсия, на фольклорном материале и на образцах современной турецкой литературы устанавливает ее значение [31]. В диахроническом плане рассматривает ту же проблему Э. Н. Гёкшен

[20] H. Ediskun, *-el, -il, -sel* ekleri üzerine, TD, 179, 1966; его же, Yine *-el, -il, -sel*, ekleri üzerine, TD, 184, 1967.

[21] Z. Korkmaz, Türkçede *-l* eki (*-al/-el, -il/-il, -ul/-ül; -sal/-sel*), TD, 181, 1966, 187—188, 1967.

[22] E. N. Gökşen, Eklemeli pekiştirme sıfatları, TD, 149, 1964; M. A. Ağakay, Pekiştirmeli sıfatlar, TD, 156, 1964.

[23] K. Lübimov, Çağdaş Türkiye Türkçesinde çatı kategorisi ve çatı ekleriyle türetilen fiiller, TD, 147, 1963.

[24] K. Acarlar, Fiil kiplerindeki anlam kaymalarının nedenleri, TD, 213, 1969.

[25] K. Acarlar, Türkçede geniş zaman (muzari), TD, 203, 1968.

[26] O. Kaynak, Türkçede bağlaçlar, TD, 209, 1969.

[27] T. N. Gencan, *Ne ... ne* bağlacı üzerine, TD, 220, 1970.

[28] E. N. Gökşen, «Ve» — «ile», TD, 137, 1963.

[29] B. Akgül, Edat tümleçleri, TD, 190, 1967; его же, Gene edat tümleçleri, TD, 195; T. N. Gencan, Edat tümleçleri, TD, 192; его же, Edatlar ve edat tümleçleri, TD, 198, 1968; K. Demiray, Edat tümleçleri konusundan doğan düşünceler, TD, 193, 1967; его же, Edatlar üzerine, TD, 199, 1968; H. Dizdaroğlu, Edat tümleçleri üzerine, TD, 197; M. Tuğrul, Tümleç tartışması üzerine, TD, 199.

[30] E. Özdemir, Cümle kalıpları, TD, 184, 1967.

[31] K. Acarlar, Devrik cümle, TD, 210, 1969.

в статье «Инвертированное предложение в историческом развитии» [32].

Различные проблемы тюркского синтаксиса разрабатываются на материале отдельных литературных памятников, произведений различных авторов и определенных литературных жанров. В статье «Атрибутивные словосочетания в сказаниях Деде-Коркута» И. З. Бурдурлу устанавливает в этом памятнике XV в. восемь типов атрибутивных словосочетаний, исходя из лексико-семантических, морфологических и этимологических признаков их определяющих членов [33]; примерно такая же классификация приводится и в другой его статье «Атрибутивные словосочетания в стихах Орхана Вели Каныка» [34]. Анализируя структуру простого предложения в Книге Деде-Коркут, И. З. Бурдурлу приводит к выводу, что динамичному языку кочевых турок соответствовали структуры простых предложений; количество сложных предложений было сравнительно невелико [35]. Синтаксические структуры турецких пословиц разбираются в статьях В. Хатиboглу «Пословицы и речения» и И. З. Бурдурлу «Структуры предложений в наших пословицах» [36], отмечается специфичность структур пословиц и определяется морфологический состав членов этих структур.

Вопросы истории языка и лингвистического анализа литературных памятников тюркских народов и произведений классиков турецкой литературы затрагиваются в целом ряде статей различных авторов.

В 1969 г. были опубликованы статьи А. С. Левенда «900-летний юбилей со дня написания „Кутадгу-билиг“ и А. Дильачара «900-летний юбилей „Кутадгу-билиг“ и Юсуф Баласагунский» [37]; в них делается попытка установить связь и преемственность между мировоззрениями Платона и Аристотеля и исламской философией, одним из представителей которой был Юсуф Баласагунский.

Великому узбекскому поэту и общественному деятелю Алишеру Навои посвящен специальный номер журнала TD (173, 1966). В передовой статье А. С. Левенда описывается жизненный путь и творчество великого поэта [38]. Статьи Х. Диздароглу, А. Дильачара и М. Ф. Кырзыоглу посвящены деятельности Алишера Навои, направленной на утверждение родного языка в качестве литературного; в статьях приводятся высказывания поэта о преимуществах тюркй в отношении фонетики, лексики и грамматики по сравнению с персидским языком, являвшимся в средние века языком поэзии на мусульманском Востоке [39]. В статье А. Джафероглу «Тюркоязычная „Хамса“ Навои» подчеркивается значение тюркоязычного творчества Алишера Навои для развития языка и литературы и тюркских народов[40]. В статье Х. Эдискуна «„Хосров и Ширин“ Кутба и его языковые особенности» разбирается изданная в 1968 г. одноименная книга М. Н. Хаджиеминоглу и содержатся главным образом критические замечания по поводу терминов и анализа некоторых грамматических формантов в этом памятнике XIV в.[41].

Статья Т. Аджароглу «Кирилл и его влияние» раскрывает роль основателя славянской графики в развитии славянской литературы [42].

Общим проблемам эволюции турецкого литературного языка посвящены статьи известного турецкого писателя О. Ханчерлиоглу «Язык в турецкой литературе» и Х. Мазыоглу «Течение за очищение языка в литературе диванов» [43].

В журнале печатаются статьи о языковых особенностях произведений турецких писателей, об их отношении к проблемам языка. К числу таких относятся статьи А. С. Левенда «Зия Гёкальп и турецкий язык», М. Уйгунера «Галлицизмы в рас-

---

[32] E. N. Gökşen, Tarih boyunca devrik cümle, TD, 122, 1961.

[33] İ. Ż. Burdurlu, Dede Korkut hikâyelerinde sıfat takımları, TD, 203, 1968.

[34] İ. Ż. Burdurlu, Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinde sıfat takımları, TD, 210, 1969.

[35] İ. Z. Burdurlu, Dede Korkut hikâyelerinde cümle yapısı, TD, 183, 1966.

[36] V. Hatiboğlu, Atasözleri ve deyimler, TD, 152, 1964; İ. Z. Burdurlu, Atasözlerimizin cümle yapıları, TD, 187—188, 1967.

[37] A. S. Levend, Yazılışının 900. yıldönümünde Kutadgu Bilig, TD, 211, 1969; A. Dilâçar, Kutadgu Bilig'in 900. yıldönümü (1069—1969) ve Balasagunlu Yusuf, там же.

[38] A. S. Levend, Ali Şir Nevaî, TD, 173, 1966.

[39] A. Dilâçar, Nevaî'nin dil anlayışı, там же; H. Dizdaroğlu, Nevaî'de dil bilinci, там же; M. F. Kırzıoğlu, Türk dilini sevme bakımından Nevaî'nin yeri, там же.

[40] A. Gaferoğlu, Nevaî'nin türk dilli «Hamse»si, там же.

[41] H. Ediskun, Kutb'un Hüsrev ü Şirin'i ve dil hususiyetleri, TD, 211, 1969.

[42] T. Acaroğlu, Kiril ve etkileri, TD, 220, 1970.

[43] O. Hançerlioğlu, Türk edebiyatında dil, TD, 164, 1965; H. Mazıoğlu, Divan edebiyatinda sadeleşme akımı, TD, 165, 1965.

сказах Саит Фаика», И. З. Бурдурлу «Языковая структура „Зеленой ночи“» [44], где анализируется этот роман Р. Н. Гюнтекина.

Значительное место в журнале уделяется проблемам орфографии, орфоэпии и культуры речи. «Новый орфографический словарь», регулярно переиздаваемый «Обществом турецкого языка», широко рецензируется и обсуждается на страницах журнала [45]. В статье А. Дильачара «По поводу 39 годовщины перемены алфавита» подводятся позитивные итоги введения в 1928 г. латинского алфавита, основанного на фонематическом принципе и более соответствующего фонетическому строю турецкого языка, чем арабская графика [46].

Особое внимание уделяется языку радио как одному из главных средств установления орфоэпических норм. В ряде статей, анализирующих с этой точки зрения языка радио, обсуждается, насколько он соответствует движению за «чистый турецкий язык»; авторы отмечают, в частности, влияние английского языка на произношение собственных имен и топонимов в турецком языке [47]. По данным специального опроса, проведенного в Турции с целью выявить отношение населения к языку радио, 76% радиослушателей положительно оценивают язык радио и только 7% признало его «слишком чистым турецким языком» (fazla öz türkçe) [48].

Вопросам соотношения орфографических и орфоэпических норм посвящена статья В. Хатибоглу «Орфографический словарь и разговорная речь», в которой прозвучал призыв к сохранению существующих орфографических норм, независимо от их соответствия произносительным нормам [49].

Статья А. С. Левенда «Обзор развития газетного языка» содержит краткий анализ языка прессы в периоды Танзимата, Мешрутиета и в современной Турции. По сведениям автора, за 70 лет в языке турецкой прессы содержание собственно турецкой лексики возросло с 15% до 65% [50].

В журнале публикуются персоналии видных лингвистов-тюркологов как турецких, так и иностранных. Ноябрьский номер журнала ежегодно посвящается основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку, принимавшему деятельное участие в языковом строительстве в Турции [51]. Специальный номер журнала был посвящен известному турецкому литературоведу и филологу, одному из идеологов пуризма в Турции Н. Атачу, внесшему заметный вклад в современную турецкую лексикологию и науку о турецком синтаксисе [52].

Журнал «Türk dili» за период 1960—1970 гг. в значительной мере принял литературно-филологическое направление. Публикация чисто лингвистических исследований существенно сократилась, в результате чего некоторые лингвистические аспекты не отражены или недостаточно отражаются на страницах журнала (например, диалектология, фонетика и фонология, общая теория языка, социолингвистика и пр.). В то же время журнал настойчиво и последовательно проводит пуристическую политику «Общества турецкого языка», направленную на полное очищение турецкого языка от иноязычных элементов.

А. Н. Баскаков

---

[44] A. S. Levend, Ziya Gökalp ve Türk dili, TD, 193, 1967; M. Uyguner, Sait Faik'in öykülerinde Fransızca sözcükler, TD, 200, 1968; İ. Z. Burdurlu, «Yeşil gece» nin dil yapısı, TD, 204, 1968.

[45] Ö. A. Aksoy, Yeni şmlâ kılavuzu, TD, 160, 1965; V. Hatıboğlu, «Uyanıyorum» dıyenler uyuyor, TD, 176, 1966; İ. Ulçuğur, Yeni ımlâ kılavuzu üzerıne, TD, 183, 1966.

[46] A. Dilâçar, Alfabe devrımının 39. yılı dolayısıyle, TD, 194, 1967.

[47] O. Duru, Yabancı ozel adların ve yer adlarının okunuşu, TD, 203, 1968; H. R. Çongur, Radyolarda söyleyiş yanlışları, TD, 205, 1968.

[48] См.: «Radyo dili üzerine», TD, 201, 1963.

[49] V. Hatiboğlu, İmlâ kılavuzu ve konuşma, TD, 180, 1966.

[50] A. S. Levend, Gazete dilindeki gelişmelere bir bakıg TD, 174, 1966.

[51] «TD, Atatürk 1881—1938», 170, 182 194, 218, 1965—1969.

[52] «TD, Ataç'ı anma sayısı», 188, 1967.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

РЕЦЕНЗИИ

«Bausteine zur Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen», hrsg. von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut für deutsche Sprache und Literatur, I—V, —Berlin, Akademie-Verlag, 1964—1967. 1307 стр.

Теория канцелярского происхождения немецкого национального языка, выдвинутая в свое время М. Мюлленгофом, обоснованная К. Бурдахом и широко распространенная в германистике в первые десятилетия нашего века, была, как известно, подвергнута убедительной критике прежде всего со стороны одного из виднейших представителей немецкой лингвистики Т. Фрингса. Стремясь вскрыть основу, той формы языка канцелярий, которая оказывается близкой к языку Лютера и новонемецкой норме, Т. Фрингс находит такой базис в народно-разговорной речи восточнонемецких территорий, а именно в мейссенском колониальном диалекте. «Ясно различим путь,— пишет он,— который ведет от языка поселенцев к языку писцов, к Лютеру и к нововерхненемецкому литературному языку» [1]. При этом он еще в 1936 г. наметил сферы (Sprachschichten), в которых протекал процесс выравнивания, что должно было объяснить наличие в новонемецком не только средненемецких, но и южнонемецких элементов. В определении Р. Гросса, на которое ссылается сам Т. Фрингс, эти сферы характеризуются следующим образом: «Мы различаем три формы наддиалектного языка общения, которые следуют друг за другом во времени:

1. Колониальный нивеллированный язык (koloniale Ausgleichssprache), возникший в период поселения путем смешения и выравнивания диалектов...

2. Язык делового общения (Geschäfts- und Verkehrssprache) позднего средневековья, имеющий явную майнско-франкскую основу, который оформляется в ходе развития городов и вносит в местную речь известные новшества.

3. Верхнесаксонский обиходный язык (Umgangssprache), который появляется после укрепления нововерхненемецкого языка в результате взаимодействия этого последнего, уже известного всем, и диалекта» [2].

Эти положения требовали, прежде всего, дальнейшего теоретического обоснования и, кроме того, исследования конкретных путей развития тех или иных форм языка. Только таким образом удалось бы построить фундаментально документированную и полную историю немецкой национальной нормы. При решении этих вопросов встретились интересы немецких и советских германистов, что привело к координации исследовательских работ Немецкой Академии наук в Берлине и Института языкознания АН СССР.

Для публикации новых исследований в этом направлении Институт немецкого языка и литературы Немецкой Академии наук начал в 1964 г. издание специальной серии под названием «Материалы для построения истории нововерхненемецкого языка» («Bausteine zur Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen»). Позднее, с 1967 г. серия включается в труды указанного института под литерой B [3]. Фрингс формулировал задачу этой серии в следующих словах: «В ней должно изучаться и документироваться становление единого немецкого языка. Хотя уже можно указать на некоторые хорошие работы в этой области, существует необходимость точнее проследить этот процесс по материалам письменных памятников» [4]. До настоящего времени было издано пять томов этой серии. Первый и последний из выпущенных томов содержат несколько сокращенный и вместе с тем переработанный с учетом новых публикаций перевод хорошо известного

[1] Th. Frings, Sprache und Geschichte, III, Halle (Saale), 1956, стр. 5.
[2] Там же, стр. 190.

[3] M. M. Guchmann, Der Weg zur deutschen Nationalsprache, 1, Berlin, 1964; G. Kettman, Die kursächsische Kanzleisprache zwischen 1486—1546, Berlin, 1967; E. Skala, Die Entwicklung der Kanzleisprache in Eger 1310 bis 1660, Berlin, 1967; P. Suchsland, Die Sprache der Jenaer Ratsurkunden, Berlin, 1968; M. M. Guchmann, Der Weg zur deutschen Nationalsprache, 2, Berlin, 1969.
[4] «Bausteine...», I, Zum Geleit.

советским лингвистам труда М. М. Гухман «От языка немецкой народности к немецкому национальному языку», т. I и II, вышедшие в Москве соответственно в 1955 и 1959 гг. В остальных трех томах появились работы Г. Кеттмана о языке канцелярии саксонского курфюрста в период между 1486 и 1546 гг. Э. Скалы о развитии языка канцелярии в г. Эгере (1330—1660) и П. Зукслanда о городских грамотах Йены (1317—1525).

В появившихся уже томах мы, с одной стороны, находим, как это явствует из их названий исследования определенного круга письменных источников, с другой стороны, обобщающие труды, которые наряду с конкретным анализом содержат общелингвистические построения и выводы. К последним относятся обе книги М. М. Гухман. Первая из них посвящена анализу языковых отношений эпохи создания немецкой народности и является как бы отправным пунктом для второй книги, которая уже непосредственно связана с общей темой серии. Советский читатель уже достаточно знаком с этой работой по русскому оригиналу и по напечатанным у нас и за рубежом рецензиям [5]. Мы ограничимся здесь поэтому самой общей характеристикой указанной работы, основной целью которой было исследовать роль литературного языка в его различных вариантах в становлении и распространении нововерхненемецкой национальной формы. В результате анализа многочисленных памятников, частично оставшихся вне поля зрения прежних исследователей, автор строит свою гипотезу, которая выражена в следующей формулировке: «Процесс выработки единого немецкого литературного языка связан, прежде всего, с распространением восточносредненемецкого варианта литературного языка за пределы Тюрингии и Саксонии» [6].

Надо сказать, что М. М. Гухман удалось показать важную роль языка литературы в деле единения немецкого языка, что обогащает наши представления как о сложном ходе развития его в Германии XIV—XVI вв., так и об образовании национальных языков вообще. В более правильном свете выступает в ее трактовке и роль Мартина Лютера. Полученные автором результаты дополняют и расширяют ту картину развития, которая представлена в цитированной выше фрингсовской схеме. Остается, правда, неясным в концепции М. М. Гухман, как она мыслит себе конкретный лингвистический процесс, в результате которого региональный литературный вариант языка отрывается от своей базы — местных диалектов. Ведь элемент обработки, наличный в письменной разновидности языка, на который указывает автор книги, едва ли можно отнести за счет произвола пишущего (автора произведения или переписчика).

И в работе М. М. Гухман, и в трудах Т. Фрингса, Х. Баха, Л. Шмитта, Х. Беккера и других в достаточной степени обрисована многоступенчатость процесса созидания немецкого единого языка, разнообразие и перекрещивание факторов, его обусловивших, а также некоторые конкретные пути, по которым он шел. И все же до сих пор не до конца выяснен чисто языковый механизм, который определил отбор одних из конкурирующих явлений и отбрасывание других; иначе говоря, механизм языкового выравнивания. Чтобы показать, почему одни диалектные признаки возобладали над другими, нужно было, по-видимому, предпринять дополнительные исследования и обратить пристальное внимание на язык самых разнообразных источников и, в первую очередь на те из них, которые больше всего могли бы отражать реальное бытование немецкой речи в ранненововерхненемецкий период.

Именно в этом и заключается основная ценность исследований, представленных в остальных трех томах рецензируемой серии. Труды Г. Кеттмана, Э. Скалы и П. Зукслanда построены на сплошном и детальнейшем анализе обширного архивного материала деловых документов и переписки различного содержания, которые до сих пор обследованы не были. Выполнение работ такого рода, требующее затрат огромного высококвалифицированного труда, несомненно, может быть выполнено только силами немалого коллектива, ориентирующегося на одну цель.

Все три тома сходны, естественно, по своей композиции, и читатель найдет в них сведения о документах, послуживших источником исследования, об архивах, где они хранятся, и о писцах — исполнителях текстов. Введения в книгах указывают на цель и методику работы; заканчиваются книги выводами автора из проанализированного материала и обобщающими замечаниями. Основная часть каждой книги представляет собой подробное описание статуса языка документов в сравнении с исходными средневерхненемецкими формами, как это принято в немецкой диалектологической традиции. Описание ведется по основным аспектам языка (орфография, фонетика, морфология и др.); правда, у разных авторов и состав этих аспектов, и степень полноты их описания различны.

Книга Г. Кеттмана посвящена языку канцелярии саксонского курфюрста; хотя Лютер и ссылается на этот язык, как на

[5] См.: А. Миронов, ИАН ОЛЯ, 1961, 3, стр. 243; «Zeitschrift für Mundartforschung», Jg. XXXIII, 3/4, 1966, стр. 311—314.

[6] M. M. Guchmann, указ. соч., Tl. 2, стр. 159.

свой образец, он исследован далеко недостаточно. Последнее относится особенно к первым десятилетиям XVI в., т. е. к эпохе, в которой жил и творил Лютер. Именно эта эпоха особенно важна для того, чтобы можно было представить себе ясную картину языковой действительности, по крайней мере в ее письменной форме. Избранные автором хронологические рамки исследования определяются судьбой Эрнестинского курфюршества, которое возникло в 1485 г., а в 1546 г. прекратило свое существование, с чем были связаны и известные изменения в территориальных владениях. В качестве материала Г. Кеттман использовал неопубликованные документы, хранящиеся в архивах и библиотеках ГДР. По содержанию — это большей частью письма курфюрстов различным лицам и учреждениям, кроме того,— договоры, расписки и т. п.

Книга Г. Кеттмана выделяется среди других тем, что автор очень подробно останавливается на характеристике писцов (около 40), сменявшихся на протяжении изучаемого им периода и различавшихся иногда по диалектной принадлежности, а также на организации самой канцелярии (стр. 39—68). Это позволяет обнаружить известные хронологические «пороги» в развитии орфографических приемов в сторону приближения к новонемецкой норме. «Каждая значительная смена персонала,— пишет он,— совпадает с ощутимыми изменениями в орфографии» (стр. 309).

Интересно у него и последовательное сопоставление данных по канцелярии курфюрста с тюрингенско-саксонской письменной традицией, что дает возможность обнаружить разные уровни нормализации речи. Такие сопоставления автор делает и попутно при изложении конкретного материала, а затем в суммированном виде излагает их в обширном заключающем разделе (стр. 279—297). Местная письменная традиция характеризуется, например, бóльшим удельным весом диалектальных особенностей и меньшей проницаемостью в отношении южнонемецких элементов и орфографических новшеств (Modeströmungen). «Рассмотренный как целое, язык канцелярии представляет собой в фонетическом отношении тип письменной речи, в основном схожий с нововерхненемецким»— заключает Г. Кеттман (стр. 308).

К сожалению, в книге наблюдается непропорциональность разделов фонетико-орфографического и морфологического описания. Специально последнему отведено всего десять страниц; упоминание же некоторых морфологических явлений в связи с их написанием, которое мы находим в ряде параграфов фонетического раздела, отнюдь не компенсирует указанного недостатка.

В этом отношении выгодно отличается от работы Кеттмана книга Зукснланда, где морфологическому и фонетическому аспектам отведено почти равное место. Это дает возможность судить с известной полнотой о явлениях морфологического выравнивания, не менее важных, чем фонетические явления, о дублетных формах, колебаниях, контаминациях и т. п.

П. Зукснланд начинает свою книгу с введения, которое содержит главным образом изложение его методов работы над архивными материалами, показывающих осторожность и тщательность исследователя. Рассматривая в основной части весьма значительный период (более 200 лет), автор наблюдает и большие сдвиги в развитии языка. В своих выводах он, по-видимому, не без основания, говорит о трех различимых фазах эволюции языка городской канцелярии Йены. То, что предшествующим исследователям вследствие недостаточного охвата материала представлялось как «сосуществование» (Nebeneinander), на деле представляет собой эволюцию (Nacheinander), ср. стр. 246. Характеризуя эту динамику, автор пишет: «Развитие языка йенской канцелярии отражает на частном примере (auf schmaler Basis) путь к национальному литературному языку. Писцы явно стремятся к освобождению письменного языка от элементов колониального койне (koloniale Ausgleichsprache) крестьян-поселенцев, воспринимаемых как грубодиалектные» (стр. 246). В целом выводы автора строятся в соответствии с указанными выше положениями Т. Фрингса.

В конце книги П. Зукснланд дает таблицу фонетико-орфографических соответствий между средневерхненемецким языком и языком обследованных им памятников и обратную таблицу, построенную от времени написания документов (XIV—XVI вв.) к средневерхненемецкому. Эти таблицы сделаны тщательно и очень иллюстративны, так как позволяют читателю взглянуть на развитие как бы с двух противоположных точек зрения.

Книга Э. Скалы представляет особый интерес, потому что исследует язык канцелярских документов г. Эгера (ныне Хеб), находившегося на южной диалектальной территории (севернобаварский диалект). Первый раздел его книги (стр. 25—74) посвящен периоду с 1310 г. (появление первых документов на немецком языке) до 1500 г. (начало литературной деятельности Лютера) и дан в виде резюме, которое базируется на материалах диссертации М. Новак, оставшейся неопубликованной [7]. Следующая часть (стр. 75—290) содержит результат анализа ряда архивных, а также опубликованных материалов весьма разнообразного

[7] M. Nowak, Zur Kanzleisprache Egers im XIV und XV Jahrhundert, Prag, 1929—1930.

содержания» (хроники г. Эгера, протоколы допросов, книги расходов, различные регистры, распоряжения и пр.). В ней представлено описание как фонетики, орфографии, так и морфологии. Кроме того, у Скалы, в отличие от его коллег, имеются небольшие разделы о лексике и синтаксисе. С тонкостью наблюдения и тщательностью в его описаниях собран ряд интереснейших фактов из самых разнообразных сфер языка; ср., например, варианты написания топонимов (стр. 194), неорганические согласные (стр. 118), формы склонения имен собственных личных (стр. 196), семантика и употребление союзов (стр. 262), лексические дублеты (стр. 268) и мн. др.

В своих выводах Скала подчеркивает, что с середины XV в. типичные баварские признаки все более исчезают и к 1500 г. наддиалектные написания получают широкое распространение. Достигнутое к 1500 г. сходство с лютеровским языком он не приписывает влиянию последнего, а напротив, энергично его отрицает, полемизируя в этом отношении с Х. Бахом (стр. 295). На стр. 305 он пишет: «В 1500 г. налицо уже все написания, которые появляются у Лютера только после 1522 г. Так же и в морфологии и синтаксисе уже к 1500 г. достигнут „лютеровский статус“». И далее: «Диалектные написания составляют после 1500 г. значительно менее 1% случаев. В области с такими ярко выраженными диалектными чертами этот факт ярко свидетельствует об упрочении наддиалектной „среднеюжнонемецкой письменной традиции“». В свете сказанного остаются, правда, непонятными довольно обильные примеры сравнительно поздней датировки, в которых зафиксированы типичные южнонемецкие и специально баварские особенности. Примером может служить смешение написаний *w* и *b*, свидетельствующее о непротивопоставленности смычного и щелевого в разных позициях (стр. 114, 142), или дифтонгические написания старых *uo*, *üe* (стр. 106 и сл.)

Все рецензируемые книги производят несомненно положительное впечатление. Наряду с этим, разумеется, в них, как во всяком большом и сложном труде, можно заметить и известные недочеты и промахи или спорные и неясные положения. Некоторые из них отмечены в настоящей рецензии по ходу изложения. Нам остается еще сделать только некоторые общие замечания критического характера.

Вызывает сожаление, что в книгах Зуксланда, Скалы и Кеттмана, за единичными исключениями, не приведены статистические данные. Указания, которые время от времени появляются в тексте, типа: «часто», «редко», «чаще» и «реже» из-за их неопределенности и отсутствия абсолютных цифр имеют весьма относительную ценность. Вместе с тем точные количественные данные, собранные воедино при продолжении серии, дали бы бесценный материал для решения целого ряда вопросов, в частности, хотя бы для прояснения картины аналогического выравнивания системы форм и т. п. Э. Скала оправдывает отсутствие статистических данных следующим образом: «При обработке материала этой книги, в связи с его гигантским объемом, не могли быть применены статистические методы» (стр. 20). Однако именно величина анализируемого массива делает выводы лингвостатистики достоверными. Казалось бы, при уже проделанной колоссальной работе, подсчет результатов и указание количественных характеристик напрашивался сам собой.

В качестве другого, общего для рассматриваемых работ недочета, можно назвать построение разделов морфологии. Они, как и фонетические, подают материал диахронически, отправляясь от предшествующего состояния языка. Для фонетического аспекта описание звукового состояния языка в исследуемых документах, исходящее от фонетики средневерхненемецкого языка (например: ср.-в.-нем. *â*, *û* и т. п. отражаются так-то или так-то), можно считать оправданным не только диалектологической традицией, но и по существу. Для описания же состава форм дело обстоит совсем не так. Авторы исходят, например, для имен существительных из понятия основ (основы на *-a*, на *-ô* и т. п.), в то время как уже в средневерхненемецком нельзя говорить о какой-либо группировке такого рода. В результате описание превращается в перечисление тех или иных наличных форм по старой, уже давно изжившей себя схеме.

Плодотворной представлялась бы попытка установить имеющуюся систему парадигм; конечно, в такой системе не было бы стройной «чистоты», поскольку она в то время только созидается, но именно расплывчатость парадигматических очертаний, их «размытость» наглядно продемонстрировала бы процесс в его динамике.

Отход от синхронного, системного описания заметен и в некоторых частностях: так, П. Зуксланд находит возможным безапелляционно относить одни формы прилагательных без окончаний к кратким формам их (ср. стр. 168, 169), другие же — к апокопированным (ср. стр. 166). Вместе с тем, с точки зрения данных текстов, и те и другие равноценны и свидетельствуют об очень широком распространении в определенный период развития немецкого языка нефлектированного атрибутивного прилагательного при имени в различных падежах обоих чисел. Если даже согласиться, что в данном случае, н у ж н о вносить в синхронное описание диахронические соображения, то

непонятно, как это можно с уверенностью сделать. Э. Скала осторожно и справедливо замечает по этому поводу: «В какой мере в примерах с несклоняемыми формами дело идет о действительно нефлектированных формах или о часто встречающейся в языке канцелярии Эгера апокопе окончаний, не всегда точно можно решить» (стр. 202; ср. также стр. 205).

Можно было бы высказать еще пожелание, чтобы рассыпанные по ходу изложения дублетные формы разного рода были специально выделены и отдельно проанализированы. Ведь именно в дублетах обнаруживается конкуренция как в отношении фонетического облика слов, так и в их морфологическом оформлении, столь существенная для выработки окончательного стандарта.

Впрочем, нужно оговориться, что, как известно, претензии рецензентов в отношении того, чего в книгах нет, практически не имеют границ. И если подобные претензии относятся к столь обстоятельным и добросовестным трудам, о которых идет речь, то они никак не могут умалить их значения.

Слово Bausteine означает «строительный материал». Нам представляется, что рецензируемая серия «Bausteine zur Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen» должна оправдать свое наименование и дать надежный фундамент для построения полностью документированной истории немецкого национального языка. На базе детального и строгого использования реальных источников возникает картина, во многом подтверждающая уже имеющуюся, частично ее корригирующая и объясняющая то, что до сих пор представляется не полностью ясным.

Однако не только этому сможет послужить рассматриваемая серия. Она должна дать материал для создания подробной грамматики ранненововерхненемецкого периода [8]. Синхронное описание системы грамматического строя этого времени представляет глубокий интерес не только в связи с общим ходом развития языка в Германии, но и как самостоятельный объект. Систематическое изложение сложных языковых отношений, характеризующих этот период, несомненно будет весьма поучительным и в общелингвистическом плане. Вместе с тем, такое систематическое изложение предполагает предварительную подробную дескрипцию. Описания, аналогичные рассмотренным в рецензии, будучи расширенными как в смысле охвата географических точек на лингвистической карте, так и в смысле пополнения описываемого материала (в частности, проблем синтаксиса) станут и здесь «кирпичами» в стройке.

Материалы серии позволяют читателю задуматься и над рядом частных вопросов, как, например, взаимоотношение нормы и диалекта. При работе над отдельными темами те или иные исследователи найдут здесь возможность позаимствовать свежие языковые данные, поскольку все книги серии «Bausteine» содержат богатейший фактический материал.

Мы считаем поэтому, что несмотря на отдельные отмеченные нами недочеты и пробелы, публикация рецензируемых работ является серьезным вкладом в немецкую филологию, за которой германисты самых разных стран будут благодарны авторам, редактору и организаторам серии «Bausteine». Хотелось бы пожелать, чтобы публикация следующих томов не заставила себя долго ждать.

Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева

[8] До сих пор германистика располагает только одной и притом незаконченной грамматикой этого периода (V. Moser, Frühneuhochdentsche Grammatik, I, 1—3, Heidelberg, 1929—1959), что не может удовлетворить ее потребностей

I. Němec. Vývojové postupy české slovní zásoby.—Praha, Academia, 1968. 192 стр.

За последнее время возрос интерес к изучению системных отношений и изменений в лексике, но лишь немногие исследования в этой области охватывают большой лексический материал и длительный период истории языка. Тем больший интерес представляет труд И. Немца, в котором прослеживаются системные изменения в чешской лексике, начиная с первых письменных фиксаций и до настоящего времени. В основе монографии лежит богатый фактический материал, содержащийся в картотеках словарей древнего и современного чешского языка, и опыт многолетней работы автора в Институте чешского языка АН ЧССР в качестве лексикографа и редактора.

Большой фактический материал исследования упорядочивает оригинальная методологическая концепция, которая определяет логическое построение книги. В то же время автор не пренебрегает и традиционными методами — как в подходе к материалу, так и в теории.

Книга состоит из трех глав, вводной теоретической части и резюме (на чешском и английском языках). Новый подход к проблеме изменений в лексике обосно-

вывается в вводных разделах о разграничении значений древних слов с учетом системных грамматических категорий, имеющих в языке формальное выражение, о характере древнечешского структурного значения (внутренней формы), о соотношении структурного и лексического значений. Точка зрения автора совпадает с традиционной в вопросе об определении стилистической принадлежности слова в древнем языке, об отношении лексико-семантических единиц к другим единицам языка и в некоторых других вопросах.

Для книги в целом характерен подход к явлениям языка как к системным явлениям, причем системность автор обнаруживает не только в изменениях, обусловленных языковыми факторами, но также и в тех лексико-семантических сдвигах, которые вызваны факторами психологическими и культурно-историческими.

Отправной идеей исследования является мысль о том, что каждая единица языка вступает в корреляции с другими языковыми единицами системы и ее положение (центральное или периферийное) в данной системе зависит от количества и прочности этих корреляций [1]. В области лексики автор считает такими единицами как однословные, так и неоднословные лексемы, при изучении лексико-семантических единиц и лексико-семантических групп следует учитывать корреляции разных уровней. В соответствии с факторами, определяющими лексические значения, автор выделяет три уровня корреляций, в которые вступает семантическая единица: грамматический, психологический и культурно-исторический. Например, древнечешские слова группы *zeměnín* «мелкопоместный дворянин», *Pražení́n* «пражанин», *měšťénín* «горожанин», которые на уровне языкового оформления (грамматики) характеризуются как существительные мужского рода, обозначающие лицо, образованные при помощи суффиксов *-ěn/-an* во множественном числе и *-ěnín* в единственном, по своей словообразовательной структуре соотносились с существительными — названиями места (*Praha*, *město*), на психологическом уровне мотивировались как слова, выражающие понятие жителя по ассоциации с понятием местности, а на уровне культурно-историческом — как названия членов коллектива, характеризуемого его отношением к определенному месту и т. п. Таким образом, мы имеем группу лексико-семантических единиц, характеризуемых набором определенных классификационных черт.

[1] Эта идея лежит в центре ряда исследований Пражского лингвистического кружка: см., например: «Travaux linguistiques de Prague», 2 — Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue, Prague, 1966.

Позже в этой группе происходит ряд исторических изменений. Формы типа *zeměnín — zeměné — zemanóm* фонетически и морфемно выравниваются с парадигмой типа *zeman — zemané — zemanům*. Однако формальные изменения затрагивают не все слова группы. Описанный сдвиг характерен только для единиц, обладающих всеми перечисленными классификационными чертами, т. е. для единиц, которые, как считает автор, были центром группы. К периферийной области данной группы автор относит те слова, которые были лишены хотя бы какой-нибудь одной из этих классификационных черт, как, например, слово *múřenín* «негр»: оно не было мотивировано отношением к названию местности и уже в древнечешской системе связывалось не с названием города, а с устаревшим синонимическим названием лица (ст.-слав. *murinъ*, др.-лат. *Maurus*). Слово *múřenín* не подверглось формальному изменению типа *zeměnín → zeman* и продолжает существовать в виде *mouřenín*, но при этом испытывает семантический сдвиг и в современном языке функционирует в значении «человек, занимающийся неблагодарным трудом».

Исследуя историю слов и групп слов с учетом их системных корреляций, автор приходит к выводу, что изменения в лексике (утрата слов и их значений, семантические сдвиги, появление новых слов и значений) во многом зависят от нарушения старых и развития новых корреляций. По наблюдению автора, единицы языковой системы, связанные между собой общими свойствами, имеют тенденцию подвергаться изменению одного типа. Такое однотипное изменение автор называет сдвигом (*postup*).

Изменение группы слов *zeměnín*, *měšťénín*, *Pražení́n* — один из примеров сдвига. Другие примеры: образование существительных действия, обозначающих положение тела,— *dřep*, *klek*, *leh*, *sed*, *vis*, *stoj*,— от соответствующих древних глаголов, с непереходным значением и общей для всех формой на *-ím*, *-íš*, *dřepím* «сижу на корточках», *klečím* «стою на коленях», *ležím* «лежу» и т. д.; развитие значения «продувной, плутоватый» у ряда прилагательных со значением «битый, претерпевший наказание» *fikaný*, *flakaný*, *mazaný*, *vypráskaný*. Таким образом, сдвигом автор называет и чисто семантический сдвиг (без формальных изменений), и лексические изменения более широкого плана: формальную и семантическую дифференциацию, утрату слов, образование новых групп производных слов и т. п.

В процессе исторического изменения лексических групп взаимодействие различных факторов имеет место, тем не менее один из них часто становится преобладающим и определяет тенденцию развития данной лексической подсистемы. Основные главы исследования

И. Немца посвящены описанию главных типов лексических изменений по преобладающему фактору развития. Соответственно в трех главах рассматриваются изменения, обусловленные языковыми (1-я глава), психологическими (2-я глава) и культурно-историческими факторами (3-я глава).

1. Системные изменения, вызванные языковыми факторами. Многие утраты и инновации в истории чешской лексики обусловлены языковыми факторами: категориальными грамматическими изменениями, фонетическими изменениями, а также распадом или укреплением морфо-семантических систем. Влиянию каждого из этих факторов на развитие лексической системы чешского языка И. Немец посвящает особый раздел.

Для чешской грамматической системы характерны такие категориальные исторические изменения, как, например, завершение распада древней системы основ и оформление категории рода и одушевленности, последующее ослабление категории одушевленности/неодушевленности (в сфере имен), развитие категории вида и рода, распада старой оппозиции начала/результата действия (в сфере глагола) и др. В связи с этими грамматическими явлениями происходит ряд изменений в лексике. Так, некоторые имена утрачивают значение мужского рода — например, значение слов *dievka*, *panna* «девушка, юноша» сужается до «молодая женщина, девушка», уходят из языка многие слова мужского рода с *a*-основой — *konědra* «живодер», *ležka* «лгун», *předběha* «предшественник» и др. В глагольной корреляции *tknúti/tčieti* второй ее член заменяется пассивной конструкцией *býti zatknut*, *vetknut* «быть воткнутым», утрачиваются также слова *hřbieti* «быть погребенным», *ničeti* «быть склоненным»; видовые пары с негомогенной структурой корня замещаются парами с гомогенной структурой *naroditi se/narážeti se* →*naroditi se/roditi se*; из приставочного перфекта возникают имперфекты путем устранения префикса *přilnouti/přilípati* → *přilnouti/lnouti* «прильнуть/льнуть» и т. д. Некоторые слова переживают распад старых грамматических категорий и обогащают словарь новыми единицами. Так, в результате отмирания причастий в языке остаются наречия и обстоятельственные слова *vyjma* «за исключением», *leže* «лежа», *sedě* «сидя», *takřka* «так сказать» и др.

Многие уцелевшие древние формы сохраняются в лексике как архаизмы и топонимы. Слова, пережившие распад грамматической категории, утрачивают словообразовательную мотивацию: не будучи связанными прочными отношениями в системе грамматических категорий, они существуют на периферии данной лексической подсистемы. Такие изменения, по наблюдениям автора, тоже были категориально-структурными, однако только на семантическом уровне: если такие изолированные слова не были утрачены или не присоединились к другому формальному типу (как, например, *mákati* «полоскать» к *máchati* «махать, полоскать»), они претерпели семантический сдвиг и стали употребляться в переносном значении (например, с изменением прежней корреляции переходности/непереходности *oslepiti/oslnúti* в корреляцию *oslepiti/oslepnouti* глагол *oslniti* продолжает существовать в переносном значении «ослеплять», ср. «ослепительный снег»).

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет раздел об изменениях в лексике, связанных с развитием морфо-семантических систем. Здесь рассматриваются изменения в группах лексико-семантических единиц, семантическая общность которых сигнализирована формально словообразовательной или корневой морфемой или потенциальным грамматическим свойством (например, переходностью или непереходностью глагола).

Структуры таких морфо-семантических систем в языке имеют горизонтальные и вертикальные координаты. По горизонтали расположены однокоренные слова, по вертикали — слова с тождественной некорневой морфемой (см. табл.).

По горизонтали отражены наличествующие в данную эпоху грамматические оппозиции однокоренных слов; каждый вертикальный столбик включает слова, занимающие в морфо-семантической системе одинаковое положение и принадлежащие тем самым к одному и тому же морфо-семантическому типу (например, *oslepiti*, *ohlušiti*, *ochromiti*).

Положение слова в такой системе автор считает одним из факторов, обусловливающих его значение, и предлагает изучать историю слова в связи с общими изменениями морфематизированной си-

Существ.	Прилаг.	Глагол			
		переходный		непереходный	
		сов.	несов.	сов.	несов.
slepec	*slepý*	*oslepiti*	*oslepovati*	*oslepnouti*	*slepnouti*
hlušec	*hluchý*	*ohlušiti*	*ohlušovati*	*ohluchnouti*	*hluchnouti*
chromec	*chromý*	*ochromiti*	*ochromovati*	*ochromnouti*	*chromnouti*

стемы, к которой данное слово относится. Так, при сопоставлении разных хронологических срезов современного морфо-семантического типа, к которому относится глагол *sednouti* «сесть» и его древний предшественник глагол *siesti*, выявляется ряд изменений в системе: в древнем языке глаголы, входящие в корреляцию переходность/непереходность (ср. др.-чеш. *sadu/posazu* и совр. *sednu/posadím*), а также в корреляцию действие/результат (ср. др.-чеш. *sědě/sedí* и совр. *sedne/sedí*) формально были связаны более тесно; развивается новая корреляция типа *sednouti/posedati*, укрепляется видовая корреляция, тип становится менее распространенным, у ряда глаголов данного типа ослабевает семантическая взаимосвязь и т. д. Изменения в морфо-семантических системах, по наблюдениям автора, связаны с общими структурными изменениями в чешском языке, т. е. с изменениями фонетическими, с развитием грамматической и словообразовательной систем. Прочность положения слова в системе определяется количеством корреляций, количеством слов, составляющих данную морфо-семантическую систему, характером формальной сигнализации.

Нарушение корреляций служит источником различных изменений. Частым результатом нарушения равновесия является утрата слова, которая в свою очередь оказывает воздействие на другие члены корреляции в вертикальном и горизонтальном направлениях. Наиболее сильное влияние утрата слова оказывает на однокоренные лексемы. Например: прилаг. *nejapný*, находившееся в словообразовательной корреляции с глаголом *japati* «постигать, понимать», имело значение «непонятный, непостижимый», но с утратой этого глагола сохранилось только в значении «нерасторопный, нелепый, неуместный». Для развития языка существенны способы возникновения новых членов корреляций. В современном языке этот процесс осуществляется чаще всего по одному из способов словообразования. В книге И. Немца особое внимание уделяется способам, характерным для древнего языка,— десуффиксации и депрефиксации, которые в современном языке относятся к числу второстепенных.

Наблюдая развитие чешской лексической системы, связанное с внутренними языковыми процессами, автор отмечает большие различия в развитии имен, глагола и синтаксических конструкций и приходит к выводу, что основная тенденция развития словаря выражается в укреплении системности, в устранении внутрисистемных противоречий в лексике. Системность укрепляется или путем ликвидации единиц, находящихся вне корреляций (как *mezhyně* «ослица»), или путем заполнения пустых ячеек корреляций новыми языковыми единицами (как *vlok* к *vloček*), или путем формального сближения соотносимых единиц (*poslěz* → *poslé* как *dřěve*, *prve*), а также путем универбизации, путем ложной этимологизации [др.-чеш. *břitov* (из др.-в.-нем. *frîthof*) → → *hřbitov*: др.-чеш. *hřbieti* «быть погребенным»] и другими способами. Этот более общий вывод подтверждается многими примерами. В то же время в истории чешской лексики (как и в истории лексики других языков) немало таких примеров, когда слова переживают распад старых корреляций. Автор отмечает, что такие лексико-семантические единицы чаще всего претерпевают семантический сдвиг и продолжают жить в языке в переносном и специализированном значении. Такие слова автор считает периферийными единицами языка. Но какова судьба таких периферийных единиц? Какую роль в структуре словаря они играют, укрепляют ли они или скорее разрушают системность в лексике? Этот существенный для лексикологии вопрос освещен в монографии недостаточно [2].

В этой части работы меньше внимания, чем во введении, уделено фразеологическим оборотам, аналитическим лексемам, которые автор наряду с однословными лексемами также считает лексико-семантическими единицами языка.

2. Системные изменения в чешской лексике, обусловленные психологическими факторами. Как уже отмечалось, определенную повторяемость, закономерность изменений автор наблюдает не только в сдвигах, обусловленных языковыми факторами. Определенные типы изменений автор находит и там, где действуют факторы психологические и культурно-исторические. Рассматривая изменения в чешской лексике, обусловленные психологическими факторами, автор сопоставляет их с изменениями в морфо-семантических системах. Как в морфо-семантических системах некоторые единицы (расположенные по горизонтали) связаны с другими единицами, их мотивирующими (например, *uprchlík* с *uprchnouti*), так и вне морфосемантических систем единицы связываются аналогичными отношениями мотивации, например, *liška* «мех лисы» и *liška* «лиса, хищник». Как в морфо-семантической системе единицы, расположенные по вертикали, одинаково мотивированы словообразовательно, так и вне морфо-семантической системы единицы могут быть одинаково мотивированы семантически (например, *liška* «мех лисы», *bobr* «мех бобра», *hranostaj* «мех горностая»).

Такие корреляции образуют пары лексических единиц (значений), которые различаются смысловым сдвигом. По-

[2] Судьбе периферийных единиц посвящена статья И. Немца, написанная позднее. См.: I. N ě m e c, Strukturní předpoklady zániku slov, SaS, 1968, 2.

скольку один и тот же смысловой сдвиг характерен для целой категории слов, подобные корреляции являются конкретизацией системных оппозиций между двумя лексико-семантическими категориями. Коррелированными лексико-семантическими единицами являются синонимы, антонимы, слова с соотносимыми значениями, слова, обозначающие материал и изделие из него и т. п.; сюда относятся явления специализации, расширения, синекдоха, метафора и т. д.

Характерную тенденцию развития таких семантически коррелированных единиц, равно как и морфо-семантических групп, автор видит в укреплении системности. Взаимовлияние ассоциированных значений рассматривается на примере антонимов. Взаимодействие антонимов выражается в фонетическом, морфологическом, словообразовательном сближении. Под влиянием антонимических отношений наблюдается явление семантического обогащения слова, ограничение многозначности и другие явления.

Такого рода изменения характерны для неэкспрессивных ассоциаций. Иное отражение в языке находят ассоциации экспрессивные. Под экспрессивной ассоциацией понимается связь между такими единицами содержания, из которых одна — экспрессивная — носит оценочный характер, тогда как другая, неэкспрессивная единица, его не имеет, но своими объективными признаками вызывает. Так, например, представление о человеке с отталкивающим характером может быть ассоциировано с чувством неприязни, которое вызывает животное с неприятными свойствами (*крыса*, *гиена*, *хищник*) и привести к обозначению неприятного человека именем животного и т. п. Такая ассоциация могла быть морфематизирована, например *tlama* → *tlamaťzna* (морда у человека и животного).

Корреляция неэкспрессивность : экспрессивность отличается тем, что она часто становится исключением в языковой норме: при экспрессивных семантических сдвигах наблюдается замена рода, использование в разговорном языке указательных местоимений вместо личных, существительного на месте прилагательного и т. п.

3. Изменения, обусловленные культурно-историческими факторами. По сравнению с двумя первыми, эта глава более традиционна, однако и здесь автор выявляет системные изменения, наблюдает сдвиги, характерные для групп лексико-семантических единиц. Здесь рассматриваются различные способы проникновения в язык слов, обозначающих иноземные реалии (заимствование, калькирование), дана оценка словотворческой деятельности чешских ученых, способствовавших возрождению чешского литературного языка. Наиболее естественным способом наименования новых реалий и понятий, входящих в язык в связи с развитием быта, культуры, общественно-политических взглядов, И. Немец считает спонтанное развитие слов, причем, по наблюдениям автора, первоначально новая реалия обозначается несколькими словами и только позднее название закрепляется за одним словом.

Заканчивая изложение основных идей монографии, следует отметить, что ее ценность определяется не только общей теоретической концепцией. Лексикологи и семасиологи найдут в ней богатый фактический материал, ценные соображения по многим частным вопросам и перспективную методологию исторического и описательного исследования лексики.

Е. Е. Талицкая

E. Tryjarski. **Dictionnaire arméno-kiptchak d'après trois manuscrits des collections viennoises.** I, fasc. 1—*A*—*H*.—Warszawa, Państwowe wydawnictwo naukowe, 1968, 284 стр; fasc. 2—*I*—*K*, 1968, 285—436 стр.; fasc. 3—*X*—*O*, 1969, 437—603 стр.

Э. Трыярский, один из немногих тюркологов, занимающихся изучением старых текстов, на этот раз избрал объектом исследования рукописи трех двуязычных армяно-кыпчакских словарей XVII в. Эти рукописи принадлежат коллекциям Национальной венской библиотеки (K. K. Hofbibliothek) и библиотеки венских мхитаристов; фотокопиями этих рукописей располагает Польская Академия наук.

Рукописи представляют собой армянско-армяно-кыпчакские словари и в совокупности являют собой удачную выборку из лексики армяно-кыпчакского языка. Основой для словаря Э. Трыярского послужили две из этих трех рукописей, каждая из которых содержит примерно по десяти тысяч армянских слов с их толкованием по-тюркски; обе рукописи чрезвычайно близки одна к другой, но не идентичны. Третья рукопись фрагментарна. Все три рукописи анонимны; судя по многочисленным ссылкам на библейские сюжеты и экскурсам в области теологии и философии, Э. Трыярский допускает, что их авторами были монахи. Он предполагает также, что эти рукописи составлялись по модели одного или нескольких армянских словарей. По его мнению, рукописи эти имели чисто практическое назначение: они должны были помогать билингвам при чтении армянских сочинений, различного рода (преж-

де всего книг библейского содержания) и облегчать повседневные сношения между двумя группами армян — польскими, которые говорили и писали по-армянски, и украинскими, перенявшими кыпчакский язык.

Изучение армяно-кыпчакских текстов имеет свои традиции, и все же чтение рукописей было нелегким делом. Критически оценивая сделанное до него, Э. Трыярский внес вполне убедительные исправления в чтение знаменитого армениста Ж. Дашьяна, который в конце прошлого века описал эти рукописи. К примеру, абревиатура $\tilde{pn}$, прочитанная Дашьяном как *baron* «господин», была объяснена Трыярским как *p[a]n* < польск. *pan* «господин», *alom* было исправлено на *ald[ı]m* «я взял».

Краткие сведения о трех рукописях, на основе которых построен рецензируемый словарь, сообщаются во «Введении» (стр. 7—41). Армяно-кыпчакские словари рассматриваются здесь, прежде всего, с точки зрения истории тюркской лексикографии — как «лексикографические документы»; немало внимания уделено им и как этнографическому источнику. На стр. 37—41 излагаются принципы, положенные в основу при составлении словаря. Списком библиографических и прочих сокращений (стр. 42—45), указателями принятых в рецензируемом издании транскрипционных знаков и их алфавитного порядка (стр. 46) завершается вводная часть.

Передавая армянские литеры, которые в своей фонетической репрезентации не имеют соответствий в тюркской фонологической системе, Э. Трыярский вынужден был пойти на компромисс между транскрипцией и транслитерацией; он, в частности, сохранил спецификацию для таких литер, как *ǰ*, *p'*, *t'*, *k'* в соответствии с армянской артикуляторной основой.

Рукописи, к сожалению, не позволяют обнаружить тюркскую фонологическую систему армян, перенявших кыпчакский язык (вопрос осложняется еще и орфографическими колебаниями авторов или переписчиков). Неясно, например, как должно произноситься слово *olum* «смерть» — принадлежит ли оно к классу велярному или же к классу велярно-палатальному [*olum*] (последнее весьма возможно, если иметь в виду фонологическое различие между *olum* от глагола *ol-* «становиться» и *olum* от глаголов *ol-* «умирать»).

Кыпчакский язык, ставший родным для группы армян, которые в XV в. поселились на Украине, в лексическом отношении представляет собой чрезвычайно любопытное явление. Изобилуя, с одной стороны, арменизмами и славизмами (полонизмами, украинизмами, русизмами), лексика этого языка, с другой стороны, сохраняет отдельные архаические формы (*artıγlı*, *artγlı* «превзошедший; тот, который превысил»; ср., например, регулярное отглагольное образование на *-ıγlı* в древнеуйгурском языке [1]), включает в себя словарные формы тюркских языков огузской группы (*barıšlγ* «примирение; перемирие; мир», ср. турец. *barišlik* «мирное время; мир, спокойствие») и слова искусственные, иногда весьма причудливые, вызванные к жизни то ли потребностями перевода, то ли повседневным обиходом носителей этого языка (например, *ačlan-* «раскрываться», *boylulan-* «становиться большим; становиться крепким и сильным»). Вряд ли стóит доказывать, как важно лексикографическое и лексикологическое обследование словарных материалов армяно-кыпчакского языка. Пробел в этом отношении удачно восполняет издание, предпринятое Э. Трыярским.

Э. Трыярский с большой тщательностью извлек из рукописей армяно-кыпчакские слова в их различных фонетических вариантах, указав их употребление — как самостоятельное, так и в контексте. Кыпчакские толкования армянских лексем Э. Трыярский сгруппировал в пять основных типов: 1) прямой перевод посредством кыпчакских соответствий (армянск. *kıluγ* — кыпчакс. *baš* «голова»); 2) перевод перифрастическими (или описательными) средствами (армянск. *agad* — кыпчакск. *bahali taš ati dır'* «название драгоценного камня»); 3) способ, сочетающий в себе 1 и 2 типы (армянск. *zoba* — кыпчакск. *izop čičak' at'ı* «иссоп, название цветка» или «название цветка иссоп»); 4) синонимы, разделенные союзом *i̯a* «или» (армянск. *ardašnč̣umn* — кыпчакск. *č̣ymaγ i̯a olum* «кончина или смерть»); 5) сочетания тюркских слов — для не-армениста такие сочетания кажутся странными (армянск. *mayr* — кыпчакск. *ana i̯a orman* «мать или лес»), на деле ими передаются армянские омонимы.

Э. Трыярский, помимо всего прочего, устанавливает этимологию слов, не являющихся собственно тюркскими, и это придает словарю дополнительную ценность. Извлеченные из других тюркских языков корреспонденции к приводимым словам служат для подтверждения их значения и их формы. Таким образом, читатель получил не только армяно-кыпчакский словарь, но еще и тщательно разработанный лексикографический этюд.

Словарь чрезвычайно ценен сам по себе — он раскрывает богатства кыпчакского языка, используемого в другой этнической среде. Корпус словаря изобилует материалом, на основе которого можно проследить своеобразие армяно-кыпчакского языка в области морфологии и фонетики. Так, внимание читателя, безусловно, привлечет большое число об-

[1] См., например: В. М. Насилов, Древнеуйгурский язык, М., 1963, стр. 64.

разований на *-daš*, ранее не известных тюркологам *ayırıldaš* «отделившийся (разделившийся) вместе с кем-либо», *bašlandaš* «начатый вместе с кем-либо другим; задуманный вместе с кем-либо другим», *bėslandaš* «вскармливаемый вместе с кем-либо другим; совместно воспитываемый», *birlandaš* «тот, кто объединился с кем-либо другим», *boldaš* «сосуществующий», *bolušdaš* «помощник; подручный» и др.

Словарь содержит ценные материалы как для истории тюркских языков, так и для изучения кыпчакских элементов в славянских языках. (Ср., например, сербско.-хорв. «булава» *buzdòhan* и армяно-кыпчакск. *bozdohán.*) Словарь позволяет проследить, в частности, звонкость начального согласного в словах *daš* (встречается и *taš*) «камень», *biš*-«вариться; созревать», *barmax* «палец» и озвончение в *duʃan* (араб.) «наводнение» (?) и сделать вывод, что эти явления охватили и Украину.

В вопросе о конечном *-y*, еще не вполне объясненном [2], словарь дает интересный материал: там можно найти как собственно тюркские слова (в том числе с *-y*, имеющим характер уменьшительного аффикса), так и заимствования. Например: *inay* «иголка», *k'olgay* «тень», *kimsay* «кто-нибудь, некто»; *barvay* «цвет, окраска» < польск. *barva*; *kozay* коза» < русск. *коза*; *mamay* «бабушка, мама» (?) < < польск. *mama*; *lixvay* «ростовщический процент» < польск. *lichwa*; *xvalay* «слава» < русск. *хвала*; *drabinay* «приставная лестница» < польск. *drabina*; *xanay* «постройка, дом, квартира, комната, мастерская» < перс. *hanā*; *xurmay* «финик» < перс. *hurmā*; *aždahay* «дракон» < < перс. *aždahā*; *xalxay* «круг, браслет, петлица; вид запора на дверях (?)» (араб.); *daymay* «постоянно, всегда» < *dāimā* (араб.); *xalay* «крепость» < *ḳal'a* (араб.).

Словарь дает материал, который пополняет наши представления о возможностях смысловых модификаций ряда слов, а для отдельных слов восстанавливает недостающее звено в их семантическом развитии. Так, например, для слова *piyala* зарегистрировано значение «баночка из стекла» [3], в то время как у крымских (и балканских) татар это слово означает «зеркало; зеркальное стекло; стекло». В словаре *kelindaš* «падчерица; невестка, сноха» (?), ср. в крымско-татарском *kelindeš* «свояченица, золовка, невестка» (истолкование В. В. Радловым *kälindäš* в крымско-татарском как «общие невестки, снохи» [4] представляется ошибочным). С *čirim et-* «спать (глубоко?)» корреспондирует в языке балканских татар *čırım et-*(где *ı* полупалатальный) «дремать»; с *čayaxa-* «поливать; мыть» можно соотнести балканско-татар. *čayqa* «полоскать» (ср., например, также узб. *чай-*, *чайқа-*).

Добросовестно фиксируя в своем словаре сложные лексемы, составитель, повидимому, рассматривал их как явление неустойчивое — особенно те из них, которые могут окказионально варьировать служебный компонент в своем составе. Например: *awaz bėrmax* (имя действия) «кричать, подавать голос», *awaz bėruči* «певец» (= *ǰırlawuči*), *awaz sal-* «кричать, звать»; *at čibini* «слепень», *baš barmax* «большой палец», *baš ortovu* «головной убор», *čin sonγu* «последний; крайний»; *kiči xarın* (=*život*) «живот»; *surat čγarmax* (имя действия) «изображать», *ǰixk'un* «воскресенье» [5]. Эти сложные лексемы в словаре, собственно, оставлены без внимания — они приводятся в составе различных словарных статей и самостоятельно не выделяются.

Э. Трыярский, как он сам пишет (стр. 37), намеревается сопроводить изданный им словарь еще двумя томами — во втором томе будут сообщены результаты осуществленного им палеографического анализа трех рукописей и фототипическим способом репродуцированы эти рукописи; последний, третий том представит собой лингвистическое исследование, в котором «лингвистическое своеобразие текстов» предполагается трактовать «в компаративном плане». Пожелаем Э. Трыярскому скорейшего выполнения этого обширного плана.

М. Моллова (София)

Перевела с французского *Г. Ф. Благова*

[2] См.: M. M o l l o v a, Une sérieuse étude sur les lexèmes turks dans la langue roumaine, «Linguistique balkanique», IX, 2, 1965, стр. 109—110.

[3] Ср. в турецком *piyāle* «verre à boire; coupe» (S a m y - B e y, Dictionnaire français-turc, Constantinople, 1885, стр. 297). В персидском, из которого это слово заимствовано, *pijālā* имеет значение «чаша».

[4] См.: В. В. Р а д л о в, Опыт словаря тюркских наречий, II, СПб., 1899, стлб. 1117.

[5] См.: J. D e n y, L'arméno-coman et les «Ephémérides» de Kamieniec (1604—1613), Wiesbaden, стр. 23—24. Ср. также карачаевск. *yjyq kün* «воскресенье», караимск. *jeh kün.*

M. Manoliu Manea. **Sistematica substitutelor din Româna contemporana andard.** —Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968, 232 стр.

В последние годы наблюдается усиленный интерес к изучению местоимений в разных аспектах, в том числе и в плане их значения и функционирования. Методы описания языка, предполагающие опору на формальные критерии, способствовали тому, что класс местоимений как бы распадался на мелкие подклассы, имеющие разное распределение, каждый из которых вошел в какой-либо из общеименных подклассов на основе общих с ним дистрибутивных признаков [1]. Между словоформами, традиционно относимыми к классу местоимений, оказалось мало общего, их объединение в одну часть речи представлялось условностью, основанной на недостаточно последовательном описании их формы и дистрибутивных особенностей. На первый план в описании местоимений вышло то, что их разъединяет. Нельзя при этом не отметить, что акцент на различиях позволил выявить ряд важнейших особенностей местоимений, которые проливают свет на их роль в языке и на весьма существенные функциональные различия форм, традиционно считавшихся элементами одного ряда (например, личные местоимения 1, 2 и 3-го лица) [2].

Однако в последние годы в связи с возрастающим интересом к семантической стороне языка и к функционированию языковых элементов, вновь появился ряд работ, посвященных местоимениям, как единому классу слов [3]. Авторы этих работ пытаются исходить из того общего, что свойственно местоимениям, из тех их свойств, которые объединяют внешне различные единицы в широкий класс слов, связанный общим функциональным признаком субституции [4]. Изучение местоимений как субститутов стимулируется также интересом к анализу структуры предложения и связей между его элементами и к изучению отношений между отрезками, большими, чем предложения. Исследование этих связующих элементов с целью выявить их системные особенности и представить их как единое целое и составляет основное содержание книги М. Манолиу Маня, о которой пойдет речь ниже.

Монография М. Манолиу Маня «Систематика субститутов в современном стандартном румынском языке» состоит из четырех частей. В первой рассматривается инвентарь инвариантов субститутов, т. е. очерчивается круг единиц, о которых пойдет речь, на основе парадигматических и синтагматических критериев. Во второй части анализируется семантическая структура субститутов, в третьей — их поверхностная структура и, наконец, в последней, четвертой части дается собственно систематизация субститутов. Каждая часть в свою очередь распадается на главы.

М. Манолиу Маня отмечает, что распространившийся в современных грамматиках термин «субститут» (Фриз, Потье, Харрис и др.) на первый взгляд кажется лишь подменой термина «местоимение». Между тем, очевидно, что не все субституты являются местоимениями (ср., например, субституты глаголов типа франц. *faire*) и не все местоимения можно считать субститутами.

В речи можно выделить группу единиц, которые обеспечивают повторяемость элементов речи, позволяя связывать частицы содержащейся в ней информации. Эти единицы можно разделить на две большие группы: к первой относятся морфемы рода, лица, числа, которые характеризуются синтагматической и парадигматической идентичностью повторяющихся элементов и неидентичностью их с элементами, для повторения которых они служат, ко второй — субституты, которые одновременно представляют собой и элементы связующие, и те элементы, которые связываются. В этом смысле с ними сближаются синонимы или близкие по значению слова, которые также могут служить повторению информации в контексте; ср. *Одним из лучших романов этого писателя является... В этом произведении автор описывает* (стр. 33). Связь в этих случаях достигается общей семой (или рядом сем), имеющихся у замещаемого (*роман, писатель*) и замещающего (*произведение, автор*) элемента.

Субституты и замещаемые ими элементы также имеют общие семы. Возможность получить информацию через субституты основана на том, что они имеют по крайней мере одну общую сему с замещаемым элементом. Так, например, субстит имени и имя имеют общую сему «предметности», субституты наречия имеют общую с замещаемым элементом сему «пространственности» или «темпоральности» и т. п. В то же время, в отличие от морфем согласования, у субститутов никогда не наблюдается полного совпадения с замещаемым элементом — очевидно, что имя и его субстит имеют раз-

[1] Ср., например: А. А. Зализняк, Русское именное словоизменение, М., 1967.

[2] R. Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, 1963.

[3] Ср., например: Е. Майтинская, Местоимения в языках разных систем, М., 1969.

[4] Ср., например: J. Dubois, Grammaire structurale du français, Nom et pronom, Paris, 1965; R. Harweg, Pronomina und Textkonstitution, München, 1968.

ное число и состав сем. Среди сем, отличных от сем замещаемого элемента, субститут всегда включает сему, которая указывает на связь субститута и замещаемого слова; так, например, субститут *cîteva* «некоторые» содержит сему, указывающую на то, что речь идет о части замещаемого элемента.

Таким образом, автор дает семантическую характеристику слов, которые можно считать собственно субститутами, справедливо отмечая в то же время, что с точки зрения структуры сообщения функция субституции может быть присуща и другим единицам (морфемам и синонимам). Разумеется, само понятие субституции можно толковать по-разному, более широко и более узко. Так, например, в терминах субституции можно рассматривать не только соотношение разных элементов текста, относящихся к одному денотату, но и элементов, определяющих с разных сторон одну и ту же ситуацию. Однако определение круга единиц, единственной или основной функцией которых является субституция, представляется весьма важным. Это мы и находим в рассматриваемой книге.

Дав семантическую характеристику субститутов, автор пытается далее очертить тот же круг явлений с другой стороны — по их дистрибутивным особенностям.

Для того чтобы определить инвентарь субститутов, автор исследует контексты, где могут встречаться в идентичных условиях замещаемые и замещающие элементы. Для этой цели была сделана сплошная выборка из текстов общим объемов 100 000 слов. Как критерий возможности или невозможности данной структуры использовалась также речь автора. При рассмотрении условий замещения существительных разными видами субститутов было определено, что существуют контексты, в которых встречаются только две традиционные части речи — существительные и местоимения. Эти диагностические контексты могут быть представлены в виде вопросно-ответных структур, например: *Cine (poate) spune?* «Кто (может) сказать?»; *Ce vezi?* «Что (ты) видишь?» и т. п. Ответы могут даваться в утвердительной и вопросительной форме (в виде переспроса): *Cine spune? Cine? Eu.* «Кто говорит? Кто? Я». В перечисленных контекстах встречаются существительные нарицательные и собственные, с артиклем и без, часть традиционных местоимений и некоторые числительные (в книге даются списком).

Подобные контексты составляют три группы, в каждую из которых входят разные виды полнозначных имен и субституты. Субституты, которые могут появляться в одном контексте с существительными (примеры этих контекстов, входящих в первую группу, приведены выше) и называются субститутами имени. Таким же образом определяются субституты прилагательных. Автор подчеркивает при этом, что диагностические контексты индивидуальны для каждого языка.

По-видимому, изучение диагностических контекстов, является лишь дополнительным средством характеристики субститутов. Оно позволяет скорее разбить на группы сами субституты, чем отграничить субституты от несубститутов, например, от существительных-синонимов, которые встречаются в тех же контекстах (см. пограничные случаи вроде франц. *l'homme*, рум. *om* и т. п.). Исходным критерием субституции являются, очевидно, семантические отношения замещающего и замещаемого элементов.

Выделив субституты существительных, прилагательных и т. д., М. Манолиу Маня рассматривает отношения между замещаемым элементом и его субститутом, которые могут иметь характер 1) взаимного включения (сюда относятся такие субституты, как заместители глаголов, прилагательных, наречия *acum* «сейчас», *aici* «тут», личные местоимения); 2) одностороннего включения (например, неопределенные и партитивные местоимения, как *unele* «некоторые» и т. п.), и 3) исключения (детерминативы — заместители прилагательных: *rochia albastră mi-a plăcut mai mult decît aceea verde* «голубое платье мне понравилось больше, чем зеленое», где *aceea* исключает *rochia albastră* «голубое платье» и относится только к *verde* «зеленое»).

Класс субститутов не полностью совпадает с традиционными местоимениями. Так, например, местоимения *însumi* «я сам», *mult* «много», *cîtva* «некоторый», согласно приведенному критерию, не являются субститутами. В то же время субституты *aici* «здесь», *acolo* «там», *atunci* «тогда» и др. обычно относят не к местоимениям, а к наречиям.

Представляется, что определение субститутов с двух сторон — по семантическим отношениям с замещаемым элементом и по общности их дистрибуции — позволяет достаточно однозначно выявить класс соответствующих единиц. Между тем, далее автор рассматривает вопрос о субститутах в еще одном аспекте, а именно с точки зрения отношения между отправителем и получателем сообщения (на основе выдвинутого Р. Якобсоном понятия подвижных определителей, англ. *shifter*, франц. *embrayeur*, рум. *ambreior*), с одной стороны, и референционной отнесенностью языковых элементов — с другой. При этом М. Манолиу Маня выдвигает новое понятие «экономизатора», которое обозначает класс единиц, указывающих на «элементы, известные как отправителю, так и получателю и обеспечивающих таким образом более быструю и экономную передачу сообщения» (стр. 46).

Экономизаторы соединяют в себе рефе-

ренционные свойства как имен собственных, предметная отнесенность которых от высказывания к высказыванию не меняется, так и имен нарицательных и прочих полнозначных слов, предметная отнесенность которых может быть различной в различных высказываниях. Экономизаторы представляют собой класс, более широкий, чем субституты. Субституты и экономизаторы имеют широкую зону пересечения — это личные, указательные и неопределенные местоимения, определенный артикль, некоторые наречия. Только к субститутам (но не к экономизаторам) относятся заместители глагола, прилагательного, фразы. Морфемы времени, наречия времени, места и образа действия, неопределенные наречия — это экономизаторы, которые не являются субститутами.

Как нам кажется, понятие экономизатора довольно неопределенно и вряд ли необходимо. Оно неоправданно усложняет общую картину отношений замещаемых и замещающих элементов, заставляет строить две частично совпадающие системы (ср. схемы на стр. 214 и на стр. 217). Вряд ли целесообразно пользоваться совершенно различными критериями для определения границ одного и того же явления, тем более столь сложного как субституты. Нет ничего удивительного, что при этом получаются несовпадающие подклассы, соотнесенные друг с другом довольно неопределенным образом.

Если за исходную точку при определении класса единиц берется структура сообщения, то следовало бы рассматривать свойства именно этого и только этого класса единиц (экономизаторов). Если же за основу берутся соотношения замещаемого и замещающего (субститута), то вряд ли следовало вводить еще один близкий, но не совпадающий с первым класс явлений. Параллельное использование понятия о двух сходных, но не идентичных классах единиц, определенных на основе разных и не соотнесенных друг с другом подходов, лишь затемняет картину, и без того сложную. Целесообразнее было бы, по-видимому, найти критерии выделения тех единиц, которые составляют дополнительное звено в схеме экономизаторов, т. е. не являясь субститутами, играют специфическую роль при передаче сообщения (это главным образом некоторые виды наречий с обобщенным значением *unde* «где», *cînd* «когда», *totdeauna* «всегда» и т. п.).

Во второй части книги рассматривается, как уже говорилось, семантическая структура субститутов. Этот раздел чрезвычайно интересен, так как в нем делается попытка выявить те оппозиции плана содержания, на которых основано построение местоименных подсистем. Особенно интересно при этом то, что в исследование включаются не только основные подклассы местоимений, личные, притяжательные, указательные, которые неоднократно описывались с разных точек зрения, но и подклассы, систематизация которых представляет большую сложность — неопределенные, отрицательные и т. п. Эти местоимения, как известно, в румынском языке весьма многочисленны. Рассмотрим, например, как анализируются неопределенные местоимения. М. Манолиу Маня подчеркивает, что зона неопределенных местоимений румынского языка обнаруживает очень большое разнообразие семантических оттенков. Прежде всего местоимения, традиционно называемые неопределенными, можно разделить на две семантические группы: так называемые «тоталитарные» (totalitar) — *tot* «весь», *fiecare* «каждый», *orice* «любой» и т. п.— и «партитивные» (partitiv) — *cutare* «некоторый», *cineva* «кто-то», *altul* «другой» и т. п. «Тоталитарные» и «партитивные» формы в свою очередь распадаются на ряд поклассов. Так, формы, имеющие признак «тоталитарности», делятся на «глобальные, обобщающие» (global, generalizant) и необобщающие (non-generalizant). Первым признаком обладают такие, например, субституты, как *tot* «всё», *toți* «все», которые указывают на совокупность, а вторым *fiecare* «каждый», *oricare* «любой», *oricine* «что угодно» и т. п., которые указывают не на всю совокупность, а на отдельные ее элементы.

Эти формы характеризуются еще рядом признаков, образуя пересекающиеся подклассы. Так, они различают признак непрерывности (continuu) — прерывности (discontinuu), например, *tot* «всё», где совокупность рассматривается как единое целое, и *toți*, *toate* «все», где совокупность представлена как членимая на элементы. Это противопоставление оформляется морфемой числа. Формы *fiece* «каждое», *fiecare* «каждый» имеют признак «сепаративности» (separativ)— каждый из элементов совокупности; формы *orice* «любое, какое угодно», *oricare* «любой, какой угодно» — признак «несепаративности» (non-separativ) — выбор элемента безразличен. Это противопоставление выражается, как можно видеть, различием морфем *fie-* и *ori-*. Отметим, что сами термины «сепаративный — несепаративный» представляются не слишком удачными, так как не объясняют смысла оппозиции. Еще один признак — «персональность» выражается формантом *-care* (*fiecare* «каждый», *oricare* «любой») признак «неперсональности» — формантом *-cine*, *-ce*: *fiecine*, *fiece* «каждое», *oricine*, *orice* «что угодно». Каждый признак рассматривается с точки зрения его реализации в тех или иных контекстах. Показывается, в каких контекстах то или иное противопоставление нейтрализуется. Таким же образом анализируются другие группы местоимений.

Попытка систематизировать в плане содержания столь сложно и непоследовательно организованную группу единиц,

какой являются неопределенные местоимения, представляет чрезвычайный интерес. Трудно сказать, описывают ли наилучшим образом семантику этих форм именно те признаки, которые предлагаются в рецензируемой книге. Однако сам подход к систематизации неопределенных местоимений через наборы семантических признаков кажется очень плодотворным. М. Манолиу Маня предлагает применить подобный метод к латыни, где система неопределенных местоимений была еще более сложной, и к другим романским языкам. При этом оказывается, что аналогичная система признаков позволяет описать местоимения и этих языков, хотя при этом требуется внести некоторые изменения и добавления. Так, для латыни необходимо добавить признаки универсальности (*totus* «весь») — интегральности (*omnes* «все»), субъективности (*quivis*, *quilibet* «кто хочешь, любой») — объективности (*quisquis* «всякий») и некот. др. Однако интересно отметить, что реализация в общем сходной для румынского и других родственных языков системы признаков почти всегда различна; наборы признаков, характеризующие соотносительные местоимения разных языков, почти нигде не совпадают. Сравнение признаковой характеристики аналогичных местоимений родственных языков позволяет выявить любопытные различия между ними.

Третья часть книги посвящена поверхностной структуре субститутов, точнее дистрибутивным особенностям единиц, обладающих различной семантической структурой. Наибольший интерес, как кажется, представляет в этой части анализ употребления субститутов в разных видах контекстов (предложный, вопросительный, отрицательный, с распространением посредством существительного, прилагательного, в сочетании с морфемой числа и рода и т. п.). В результате все местоимения, независимо от их семантической структуры, распределяются по дистрибутивным подклассам. Итоги дистрибутивного анализа 52 субститутов (личных, указательных, неопределенных и др). подведены в таблице, где указывается для 10 ключевых (наиболее частотных) контекстов, в каком из них может, а в каком не может употребляться данное местоимение. Далее выясняется, какие местоимения могут встречаться в общих контекстах, какие это именно контексты, сколько их и т. д. Так, например, демонстративы с самого начала отделяются от прочих местоимений, так как они могут входить в тех или иных комбинациях во все 10 релевантных контекстов. Напротив, возвратные имеют только один контекст, общий с другими формами. Отрицательные местоимения характеризуются комбинациями восьми контекстов и т. д. Дистрибутивный анализ приводит к выводу, который, собственно говоря, можно было предвидеть, что субституты не составляют иерархии дистрибутивных подклассов, а представляют собой конгломерат групп, весьма пестрых по составу и свойствам. Построить единую схему, основываясь на свойствах поверхностной структуры субститутов, по-видимому, не представляется возможным.

Завершается рассматриваемая часть разделом статистики, где приводятся данные (в абсолютных цифрах и процентах) об относительной употребительности различных подклассов местоимений и отдельных форм в разных контекстах, по отношению к общему количеству слов в тексте, частотность местоимений в одном контексте, близких по значению местоимений по отношению друг к другу и т. п. Все эти сведения представляют бесспорный интерес.

В четвертой части, собственно систематике, подводятся итоги исследования, строится система субститутов и отчасти не совпадающая с ней система экономизаторов, в виде дерева семантических признаков, основанная на иерархии осей, где элементы, расположенные на высшей оси, не входят в оппозиции на низших осях. Поскольку субституты — это в первую очередь элементы повтора (итерации), отношение между информацией, которую дают два элемента, находящиеся в отношениях итерации, т. е. замещаемый элемент и субститут, считается первой осью системы. Эта ось называется гетеродесигнативной, так как здесь речь идет в сущности об отношениях десигнатов (обозначаемых). Эта ось членится на два элемента — взаимовключение и отрицание взаимовключения, последние различают в свою очередь одностороннее включение и исключение (об этих признаках говорилось выше). Дальнейшее ветвление дерева основано на признаках, связанных с характеристикой объекта, к которому относится субститут. Эти оси могут быть названы гомодесигнативными. Они выражают внутренние или внешние свойства обозначаемых объектов (интрадесигнация и экстрадесигнация).

На оси интрадесигнации мы находим, например, личные и возвратные местоимения, а также неопределенные, а на оси экстрадесигнации — наречия места *aici*, *acolo*, *acum* и демонстративы. Отрицание «нет» и утверждение «да», а также субституты прилагательных и глаголов выражают только утверждение или отрицание того, о чем говорилось прежде, не добавляя никакой другой информации,— их можно считать нейтральными элементами интрадесигнации.

Дальнейшее членение связано со свойствами отдельных местоименных подклассов. Структура подкласса неопределенных местоимений («тоталитарные — партитивные» и т. п.) была показана выше. Личные местоимения содержат оппозиции «отправитель — получатель», «говоря-

щий — не говорящий» и т. д. Возвратные соотносятся с личными по оси «совпадения (возвратные) — несовпадения (личные)» и т. п.

Рассматривая семантические свойства каждого местоименного подкласса, автору удается представить в системном виде все имеющиеся в румынском языке субституты.

Как можно видеть уже из сказанного выше, признаки, по которым строится система, весьма разнообразны и неоднородны. Впрочем нельзя не признать, что неоднородность является свойством описываемого класса явлений и такое построение системы обусловлено их природой. Вероятно, дерево могло бы быть построено и иначе, если выбрать другие признаки и по-другому определить их иерархию, например, взять за основу отношение отправителя — получателя, совпадения — несовпадения с субъектом и т. п. Однако бесспорно, что опыт организации местоимений в систему на основе признаков плана содержания представляет большой интерес.

Выше шла речь только об основном содержании работы М. Манолиу Маня. Кроме того, в книге содержится еще несколько подразделов, где рассматривается ряд спорных вопросов, связанных с анализом румынских местоимений. Некоторые из них представляют интерес и для общей романистики. Так, например, в главе 2 (первой части) исследуется вопрос о том, существуют ли в современном румынском языке посессивные местоимения, в главе 3 — статус так называемого полунезависимого местоимения (semi-dependent), которое многие считают артиклем, в главе 5 — полунезависимые местоимения в разных романских языках и т. п. Попутно с описанием семантической и внешней структуры субститутов ставится множество других вопросов, так или иначе с ними связанных, приводятся различные подсчеты и т. п.

В заключение можно отметить следующее. Большим достоинством книги является то, что автор предлагает свою оригинальную методику анализа, основанную на теоретических положениях современной лингвистики, а как известно, разработка новых методик составляет важнейшую задачу научных исследований. При этом особенно ценно, что предложенная методика применяется к языковому материалу не выборочно, а со сплошным охватом соответствующих явлений. Разумеется, нельзя считать, что данные приемы анализа являются единственно правильными, однако возможность реализовать их на материале и притом не одного языка бесспорно говорит в их пользу. В то же время хотелось бы, чтобы методика описания была более последовательной и единообразной, ведя исследователя в одном, заранее заданном направлении. Разумеется, сложность самого предмета является источником того, что приходится пробовать описывать его то с одной стороны, то с другой, основываясь на различных возможных критериях. Представляется все же, что если бы исследование было построено более компактно, оно бы от этого только выиграло.

Стремление всесторонне охватить изучаемый материал иногда приводит к смешению различных подходов и трактовок, чрезмерной усложненности построения, недостаточной взаимосвязи в изложении некоторых вопросов. Рассмотрение материала в разных аспектах, с одной стороны, является достоинством книги, поскольку позволяет показать изучаемые явления во всем многообразии их семантических и структурных свойств; но, с другой стороны, создается впечатление, что до сих пор неясно, какие именно свойства следует взять за основу описания — семантику или форму (в данной работе вопрос, по-видимому, решается в пользу семантики), какие критерии следует считать исходными, а какие — второстепенными. Так, например, в одном из разделов мы находим классификацию субститутов на основе анализа по непосредственно составляющим, которая исходит из того, какие синтаксические комплексы замещают субституты (субститут фразы, субститут группы, субститут одного из непосредственно составляющих группы, например, артикль или указательное прилагательное и т. д.). Выше говорилось о классификации на дистрибутивной основе, на основе отношений «отправитель — получатель» и о семантической классификации.

Как представляется, при исследовании местоимений наиболее плодотворным является тот путь, который ведет к изучению всякого рода отношений, как семантических, так и структурных, между субститутом и замещаемым элементом, поскольку именно он связан с исследованием функционирования элементов системы в контексте, с проблемой выбора того или иного субститута при данных условиях и т. п. Книга М. Манолиу Маня, содержащая большой и интересный материал по семантическим и структурным особенностям субститутов, их иерархии и взаимодействии присущих им признаков, представляет важный шаг в этом направлении. Исследования местоимений отдельных языков являются существенным этапом на пути построения общей теории местоимения, исходя из современного уровня лингвистических знаний.

Е. М. Вольф

И. К. Белодед. **Развитие языков социалистических наций СССР.** — Киев, изд-во «Наукова думка», 1969. 307 стр.; ***І. К. Білодід,*** **Ленінська теорія національномовного будівництва в соціалістичному суспільстві.**—Київ, изд-во «Наукова думка», 1969, 91 стр.

Вкладом в теоретическую разработку проблемы «В. И. Ленин и развитие национальных языков народов СССР» являются две рецензируемые книги И. К. Белодеда, в которых содержится обширный материал по вопросам теории социалистических национально-языковых отношений и развития языков социалистических наций.

Монография «Развитие языков социалистических наций СССР» состоит из двух частей. Первая часть монографии «Внешнелингвистическая проблематика и вопросы межъязыковых отношений» охватывает многие проблемные вопросы. Здесь же формулируются задачи, стоящие перед советским языкознанием, исходной методологической базой развития которого являются философские идеи В. И. Ленина, его обобщения, его конкретные социологические исследования. И. К. Белодед детально освещает значение трудов и высказываний В. И. Ленина как для дальнейшего развития марксистского учения о языке, так и для практики национально-языкового строительства в СССР. В книге отмечается, что В. И. Ленин «научно и политически обосновал положение о равноправии языков народов России, об их беспрепятственном и всестороннем развитии, о недопустимости в демократическом государстве никаких привилегий ни для одного из языков» (стр. 34). В. И. Ленин сформулировал требование, предусматривающее «... *отсутствие* обязательного государственного языка, при обеспечении населению школ с преподаванием на всех местных языках» (Соч., т. 24, стр. 295), обосновал потребность в языке межнационального общения народов СССР.

И. К. Белодед в специальном разделе анализирует процессы, связанные с функцией русского языка как языка межнационального общения народов СССР.

В книге обстоятельно освещаются вопросы борьбы Коммунистической партии и ее вождя В. И. Ленина за равноправие и свободное развитие украинского языка. Высказанные В. И. Лениным научно-теоретические и политические установки по вопросам развития украинского языка имеют основополагающее значение для всего процесса национально-языкового строительства в Советском государстве.

Говоря о языке украинской социалистической нации, И. К. Белодед особо подчеркивает, что «ленинская национальная политика Коммунистической партии Советского Союза обеспечила свободное развитие украинского языка и его функционирование во всех сферах государственно-политической, партийной, производственно-материальной жизни украинского народа, в области науки, просвещения, культуры, в быту» (стр. 52). Книга демонстрирует расцвет языка украинской социалистической нации, разнообразие и фундаментальность его функциональных стилей, отшлифованных общественно-языковой практикой, многогранность его словаря и фразеологии, образных средств словесного выражения, разветвленность и гибкость его синтаксических конструкций.

В книге рассматриваются процессы, происходящие также в белорусском и молдавском языках социалистических наций; в довольно общей форме освещаются основные тенденции развития и взаимодействия восточнославянских языков в советскую эпоху.

Из общего широкого теоретического плана работы несколько выпадает раздел, посвященный воспроизведению особенностей словесно-художественного стиля белорусского литературного языка в украинских переводах (анализируются переводы произведений К. Крапивы, стр. 108—119).

Общность тематики ряда разделов этой части приводит к повторению некоторых положений в работе (например, о роли русского языка и др.).

Во второй части книги «Внутрилингвистическая проблематика» излагаются основные понятия стилистики национального языка, культуры речи, а также формулируются важнейшие теоретические проблемы изучения украинской устной литературной речи; вместе с тем здесь находят свое решение вопросы, связанные с современной практикой украинского литературного языка, переводческой деятельностью, культурой речи лектора и многочисленных средств массовой коммуникации, а также другие вопросы.

Ставя проблемы «язык как искусство» и «язык и искусство», И. К. Белодед в большинстве случаев пока лишь намечает аспекты их исследования; сами же проблемы еще ожидают своей глубокой и всесторонней разработки.

Являясь инициатором широкого и многоаспектного изучения украинской устной литературной речи на различных ее уровнях, И. К. Белодед в своей монографии дает теоретическое обоснование проблемы, ставит вопрос о методах и источниках изучения устной литературной речи.

Книга И. К. Белодеда «Развитие языков социалистических наций СССР» проникнута пафосом интернационализма и дружбы народов. Она отличается острой направленностью против архаизатор-

ства в языке и любых проявлений национальной ограниченности, а также против национального нигилизма и игнорирования национальных языковых особенностей.

В непосредственной связи с проблематикой данной монографии находится и содержание книги И. К. Белодеда «Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе».

В первой части книги «Общественно-языковые проблемы в трудах и деятельности В. И. Ленина» излагаются с надлежащими комментариями те новые теоретические положения и выводы о роли национальных языков в революционной борьбе трудящихся, о функционировании языков в многонациональном государстве, о роли и функциях языка в дальнейшем развитии общества, в его научном и социальном прогрессе, которые внес в сокровищницу мировых знаний В. И. Ленин [1]. Отмечая, что язык, согласно ленинскому учению, является составной частью человеческого познания, И. К. Белодед показывает, как В. И. Ленин во всех своих работах при анализе теоретических взглядов своих классовых, партийных противников, а также при рассмотрении позиций своих коллег и соратников по борьбе и работе неизменно останавливался на их речи, определял их средства выражения, формы дефиниций, стиль, логику их мысли, характер их фразы, используемой терминологии и т. п. «Этот факт ярко свидетельствует, что в теоретико-социальной научной концепции В. И. Ленина важное место занимал язык» (стр. 8).

Стройное и глубокое научное учение В. И. Ленина и его соратников о нации и национальном языке, о связях языка с историей народа, о роли языка в развитии различных форм исторических общностей людей излагается в противопоставлении ошибочным взглядам О. Бауера, К. Каутского, К. Реннера (Р. Шпрингера) и других представителей социал-демократии на понятие нации, ее признаки и роль языка в формировании и развитии нации.

Во второй части «Пламенное слово Ленина» сконцентрированы наблюдения над языком и стилем произведений В. И. Ленина, исследуется специфика его научного стиля и особенностей его деловой речи. Автор показывает, как «творчество Ленина стало могучим фактором новаторства и перестройки прежде всего политического, научного, публицистического, ораторского и агитационного стилей русского литературного языка, что оказало влияние не только на языки народов СССР, но и на языки народов мира» (стр. 64).

Приводя примеры ленинских определений отдельных понятий (например, *интернационализм*, *равенство*), И. К. Белодед приходит к выводу, что «из произведений В. И. Ленина возникает большой, фундаментальный словарь марксистско-ленинских определений, формулировок, толкований широкого круга научных, философских, политических понятий...» (стр. 87). Тем более актуально изучение языка В. И. Ленина во всей его многогранности, в частности создание словаря языка В. И. Ленина, исследование творчества В. И. Ленина в развитии русской и мировой культуры, в истории русского литературного языка, и др.

Популяризируя и пропагандируя ленинские идеи в вопросах национально-языкового строительства, книга И. К. Белодеда характеризуется в то же время новой постановкой ряда социологических проблем.

Г. П. Ижакевич, К. К. Целуйко

[1] О современных аспектах приложения ленинских теоретических положений см.: Магомет И., [рец. на кн.:] И. К. Белодед, Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе, ИАН ОЛЯ, 1970, 2.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

СЕКТОР ПАМИРСКИХ ЯЗЫКОВ ИНСТИТУТА ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ АН ТАДЖИКСКОЙ ССР И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАБОТЫ

В 70-х годах прошлого столетия, когда науке стало известно о памирских языках, этот горный край стал местом паломничества для иранистов и востоковедов различных стран мира.

Прошло почти сто лет с того времени, когда акад. К. Г. Залеман [1] в России и Р. Шоу [2] за рубежом заложили основы изучения языков народностей Памира (Бадахшана). Дальнейшее развитие памироведения за рубежом связано с именем норвежского ираниста Г. Моргенстьерне, а в Советском Союзе — с именем И. И. Зарубина [3].

И. И. Зарубин, основоположник научного изучения почти всех языков памирской группы, создал школу памироведов, которую теперь в Ленинграде возглавляет В. С. Соколова, а в Москве — В. С. Расторгуева. Ныне эти ученые имеют своих учеников и последователей в Ленинграде (А. Л. Грюнберг), Москве (Т. Н. Пахалина и Д. И. Эдельман) и в Душанбе (Н. Карамхудоев, Р. Додыхудоев, М. Файзов, Д. Карамшоев).

Хотя памирскими языками занимались и занимаются во многих странах мира (СССР, Норвегии, ГДР, ФРГ, Франции, Чехословакии, Англии, Польше, Афганистане, Индии), однако до последнего времени официального научного центра по их изучению не было. Это до известной степени затрудняло планомерное и систематическое исследование всех языков памирской группы. В результате одни языки оказались более, другие менее изученными, третьи не исследовались вообще. Зачастую не все стороны того или иного языка изучались равномерно. Так, например, шугнанский язык не имеет пока грамматического описания, а его диалект — баджувский — в этом отношении уже изучен [4]. И наоборот, лексика шугнанского в общих чертах представлена словарем И. И. Зарубина [5], тогда как лексика баджувского диалекта осталась не затронутой. Аналогичную неравномерность можно наблюдать в изучении, можно сказать, любого из памирских языков.

В 60-х годах в Институте языка и литературы АН Таджикской ССР появились первые специалисты-памироведы, а в 1968 г. был организован сектор памирских языков — единственный в мире официальный центр исследования памирских языков, расположенный к тому же в непосредственной близости к объекту изучения.

Плодотворная работа памироведов Москвы и Ленинграда, а также за рубежом и создание специального сектора в Таджикистане позволяет думать, что в изучении памирских языков и фольклора наступит новый этап — этап планомерного и всестороннего исследования памирских языков как в монографическом, так и в сравнительном плане. После завершения монографического описания малоизученных до сего времени языков и диалектов можно будет приступить к выявлению их отношения как друг к другу, так и к другим живым и мертвым языкам иранской

[1] К. Г. Залеман, Шугнанский словарь Д. Л. Иванова, сб. «Восточные заметки», СПб., 1895.

[2] R. B. Shaw, On the Ghalchan languages (Wakhí and Sarikolí), «Journ. of the Asiatic society of Bengal», XLV, pt. 1, 2, 1876.

[3] Об истории изучения памирских языков см.: В. С. Соколова, А. Л. Грюнберг, История изучения бесписьменных иранских языков, сб. «Очерки по истории изучения иранских языков», М., 1962; Д. И. Эдельман, Современное состояние изучения памирских языков, ВЯ, 1964, 1; Т. Н. Пахалина, Памирские языки, М., 1969; A. Gorbaczewski, O tadżyckich badaniach nad językami Pamiru, «Przegląd orientalistyczny», 3(67), 1968; B. Składanek, Z problemów dialektologii irańskiej w Tadżykistanie, там же, 3(71), 1969.

[4] Д. Карамшоев, Баджувский диалект шугнанского языка. Автореф. канд. диссерт., Л., 1963.

[5] И. И. Зарубин, Шугнанские тексты и словарь, М.— Л., 1960.

группы и еще шире — индоевропейской.

В настоящее время в секторе ведется работа над шугнанско-русским словарем (составитель Д. Карамшоев, научный редактор С. В. Хушенова) и над монографическим описанием хуфского диалекта рушанского языка (С. Мирзоудинова) и орошорского языка (Х. Курбанов).

Составление «Шугнанско-русского словаря» в основном завершено, продолжается работа по редактированию и уточнению отдельных словарных статей, содержащих местные названия растений, бытовую лексику и проч. Имеющиеся до сих пор словари памирских языков носили характер приложения к текстам и отражали главным образом лексику этих текстов.

Подготавливаемый словарь, являясь первым опытом в области лексикографии памирских языков, отражает лексическое богатство трех диалектных разновидностей: собственно шугнанского и близких к нему говоров — баджувского и шахдаринского; в качестве ведущего диалекта принимается шугнанский. Словарь построен по принципу двуязычных словарей, но содержит также и элементы, присущие толковым словарям. Общий объем словаря превышает сто авторских листов. Для облегчения пользования словарем к нему прилагается русский указатель (своего рода «обратный словарь»).

Начиная с 1971 г. в секторе будет разрабатываться тема «Грамматическое описание шугнанского языка» (Т. Бахтибеков). Этой темой завершается этап краткого монографического описания всех языков и диалектов, представленных на советском Памире.

Одновременно предполагается освещать вопросы грамматики и лексики памирских языков в сравнительном плане. В следующее пятилетие (1971—1975) наряду с грамматическим описанием хуфского, орошорского и шугнанского языков намечается разработка таких проблем, как фразеология рушанского и шугнанского языков (А. Каримова, С. В. Хушенова), грамматический род в памирских языках (Д. Карамшоев), русские и интернациональные слова в языках шугнанской группы (Л. Б. Кушлина) и др.

В перспективном плане сектора намечается также составление сравнительного словаря по всем языкам шугнано-рушанской группы. При разработке его возможны два пути: либо создавать отдельные словари по каждому языку или диалекту (например, по рушанскому, хуфскому, бартангскому, орошорскому, сарыкольскому), либо, предварительно разработав инструкцию по составлению сравнительного словаря, на основе уже собранного лексического фонда шугнанского, бартангского диалектов, а также на материале опубликованных кратких словарей составить единую картотеку, внося в нее дополнения для остальных памирских языков (диалектов). Второй путь представляется более эффективным, так как лексика упомянутых языков сравнительно близка и такой подход исключает повторение одних и тех же лексических единиц, неизбежное при составлении словарей по каждому языку. Этот труд будет коллективным, и можно надеяться на участие в нем специалистов-памироведов не только Душанбе, но Москвы и Ленинграда.

Следующая задача — это создание лексического фонда научных записей по каждому памирскому языку и диалекту; важность этой задачи усугубляется тем, что бесписьменные памирские языки в современных условиях претерпевают большие изменения. Институтом языка и литературы АН Тадж. ССР ежегодно организуются экспедиции на Памир для сбора различных языковых и фольклорных материалов.

Фонд сектора год от года пополняется новыми материалами из разной языковой среды, различными по тематике и содержанию. Это и разговорные фразы и лексика (главным образом — названия различных предметов и явлений), и различные фольклорные произведения (поэзия, сказки, рассказы, анекдоты, загадки, пословицы и поговорки).

В связи с накоплением довольно большого фольклорного материала (как на одном из памирских языков, так и на таджикском) сектор в дальнейшем намерен вести исследования также и в области фольклора. Для комплексного изучения памирских языков и имеющихся на каждом из них фольклорных произведений в Институте уже сейчас созданы условия для подготовки специалистов в этой области. В результате, например, Н. Шакармамадов, выходец из Бартанга, успешно защитил кандидатскую диссертацию по народной двуязычной лирике Бадахшана[6] и в настоящее время занят дальнейшим сбором и систематизацией фольклорных материалов.

Поскольку ни одно научное учреждение не готовит специалистов по памирским языкам, то решение этой задачи потребует многих усилий института, сектора и ведущих специалистов. Сектором планомерно реализуются две формы подготовки научных кадров: аспирантура и стажерство; периодически приглашаются видные специалисты для консультаций.

Памироведы Москвы и Ленинграда оказывают большую практическую помощь в подготовке молодых специалистов. В настоящее время сотрудники сектора Х. Курбанов, Т. Бахтибеков и И. Рахимов проходят аспирантуру и научное стажерство при Институте языкознания

[6] Н. Шакармамадов, Народная поэзия Бадахшана. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1969.

АН СССР у известных иранистов В. С. Расторгуевой, В. И. Абаева, Т. Н. Пахалиной и Д. И. Эдельман.

Осенью 1969 г. по приглашению Института языка и литературы АН Тадж. ССР сектор посетил известный советский иранист-памировед В. С. Соколова, которая провела ряд консультаций и бесед с сотрудниками сектора. Текущий и перспективный план сектора был обсужден и уточнен на заседании Отделения общественных наук АН Тадж. ССР с участием В. С. Соколовой.

В ходе обсуждения высказывалась мысль о том, что после укомплектования сектора нужными специалистами следует поставить вопрос об организации на самом Памире специального научного учреждения по изучению языков и фольклора народностей Бадахшана.

Планомерное развитие памироведения не может осуществляться без координации научных исследований всех, кто занимается изучением памирских языков и фольклора и прежде всего,— памироведов нашей страны.

Можно надеяться, что иранисты Москвы и Ленинграда, внесшие большой вклад в изучение памирских языков и фольклора, и в дальнейшем будут способствовать всестороннему укреплению сектора памирских языков с тем, чтобы он смог решать сложные проблемы, стоящие перед современной филологической наукой.

Д. Карамшоев

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

1 апреля 1970 г. состоялась ю б и л е й н а я с е с с и я общего собрания Отделения литературы и языка АН СССР. В сессии приняли участие представители языковедческих и литературоведческих институтов Академии наук СССР и академий наук союзных республик.

В повестке дня сессии три проблемных доклада по языкознанию и два доклада по литературоведению («Ленинское наследие и пути формирования советской многонациональной литературы», чл.-корр. АН СССР Л. И. Тимофеев и «Проблемы развития современной мировой литературы», чл.-корр. АН СССР Б. Л. Сучков).

Акад. М. Б. Х р а п ч е н к о в вступительном слове отметил, что Ленинская сессия Отделения литературы и языка является важным звеном той исследовательской работы, которую осуществляли и осуществляют филологические научные организации всей нашей страны в связи с 100-летием со дня рождения В. И. Ленина.

Ленинская теория — животворный источник успешного развития всех общественных наук, в том числе науки о языке и литературе. Дальнейшее развитие ленинской теории требует острой, непримиримой борьбы с противниками ленинизма, с ревизионистами разных модификаций.

В докладах, включенных в повестку дня юбилейной сессии, не только подводятся итоги исследования важных проблем литературоведения и языкознания, но и намечаются пути дальнейшего их изучения.

Чл.-корр. АН СССР Ф. П. Ф и л и н в докладе «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания» подчеркнул, что одним из аспектов этой проблематики является постоянное внимание не только к конкретным достижениям мировой науки о языке, но и к его идеологической, философской основе. Ни одна научная дисциплина не свободна от философских основ. Неразрывная связь философии и конкретной науки особенно очевидна в гуманитарных дисциплинах, к числу которых принадлежит и языкознание.

В современном языкознании нередко имеет место преувеличение роли языка как источника познания. На этой почве вырастает лингвистическая философия, которая продолжает оказывать воздействие на самые различные лингвистические направления.

Последние десятилетия в истории языкознания прошли под знаком особого внимания к языку как к системе, как к структуре. Вне связей, вне системы в языке нет ничего достойного изучения — таков девиз направлений, получивших общее название «структурная» или «структуральная лингвистика», «лингвистический структурализм» или просто «структурализм».

Всеобщность связей явлений природы и общества — одна из черт диалектики. Системно-структурный подход, стремящийся исследовать всеобщность связей в языке,— закономерное явление в развитии языкознания. Благодаря особому вниманию к исследованию системности языка достигнуты серьезные результаты. Однако нужно различать системный подход к языку как метод изучения языковых явлений и возведение этого системного подхода в абсолют, подчеркивает Ф. П. Филин. В структуральных направлениях языкознания, когда речь идет о сущности языка, т. е. о предмете методологическом, довольно широко представлены различные виды абсолютизирования связей, системности, отрыв их от других, не менее существенных сторон языка.

В связи с этим докладчик останавливается на вопросе о первичности языковой субстанции и вторичности отношений между языковыми явлениями. Наиболее выпукло абсолютизация языковых связей представлена в глоссематике Л. Ельмслева, предложившего абстрагироваться от всякой языковой субстанции — звуковой и семантической, так как языковые объекты есть не что иное, как точки пересечения пучков отношений. Эти крайности теории Ельмслева были подвергнуты критике, в том числе и со стороны структуралистов. Тем не менее, примат отношения над языковой материей характерен для структурального языкознания в целом. Ф. П. Филин определяет это как односторонний подход. Подчеркивая необходимость изучения языковой системы, языковых связей, он призывает не забывать о необходимости дальнейшего изучения самой языковой материи. Важно и то и другое. Можно, конечно, отвлекаясь от объектов, описать только отношения

между ними. Такое описание теперь часто называют формально-структурным. Однако такое описание всегда будет иметь частное значение, его нельзя рассматривать как конечную и единственную цель изучения языка. Если же этот частный исследовательский прием возводить в методологический принцип всеобщего значения, получится структурализм как философское направление.

В той же связи Ф. П. Филин рассматривает вопрос об относительной самостоятельности языковой системы. Общепринято, что язык образует систему и структуру, развивающиеся по своим собственным законам. В соответствии с этим главный объект языкознания — это специфическое строение языка и его история. В то же время учитывается и то, что язык функционирует в обществе, он не безразличен для общества, из чего неизбежно вытекает признание воздействия общества на язык, развитие языка в неразрывной связи с историей общества. Следовательно, предмет языкознания шире, чем описание устройства самого языка. Как органическая часть в него входят общественные функции языка, воздействие общества на язык, как и воздействие языка на общество. Ограничиваясь описанием грамматического строя языка или его фонетической системы, нельзя претендовать на то, что можно исчерпать предмет своей науки, мы считаем это только удобным методическим приемом, а не философской основой исследования. Однако те, кто видят в языке только систему знаков, только отношения между знаками, полагают, что такая система является замкнутой, самодовлеющей. Все привходящие факторы (социологические, психологические, физиологические и др.) объявляются экстралингвистическими и поэтому выходящими за рамки языкознания. Так, системность языка, являющаяся безусловным фактом, структурно-системный подход к языку, являющийся достижением современного языкознания, возводятся в абсолют, отрываются от других сторон языка, от общества, языкознание «дегуманизируется», превращается в своего рода техническую дисциплину. Эта методологическая позиция, когда одна сторона действительности принимается за всю действительность, когда целое подменивается его частью, представлена не только в глоссематике Ельмслева, но и в других структуральных течениях.

Для структурального направления характерен резко выраженный синхронизм. Синхронное описание языка как определенный прием вполне законно и, более того, для известных целей даже необходимо и имеет ряд преимуществ. Однако, когда синхронизм из приема описания превращается в методологический принцип, он становится антиисторическим. Структурализм весьма далек от того, чтобы на месте громадного здания сравнительно-исторического языкознания построить нечто иное, ему равноценное, хотя имеют место попытки внедрить в сравнительно-историческое языкознание некоторые структуральные приемы исследования. Естественно, что целый ряд важных проблем (например, особенности литературного языка в отличие от других разновидностей языка, проблема возникновения и развития национальных языков, проблема возникновения человеческой речи и т. п.) оказывается за пределами интересов структуральной теории как экстралингвистические или не чисто лингвистические.

Далее докладчик остановился особо на вопросе о методах лингвистических исследований. Подход к языку как к целостной структуре с ее иерархическими подразделениями вызывал необходимость выработки новых приемов исследования, предложение которых исходило, прежде всего, со стороны структуральной лингвистики. Появляются опыты лингвистического моделирования, возникает квантитативная или математическая лингвистика. Вместе с этим возникли новые трудности, имеющие прямое отношение к методологии языкознания, поскольку связь между методикой исследования и методологией хотя далеко не всегда является прямой, но она существует. Наиболее существен в споре о методах вопрос о соотношении индуктивного и дедуктивного подходов к языку. Для структурального языкознания характерен примат дедуктивного над индуктивным. Индуктивный метод определяется как эмпирический, интуитивный, малонаучный или ненаучный и приписывается старому «доструктуральному» языкознанию. При этом исходят из положения, что всякая наука должна строиться на общих определениях, а эти определения выдвигаются самим исследователем дедуктивно, исходя из заранее заданных исследователем предпосылок. Впрочем, по словам А. Мартине, эти предпосылки устанавливаются теоретиком на основе собственного предыдущего опыта. Таким образом, при попытках устранить опыт, индукцию, сделать это до конца не удается никому. Упор делается на точность определения одних понятий по отношению к другим, чего можно достичь будто бы только при чисто формальных определениях, без попыток исчерпать самую сущность объекта, его реальность. Таким образом приемы исследования превращаются в самоцель, ставятся выше познания объективной реальности. Совершенно очевидно, что противопоставление дедукции индукции в применении их к такому сложному объекту, как язык, не может выдержать серьезного испытания временем и практикой. Всякое научное познание языка должно отправляться от реально существующих языковых фактов, в противном случае новые методы не дают положительных результатов.

Ф. П. Филин обращает внимание на весьма тревожные и нежелательные последствия, к которым ведет абсолютизация формально-дедуктивного метода и пренебрежение индукцией. За последние годы появляются молодые ученые, которые считают излишней профессиональную выучку. Знание языка или языков избранной специальности, сравнительно-исторической грамматики как основы профессиональной подготовки, истории языка в его письменной и устной разновидностях, диалектологии, всего богатства современного языка считается ненужной обузой, мешающей производить формально-дедуктивные операции. Наблюдается чрезвычайная легкость перехода от операции над одним языком к операциям над другими языками. Получается, что важны сами эти операции, а не изучаемые языки. Следствием такого легкомысленного подхода к специальности является отсутствие профессиональных знаний и уход от действительности, о чем с тревогой говорят многие отечественные и зарубежные языковеды.

Ф. П. Филин выдвигает тезис о необходимости рационального сочетания дедуктивного и индуктивного методов в лингвистических исследованиях с тем, чтобы сущность языковых явлений раскрывалась как можно полнее, чтобы исследования всегда ориентировались на практику в широком смысле этого слова.

В отношении квантитативного или математического метода в лингвистике докладчик отмечает, что наличие в языке таких сторон, которые поддаются исчислению, делает применение математических приемов исследования закономерным. Введение математического аппарата должно быть всегда оправдано, т. е. давать такие результаты, получение которых другими методами невозможно или затруднено. Однако сущность языка далеко не исчерпывается его исчисляемыми сторонами, и здесь оказываются эффективными другие методы. Когда полагают, что структурное и математическое языкознание отменяет все другие направления лингвистики или вбирает их в себя, делает их частными в общей теоретической основе, то это глубокое заблуждение.

Когда речь идет о сосуществовании разных методов, предполагаются разные приемы исследования, подчеркивает Ф. П. Филин, а не мировоззрение, не основы познания мира, которые составляет диалектико-материалистический метод, созданный Марксом, Энгельсом, Лениным. Бурное развитие науки в наше время подтверждает и обогащает этот метод, усиливает его действенность. Однако его дальнейшее развитие и утверждение проходят в ожесточенной борьбе. Те исследователи, которые полагают, что эта борьба их не касается, что наука едина и лишь может быть использована для разных целей, глубоко ошибаются.

Чл.-корр. АН СССР В. А. Аврорин в докладе «Ленинская национальная политика и развитие литературных языков народов СССР» отметил, что советское языкознание обязано В. И. Ленину постановкой и разработкой важнейших теоретических проблем, ориентацией его на решение многих актуальных вопросов жизни социалистического общества — таких, как развитие культуры, народного образования и национально языковых отношений. В. И. Ленину принадлежит разработка основных принципов национальной политики Коммунистической партии и ее важной органической части — политики языковой, под регулирующим воздействием которой функционируют и развиваются языки многочисленных народов Советского Союза [1].

Одной из первоочередных задач партии, государства, всех общественных организаций В. И. Ленин считал идеологическое воздействие на самые широкие массы населения. Чтобы выполнить эти задачи, необходимо обращаться к людям на близком и полностью понятном им языке. Содержание преподносимого — это главное, резюмирует В. А. Аврорин, а способ преподнесения, в том числе и язык,— второстепенное; но достижение главного находится в прямой зависимости от правильности выбора второстепенного. Эту мысль В. А. Аврорин подкрепляет положениями основоположника русской педагогики К. Д. Ушинского и Л. В. Щербы о роли родного языка в практике педагогической работы и конкретизирует лингвистический аспект термина «родной язык».

Родным языком, в лингвистическом понимании этого термина, следует считать тот язык, которым данный коллектив людей или отдельный человек владеет в совершенстве, на котором люди могут не только свободно говорить при любых обстоятельствах, но и думать, не совершая при этом мыслительной операции перевода с одного языка на другой. В случае подлинного двуязычия родным языком может быть не один, а два языка, и тогда можно говорить о двух родных языках или о первом и втором родных языках.

Существуют и другие способы определения родного языка: родным называют язык того народа, к которому человек на тех или иных основаниях себя причисляет; родным именуется язык родителей; родным называется язык, которым сам человек в достаточной мере не владеет, но хочет подчеркнуть свое уважение к этому языку и его носителям, свое стремление овладеть этим языком. Встречаются и другие подобные случаи, когда оценка языка как родного резко расходится с фактической языковой ситуацией. Они, несомненно, представляют интерес

[1] Подробное изложение этих проблем см.: В. А. Аврорин, Ленинские принципы языковой политики, ВЯ, 1970, 2.

с демографической, социологической, психологической точек зрения, но для языковедческой науки и тем более для языковой практики ценности не представляют. Лингвист обязан опираться на факты, в данном случае — на действительный уровень владения тем или иным языком.

При решении вопроса о языке идеологической работы, а тем более о языке обучения в школе, В. А. Аврорин предлагает руководствоваться в каждом отдельном случае функциональным типом языка. Язык с богатыми литературными традициями, принадлежащий хотя бы относительно крупной нации, например, в союзных республиках, позволяет обеспечить все уровни пропаганды и обучения; роль русского языка при этом сводится в основном к функции межнационального общения. Просто решается вопрос и в тех случаях, когда у целой народности или у значительной ее части произошла смена родного языка, и родным в лингвистическом смысле слова стал русский язык или язык иной крупной нации. Особые трудности возникают, когда смены языка не произошло и народность в своей массе сохраняет собственный родной язык, однако в силу малочисленности населения отсутствует практическая возможность осуществления высшего, а иногда даже и среднего образования на родном языке.

В отношении младописьменных малых наций и народностей В. А. Аврорин предлагает следующий путь решения проблемы. На первом этапе обучения в школе (от двух до семи лет, в зависимости от конкретных условий) обучение проводится на родном языке учащихся. Затем обучение переводится на русский язык или язык соответствующей союзной республики. Переход на другой язык должен быть хорошо подготовлен, поэтому с первого дня прихода учащихся в школу необходимо начинать планомерное и глубокое изучение этого языка. Преимущества такого подхода заключаются в том, что за время обучения неродного языка учащиеся с помощью понятного им родного языка приобретают предусмотренные школьными программами знания и в то же время настолько овладевают другим языком, что дальнейшее обучение на этом языке не создает для них помех. В тех же условиях необходим строго дифференцированный подход к использованию родного или неродного языков и в идеологической работе среди взрослого населения. В каждом конкретном случае должен избираться тот язык изложения, который способен дать наибольший эффект; при этом не будут ущемлены права ни одного из языков, т. е. получит свое осуществление принцип последовательного демократизма. Такое решение вопроса лучше всего, по глубокому убеждению В. А. Аврорина, согласуется с ленинским учением по национальному вопросу.

Руководствуясь ленинскими положениями Программы КПСС, языковеды призваны выполнять следующие в высшей степени ответственные и почетные задачи: 1) всеми средствами содействовать дальнейшему развитию всех языков народов Советского Союза; 2) всем, кто желает в совершенстве овладеть русским языком, оказывать совместно с деятелями педагогической науки действенную и квалифицированную помощь путем создания методических руководств и учебников; 3) организовать глубокое и всестороннее изучение современной языковой ситуации и тенденций ее изменения у всех народов нашей страны. В то же время чем интенсивнее будет развиваться работа по всем остальным направлениям советской лингвистики, тем успешнее могут быть решены и перечисленные задачи, тем выше будет теоретический уровень взаимодействия лингвистической науки с языковой практикой.

Акад. АН УССР И. К. Белодед в докладе «Проблемы изучения языка В. И. Ленина» рассматривает язык научного, публицистического, пропагандистского, политического творчества В. И. Ленина как новый этап в развитии речетворчества в эпоху социалистической революции и построения первого в мире советского государства.

Многогранность, необозримое богатство языка В. И. Ленина, культура его речи зиждутся на широком фундаменте достижений русского языка, а также языковых ценностей, выработанных классическими и европейскими языками. Русский речевой стиль Ленина в широком смысле этого понятия связан с языковыми традициями революционных демократов, с их воинствующей направленностью и прямотой, страстностью их слова. Образность творчества великих русских писателей, которых В. И. Ленин часто цитировал, нашла глубокое отражение в его языке и стиле. Исследователи отмечают, что в отношении к слову он был «так же аскетичен и суров, как Толстой». Ленин не допускал в своем стиле ни вычурности, ни краснобайства, ни помпезности. В общении с рабочими еще в конце XIX в. вырабатывался ленинский научно-публицистический стиль, ставший действенным средством распространения марксистско-ленинского учения в среде широких народных масс именно потому, что в нем соединялись конкретные, понятные для рабочих факты с их теоретическим анализом. Весь этот комплекс проблем языка и истории является важным объектом исследования для языковедов, историков и социологов.

Характерной чертой новаторства Ленина явилось органическое сочетание в едином сплаве достижений всех стилей высокоразвитого литературного языка с широкой основой народно-разговорной речи — это получило свое полное раскры-

тие и применение прежде всего в области революционного действия, повышения сознательности масс, мобилизации их на активное творчество, приобщения их к ценностям науки и духовной культуры. Это явление обусловлено новым этапом социального и культурного развития общества при активном участии широких масс трудящихся. На большом конкретном материале И. К. Белодед дает подробный анализ языково-стилистических средств произведений и ораторских выступлений В. И. Ленина.

В заключение И. К. Белодед указывает, что изучение языка В. И. Ленина должно осуществляться во всей многогранности его стилей. Необходимы фундаментальные исследования роли творчества В. И. Ленина в развитии русской и мировой речевой культуры, в истории русского литературного языка, новаторского значения слова Ленина для всей языковой практики социалистического общества. Вопрос о словарях языка В. И. Ленина поднимался в нашей науке еще в 20-х годах; решение этого вопроса, подчеркнул докладчик, настоятельно необходимо в наши дни. Кроме Словаря философских, социально-экономических, общекультурных социологических понятий, зафиксированных в трудах В. И. Ленина, большое значение будет иметь также общий Словарь языка Ленина, который осветил бы богатство и многогранность его лексических, фразеологических и образных средств.

Ю. С. Елисеев (Москва)

*

16 апреля 1970 г. в Москве проходила Юбилейная научная конференция «В. И. Ленин и основные проблемы советского языкознания», организованная Институтом языкознания и Институтом русского языка АН СССР.

Ф. П. Филин во вступительном слове отметил, что ленинизм является мощным оружием, позволяющим языковедам правильно оценивать процессы, происходящие в мировой лингвистике, глубоко и всесторонне понимать язык в его современном состоянии и его истории. Признавая важность абстракций различных уровней в лингвистических исследованиях, Ф. П. Филин подчеркивает, что исходным материалом в любых случаях является язык во всей его реальности и многообразии, отражающий объективную действительность. Поэтому языкознание, имея многочисленные точки соприкосновения с различными науками, в том числе и естественными и точными (особенно с математикой), было, есть и будет гуманитарной наукой. Претензии любого, пусть самого сверхмодного направления в современном языкознании на господствующее место в науке о языке совершенно несостоятельны. Методологической основой для лингвистического исследования является учение Маркса — Энгельса — Ленина.

В докладе «Марксистско-ленинская теория познания и некоторые теоретические вопросы языкознания и семиотики» В. З. Панфилов остановился на гносеологических аспектах проблемы взаимоотношения языка и мышления. Взаимоотношение языка и мышления рассматривается докладчиком как одна из сторон основного вопроса философии, так как первичность материи и вторичность сознания проявляется также и в том, что мысль осуществляется в материальных языковых формах. В. З. Панфилов детально остановился на роли, которую играет язык в процессах чувственного познания, осуществляемого в формах ощущений, восприятий и представлений, с одной стороны, а с другой — в процессах абстрактного, обобщенного познания, совершающегося в формах понятий, суждений и т. п. Язык (и иные знаковые системы) является необходимым средством осуществления и существования именно абстрактного, обобщенного мышления. Абстрактное обобщенное мышление осуществляется в неразрывной связи и на основе материальных языковых форм, которые выступают при этом как своего рода посредники между познающим субъектом и познаваемыми объектами, как «представители» этих последних в мышлении человека. В докладе было подвергнуто анализу понятие материальной стороны языка, в частности — в процессе внутренней речи; в то же время рассматривалось означаемое, его отношение к содержательной стороне мышления и его роль в отражении действительности. Означаемое (как и содержательная сторона мышления) обладает субстанциональной природой, формируясь в связи с отражением действительности (причем этот фактор играет решающую роль для более высоких языковых уровней). Тем не менее означаемое не дублирует содержательную сторону мышления, так как: 1) последняя, будучи тождественна содержательной стороне речи, не сводится к значениям языковых единиц, используемых в процессе мышления; 2) по-видимому, существуют несколько уровней структурно-семантической организации мышления (ср. факт наличия нескольких уровней анатомо-физиологической организации мозга, связанных с его мыслительной деятельностью). Из этого следует, что естественные языки и другие знаковые системы не являются моделями мира, жестко определяющими характер отражения действительности познающим субъектом, как это полагают сторонники гипотезы Сепира — Уорфа и некоторые представители семиотики. Решающим аргументом против этой точки зрения явля-

ется также непрерывное развитие человеческих знаний об объективной действительности, факты развития естественных языков и искусственных знаковых систем, создания метаязыков различных степеней, что возможно лишь при том условии, если постоянно осуществляется выход за пределы существующих знаковых систем. В докладе была обоснована также принципиальная возможность объединения в пределах языковой единицы ее материальной стороны (означающего) и ее идеальной стороны (означаемого), что нередко отрицается. В заключение В. З. Панфилов подчеркнул фундаментальное значение марксистско-ленинской теории познания для решения теоретических вопросов языкознания и семиотики.

В. Н. Ярцева в докладе «Количественные и качественные изменения в языке» сказала, что проявление элемента количества в языке наиболее заметно связано прежде всего с понятием частотности, которая принадлежит функциональной стороне языковой системы; учет частотности любого языкового явления — полезный прием при анализе. Переходя к сущностным характеристикам языка, докладчик отметила, что отдельные уровни языковой системы взаимодействуют при функционировании языка как средства коммуникации, и это взаимодействие должно отражаться в процессе исторического развития языка. Диалектика языковой системы состоит в том, что, стремясь к сохраняемости в целях адекватного функционирования, она изменяется именно в процессе этого функционирования. Для любой модели языка важно различать: а) уровень ее емкости и б) степень частотности ее употребления. Емкость модели зависит не только от ее строения, но и от структурных свойств ее членов, последнее непосредственно связано с качественной характеристикой конструкций языка.

Конкретное выражение единства качественной и количественной сторон языка связано с определенной мерой, проявляющейся в типологических чертах отдельного языка. Качественная характеристика языковых элементов имеет значение для синхронии, но еще ярче проявляется в диахронии. Многосторонностью структуры языка обусловливается сложность связей между различными уровнями языка как частями языковой структуры, отношение различных уровней языка к общественным условиям его функционирования. Внимание лингвиста должно быть направлено на внутренние законы развития структуры языка и на те противоречия, которые в нем существуют и которые дают направление «самодвижению» в диалектике развития языка. Нарастание изменений на определенном участке одного уровня языка, дающее накопление количества, может привести 1) к переделу системы (например, новому членению грамматико-семантического поля) или 2) к переходу явлений из одного языкового уровня в другой. Промежуточные языковые зоны — наиболее благоприятные участки для возникновения изменений, так как противоречивое начало, заложенное в каждом элементе языка, при употреблении этого языкового элемента выявляет борьбу противоположностей и ведет к расщеплению единого. Возникновение в процессе развития языка новых языковых структур и типов образует цепь непрерывностей, что обусловлено диалектикой языкового развития и постоянной коммуникативной функцией языка. В заключение В. Н. Ярцева подчеркнула, что на базе нового качества возникают новые количественные соотношения и возможности нового интенсивного нарастания количественных характеристик языка.

В докладе «Философские идеи В. И. Ленина и проблемы лингвистического моделирования» С. К. Шаумян высказал мнение, что абстрактное лингвистическое моделирование выдвигает философские проблемы, которые нуждаются в правильном решении с позиций диалектического материализма. Абстрактные лингвистические модели — это иерархические системы лингвистических понятий, которые представляют собой лингвистические конструкты. В связи с этим возникает вопрос о природе объектов, соответствующих лингвистическим конструктам. С. К. Шаумян придерживается той точки зрения, что отношения принадлежат к объективной реальности и, изучая элементы языка как пучки отношений, лингвист тем самым исследует определенные стороны объективной реальности.

А. А. Уфимцева в докладе «Категории общего и отдельного и теоретические проблемы языка» говорила о том, что категории общего и отдельного — это основные гносеологические категории, между двумя полюсами которых совершаются процессы обобщения и конкретизации, интеграции и дифференциации, свойственные человеческому мышлению. В языке антиномии общего и отдельного, абстрактного и конкретного лежат в основе наиболее фундаментальных принципов языковой организации. На противопоставлении общего и отдельного, виртуального и актуального основывается двухплановый модус существования человеческого языка: язык как система обобщенных знаков и моделей их сочетаемости и речь как конкретная реализация этой системы. В плане структурной организации дихотомия общего и отдельного находит свое выражение в противопоставлении тождеств и различий, в характере содержания обобщенных категорий и конкретных языковых единиц, в принципах различных группировок и сочетаний языковых знаков. На указанном противопоставлении основываются и многие он-

тологические свойства слова: его знаковый характер, наличие двух модификаций словесного знака — виртуального и актуального, асимметрия в соотношении двух сторон знака, историческое и синхронное тождество слова, дифференциальный характер элементов, составляющих означаемое и означающее словесного знака и т. д.

А. В. Десницкая в докладе «Об историческом содержании понятия „диалект“» отметила, что направление исследований по теме «язык и диалект» и особенно тех ее аспектов, которые связаны с историческим процессом образования национальных языков и соответственно с ролью территориальных диалектов в этом процессе, определяется ленинским учением о нациях, в образовании и развитии которых язык является одним из существенных факторов. Понятие «диалект» наполняется историческим содержанием в зависимости от конкретных социально-исторических условий образования и устойчивого существования этой лингвистической единицы. Многообразие и сложность процессов диалектообразования и соотношения их с противоположными тенденциями в развитии языков определяются в основном причинами экстралингвистического характера. Поэтому постановка вопроса об историческом содержании понятия «диалект» теоретически оправдана и необходима. Тем не менее, что касается исторических закономерностей развития языков в эпохи, предшествующие формированию наций, то здесь речь может идти об определении некоторого количества наиболее характерных вариантов лингвистических ситуаций применительно к отдельным периодам и типам социально-исторического развития. Проблема соотношения диалектов с литературными языками — в том виде, как эти соотношения слагаются в современном мире, и в той степени, в какой они оказывают влияние на практику речевого общения и культурного развития современного человечества,— естественно, оказывается в центре внимания и своей актуальностью выдвигается на передний план социально-лингвистических исследований. Для теоретической постановки вопроса об историческом содержании понятия «диалект» более релевантны лингвистические материалы, относящиеся к тем периодам общественного развития, когда процессы диалектообразования сохраняли еще свою активность. В этом аспекте специальный интерес представляет диалектологическое изучение бесписьменных языков и вообще изучение типов языковых отношений, сохраняющихся в той или иной степени у народностей и племен, еще не консолидировавшихся в нации.

Ю. С. Сорокин в докладе «Проблемы изучения русского языка в советскую эпоху» указал, что после Великой Октябрьской социалистической революции в ходе социалистического переустройства страны, в процессе развертывающейся культурной революции особенно возросла роль русского литературного языка как мощного орудия культуры. Коммунистическая партия неизменно придавала большое значение языковому строительству в нашей стране, сохранению и развитию культуры языка.

Принципиальное значение имела постоянная борьба против засорения и жаргонизации литературного языка, против левацких утверждений о том, что революция в корне изменила язык, разрушив его связи со старыми культурными традициями. Основное направление развития русского литературного языка в советскую эпоху заключалось в очень интенсивных переменах в его лексическом составе, в изменениях его синтагматики, отражающих новые потребности советской действительности, при устойчивости его строя, его сложившейся парадигматики, основных особенностей его структуры. Крупнейшие лингвисты-русисты, развернувшие свою деятельность после Октябрьской революции (Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур и др.), много сделали для развития принципиально нового учения о русском литературном языке, для совершенствования культуры речи. Докладчик остановился на достижениях в изучении стилистической системы современного русского литературного языка, отметив, что в настоящее время создаются все необходимые условия для дальнейшего теоретического прогресса в области этой сложной и многообразной проблематики.

В докладе Л. И. Скворцова «В. И. Ленин о культуре речи и языковой политике» содержался обзор высказываний В. И. Ленина о богатстве и выразительной мощи русского языка, о точности, ясности и стилистической уместности словоупотребления. Отношение Ленина к языку, его забота о речевой культуре народа никогда не были чисто филологическими; проблему понятности, ясности изложения он связывал с доходчивостью и действенностью партийной пропаганды. В труднейшие послереволюционные годы В. И. Ленин говорил о настоятельной необходимости культурного воспитания народных масс, предпринял важные шаги по организации работы над словарем русского литературного языка «от Пушкина до Горького», непосредственно руководил начавшейся в стране культурной революцией. Языковая политика советского государства, основываясь на творческом наследии В. И. Ленина, удерживает русскую литературную речь на высоком уровне современной культуры, связанной одновременно и с письменными традициями, и с народными истоками живого словоупотребления наших дней.

В докладе «Марксистско-ленинская теория наций и ее значение для языкового строительства в СССР» О. П. Суник, остановившись на основных положениях марксизма-ленинизма об образовании наций и национальных языков, подчеркнул, что языковое строительство в нашей стране опирается на достижения современной лингвистической науки, непосредственно связанные с изучением звукового состава, грамматического строя языков, их словарного состава, диалектологии. Было бы неправильно полагать, что в области языкового строительства советскими языковедами ввиду завершения работы по созданию письменности сделано все, что от них требуется. Актуальными проблемами советского языкового строительства на его современном этапе являются: дальнейшее совершенствование имеющихся письменностей, систем орфографий многих младо- и старописьменных языков (в том числе орфографии русского языка), упорядочение терминологии, создание словарей различных типов, полноценных учебников и учебных пособий по многочисленным литературным языкам. Это большая и сложная работа требует углубленного исследования всех без исключения языков — как письменных так и бесписьменных. Только на базе научного изучения языков различных семей и типов, а также на основе глубокого изучения процессов, происходящих в этнической и языковой жизни народов СССР, могут быть правильно поняты и разумно использованы закономерности развития и взаимодействия различных языков в условиях многонационального социалистического государства.

М. А. Кумахов (Москва)

*

6 мая 1970 г. в Лейпциге состоялся научный коллоквиум, посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Коллоквиум, организованный лейпцигской ономастической рабочей группой при Университете им. Карла Маркса, обсуждал проблемы ономастики, разрабатываемые в Советском Союзе. В коллоквиуме приняли участие германисты, слависты, историки, а также преподаватели и студенты. В центре внимания коллоквиума находились ценные результаты исследований советских специалистов по ономастике, полученные в последние годы. В работах советских ученых делается попытка выявить основные компоненты общей теории имен и, в частности, указывается на необходимость учитывать роль имен собственных в языковом процессе коммуникации, а также общественную природу языка.

Э. Эйхлер (Лейпциг) сделал сообщение о советских работах по теории ономастики и присоединился к выводу советских ученых о том, что ономастика является междисциплинарной отраслью исследования, связывающей лингвистику с историей заселения определенных территорий и с географией. Исторические и географические данные, которые могут осветить связи истории общества и языка, являются неотъемлемым инструментом исследователя ономастики. Доклад Э. Эйхлера касается главным образом выпущенной в 1969 г. книги советского англиста В. Д. Беленькой (Москва) о роли топонимов в лексической системе языка и ее концепции топонимических категорий, исходящей из синхронного рассмотрения собственных имен. Особую важность приобретает использование собственных имен в языке современного общества, что придает им определенную дополнительную значимость (вторичная мотивированность).

И. Шультхайс (Лейпциг) коснулся разрабатываемого в советской ономастике вопроса о вариативности имен собственных и ее значении для изучения связей между именами собственными и обществом. Он не ограничился исследованием только топонимов, но проанализировал также прозвища и фамилии, обнаруживающие богатую вариативность не только в русском языке.

Г. Вальтер (Лейпциг) говорил о сущности ономастической информации, опираясь при этом на марксистскую философию.

С. Кёрнер (Борна) в своем докладе коснулся псевдонимов В. И. Ленина, классифицировал около 150 до сих пор известных ленинских псевдонимов и исследовал историю их возникновения, тесно связанную с историей рабочего движения.

В. Фурман (Эрфурт) рассмотрел употребление терминов «синхрония — диахрония», «оппозиция» и др. в ономастическом исследовании. Студент И. Каваэль (Лейпциг) осветил продуктивность русских названий жителей, образованных от топонимов, особенно в советскую эпоху. Участники совещания получили библиографию новых советских работ по ономастике, составленную И. Каваэлем и И. Шультхайсом.

Развернувшаяся оживленная дискуссия показала большой интерес тематики совещания и новую ориентацию ономастики ГДР в области синхронных исследований и в вопросе о соотношении языка и общества в ономастике.

Э. Эйхлер (Лейпциг)

Перевел с немецкого *М. М. Маковский*

*

С 7 по 9 апреля 1970 г. в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР состоялась научная конферен-

ция по проблеме «Склонение в палеоазиатских и самодийских языках», которая была организована Сектором палеоазиатских и самодийских языков и в работе которой приняли участие языковеды из Томска, Новосибирска, Якутска, а также сотрудники Института этнографии АН СССР, Северного отделения ЛГПИ им. А. И. Герцена и ЛО издательства «Просвещение». На конференции было прочитано 19 докладов.

В своем вступительном слове чл.-корр. АН СССР А. В. Десницкая (Ленинград) отметила, что в докладах конференции по палеоазиатским и самодийским языкам, организуемой впервые, затрагивается материал подавляющего большинства палеоазиатских и самодийских языков. О значительных успехах североведения свидетельствует тот факт, что от описания отдельных языков и диалектов специалисты-североведы переходят к сравнительно-историческим и сравнительно-типологическим исследованиям, к обобщенному рассмотрению языковых фактов.

П. Я. Скорик (Ленинград) в докладе «Итоги и задачи исследования в области палеоазиатских и самодийских языков» обрисовал состояние изученности каждого из рассматриваемых языков на данный момент и сформулировал общие проблемы североведческих работ.

Проблемы эти следующие: 1) языковая общность коренного населения северо-востока Азии и Северной Америки, 2) генетическая общность самодийских языков и их взаимосвязи с языками соседних народов. Вторая проблема относится к уральской гипотезе, согласно которой генетическая общность признается между финно-угорскими и самодийскими языками. Однако предполагается, что самодийцы, мигрировавшие с Саян на Север, ассимилировали обитавших там палеоазиатов. К такому выводу пришел в 30-х годах известный советский ученый Г. Н. Прокофьев, обнаруживший в самодийских языках элементы палеоазиатского субстрата. Таким образом, две упомянутые проблемы объединены более общей проблемой, именно проблемой древнего расселения аборигенов Севера — от Кольского полуострова до Гренландии. Здесь смыкаются воедино научные интересы лингвистов, историков, этнографов и археологов. Для того чтобы лингвисты успешно решили поставленную перед ними задачу, изыскания сопоставительно-типологического и сравнительно-исторического плана (начатые в трудах В. Г. Богораза и С. Н. Стебницкого) необходимо было предварить тщательным, подробным описанием каждого отдельно взятого языка на базе полевых данных. В настоящее время работы этого подготовительного этапа в основном завершены (или завершаются). Докладчик предостерег против поверхностного, некритического подхода к материалу, против чисто внешних сопоставлений отдельных языковых элементов, что наблюдается в работах некоторых зарубежных ученых (Й. Ангере, К. Боуда и др.). Подлинный характер той или иной языковой общности может быть выявлен только в результате систематического сравнительного анализа, в результате раскрытия внутренних связей языков.

Свидетельством того, что палеоазиатоведение выходит за рамки «узкоместной» проблематики, явился прочитанный на конференции доклад А. П. Дульзона (Томск) «Кетско-тюркские параллели в области склонения». Основываясь на большом фактическом материале, автор показал, что падежные показатели кетского языка обнаруживают значительные схождения с соответствующими тюркскими аффиксами и что эти схождения вряд ли можно объяснить случайным совпадением. Доклад вызвал оживленную дискуссию.

На конференции было сделано несколько обзорных докладов по группам языков, связанных генетической общностью. В докладе Н. М. Терещенко (Ленинград) «Склонение в самодийских языках» раскрыты особенности падежных систем в ненецком, энецком, нганасанском и селькупском языках. В последнем имеются значительные отличия от других самодийских языков (состав падежей, морфологическая структура падежной формы и т. д.), что свидетельствует о давней обособленности селькупского языка и его длительном самостоятельном развитии.

Г. А. Меновщиков (Ленинград) в докладе «Падежи и типы склонения в эскимосско-алеутских языках» показал, что состав падежей и типы склонения во всех эскимосских диалектах (включая гренландский и лабрадорский) совпадают, тогда как в алеутском языке имеется только два морфологически выраженных падежа (ср. 8—9 падежей в диалектах эскимосского языка). Эти падежи, абсолютный и относительный, восходят к периоду гипотетической эскимосско-алеутской общности; в дальнейшем же, как показывает материал, развитие эскимосского и алеутского языков пошло различными путями.

Если генетическая принадлежность селькупского и алеутского языков не вызывает сомнений, то вопрос о положении ительменского языка в чукотско-камчатской группе до сих пор остается спорным. Этому вопросу было уделено большое внимание в докладе П. Я. Скорика «Склонение в чукотско-камчатских языках». При общности в этих языках систем склонения в плане их содержания (по совокупности падежных значений) они имеют существенное различие в плане выражения (по количеству падежей). Различие это, в основном, обусловлено синкретизмом падежей в одних языках и диффе-

ренцированностью их в других. Сравнительный анализ свидетельствует о том, что системы склонения в чукотско-камчатских языках (включая ительменский) наряду со структурной и функциональной общностью имеют, в основном, и общность материальную. Большая или меньшая степень материального различия между падежными системами этих языков явилась результатом разной длительности обособленного развития каждого из них, причем обособленное развитие ительменского языка, несомненно, было наиболее длительным и протекало под интенсивным влиянием извне.

Доклад А. Н. Жуковой (Ленинград) «О склонении существительных в паланском, карагинском и алюторском диалектах корякского языка» был посвящен также группе языков: как показал докладчик, различия между паланским, карагинским, алюторским и «собственно корякским» (чавчувенским) диалектами настолько значительны, что позволяют говорить о них как о самостоятельных близкородственных языках.

Серия докладов была посвящена рассмотрению падежных систем в отдельных палеоазиатских и самодийских языках. Э. Г. Беккер (Томск) в докладе «К вопросу о падежах в селькупском языке» подробно анализировала случаи образования падежных форм, когда два или даже три падежных аффикса сочетаются в составе одной словоформы. Таким способом образуется, например, форма отложительного падежа, аффикс которого присоединяется не к основе, а только к формам местно-временного и местно-личного падежей. В докладе А. П. Володина (Ленинград) «Система склонения в ительменском языке» была рассмотрена падежная парадигма, насчитывающая, по последним данным, 11 падежей (ранее было известно восемь падежей). А. Н. Жукова прочла доклад «Суффигированный артикль в корякском языке», где было четко выявлено различие между двумя типами склонения. Существительные, обозначающие предмет и неопределенное лицо, склоняются по I типу; существительные, обозначающие определенное лицо (включая имена собственные),— по II типу, который характеризуется суффигированным артиклем *-нэ- ~ -на,-йка*. П. И. Инэнликэй (Ленинград) посвятил свой доклад уточнению инвентаря падежей в чукотском языке. Изложив требования, которым должна отвечать падежная форма, докладчик показал, что традиционно выделяемый в чукотском назначительный падеж не отвечает этим требованиям и потому должен быть исключен из состава падежей. Докладчик настаивал на введении в парадигму склонения (в качестве уподобительного падежа) формы на *-мил ~ -мэл*, которая отвечает всем требованиям, предъявляемым к падежной форме.

Частным вопросам склонения в палеоазиатских и самодийских языках было посвящено пять докладов. Г. Н. Курилов (Якутск) анализировал атрибутивные словосочетания в юкагирском языке, где в роли зависимого члена выступает существительное, либо оформленное аффиксами *-н*, *-д*, либо с нулевым показателем; это различие в оформлении обусловлено различием в значении. Т. И. Пороотова (Томск) на базе большого фактического материала пришла к выводу, что в падежных аффиксах множественного числа в кетском языке с помощью специальных показателей (*д:н*) маркируется одушевленность или неодушевленность обозначаемого существительным предмета. В обстоятельном докладе Т. Г. Перфильевой (Новосибирск) были рассмотрены способы выражения пространственных отношений в ненецком языке. И. П. Сорокина (Ленинград) сделала доклад о функциях локативных падежей в энецком языке. Доклад Н. М. Емельяновой (Ленинград) «Падежные аффиксы вне системы склонения (на материале эскимосского языка)» был посвящен важной проблеме отграничения падежной формы от наречия: грань эту затруднительно провести даже в хорошо изученных языках; тем более важна постановка вопросов подобного рода для палеоазиатских и самодийских языков, изученных сравнительно мало и не имеющих литературной нормы.

Было прослушано также три доклада, посвященных языкам, типологически близким палеоазиатским и самодийским; два доклада базировались на материале финно-угорских языков: Н. И. Терешкин (Ленинград) «Падежи именного склонения в диалектах хантыйского языка» и И. А. Селицкая (Ленинград) «О роли падежей объекта в передаче видовременной характеристики действия (на материале прибалтийско-финских языков)» и один доклад — на материале кавказских языков: Ф. А. Гайдарова (Ленинград) «О структуре падежных форм в лакском языке». Эти доклады представили большой интерес в сопоставительно-типологическом плане.

В докладе кавказоведа И. О. Гецадзе (Ленинград) «К типологии падежных систем» был поставлен вопрос о структурно-функциональных параллелях, прослеживаемых между палеоазиатскими языками и языками Кавказа. На материале абхазо-адыгских языков, с одной стороны, и кетского языка, с другой, докладчик продемонстрировал весьма показательные типологические схождения в области многоморфемного глагольного комплекса и в синтаксическом назначении падежных форм. Этот доклад вызвал оживленный отклик у участников конференции.

В ходе прений и обсуждения итогов конференции была единодушно высказана мысль о том, что выбор узкой темы ока-

зался чрезвычайно плодотворным: это позволило подойти к материалу множества в большинстве своем разноструктурных и генетически неродственных языков под одним определенным углом зрения, расширило представления участников о палеоазиатских и самодийских языках в целом и дало обильную пищу для сопоставлений. Сопоставления же, расширяя кругозор исследователя, помогают глубже проникнуть в сущность явлений изучаемого языка. Следует отметить также, что в научный обиход было введено большое количество не известного ранее материала — почти все доклады построены на полевом материале, собранном докладчиками за последние годы. Было принято решение опубликовать материалы конференции отдельным сборником.

Конференция способствовала укреплению контактов между лингвистами-североведами из разных городов страны и положила начало координации их научной деятельности. Участники конференции послали приветственную телеграмму выдающемуся языковеду проф. А. П. Дульзону, признанному главе томской школы североведов.

А. П. Володин (Ленинград)

*

12—13 мая 1970 г. в Уральском гос. ун-те им. А. М. Горького состоялась научная конференция преподавателей кафедр иностранных языков вузов Свердловска, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Конференцию открыл председатель городского методологического объединения кафедр иностранных языков доцент И. А. Кузнецов.

С. Д. Береснев в докладе на тему «Ленин как оратор» проанализировал лингвистические особенности публичных выступлений В. И. Ленина. С сообщением «Речевой портрет и отношение автора к повествованию» выступила Н. М. Аннинкова. Теме «Числительные в современном английском языке (функционально-семантический обзор)» посвятили своей доклад Я. Г. Биренбаум и И. А. Кузнецов. Г. А. Добрых на материале немецкого языка попыталась вскрыть некоторые стилистические функции парataксиса в художественной прозе. М. Т. Есаулкова поделилась опытом составления отраслевого частотного словаря немецкого языка и предложила структурно-семантический анализ высокочастотных существительных. Описанию терминологических словосочетаний, применяемых в текстах по физике, был посвящен доклад Б. В. Штернгерца.

В коллективном докладе Л. С. Коренцвит, В. П. Жуковой, Е. Б. Тихоновой и А. Б. Шульминой были проанализированы языковые средства выражения безличности в английской технической литературе. С. Д. Береснев на материале немецкого языка изложил принципы и методику выделения классов слов в пределах частотного списка отраслевой литературы. Л. В. Родионова выступила с сообщением на тему: «Сопоставление употребления атрибутивного герундия и атрибутивного причастия в технической литературе на английском языке». В докладе Г. Ф. Шанауровой дано описание алгоритма обобщения глагольных словоформ немецкого языка при безмашинной обработке текста для составления отраслевого частотного словаря. Вопросу о так называемой «интернациональной» лексике, встречающейся в технической литературе, было посвящено сообщение Н. М. Костогрыза.

Вопросов методики преподавания иностранных языков касались доклады В. Н. Багрецова, Л. И. Фомина и Б. В. Штернгерца.

В заключительном слове С. Д. Береснев отметил достижения в научно-исследовательской работе кафедр иностранных языков вузов Свердловска, указал на недостатки (разрозненность тематики, отсутствие комплексности в исследованиях большинства кафедр) и призвал коллективы кафедр заниматься исследованием лексики отраслевых литератур с применением аппарата статистики и теории вероятностей.

Материалы конференции публикуются отдельным томом «Трудов Уральского университета».

М. Т. Есаулкова (Свердловск)

*

19—20 ноября 1969 г. в Институте языкознания АН СССР в рамках V научной сессии по вопросам германского языкознания работал семинар по диахронической фонологии германских языков. В работе семинара принимали участие представители научно-исследовательских учреждений и вузов из 11 городов Советского Союза, а также гости из ГДР и ЧССР.

В докладе «Поляризация как один из факторов эволюции фонематической системы языка» Б. М. Задорожный (Львов) остановился на статусе *h* в различные периоды истории немецкого языка.

А. С. Либерман (Ленинград) высказал в своем докладе предположение о том, что германские умлаутные фонемы образовались в результате синтагматического слияния различительных признаков

аффицируемых и аффицирующих фонем. В этом случае для прагерманского восстанавливается система гласных, в которой *i* и *u* противопоставлялись как передний губному, а *e* и *o* как негубной заднему. Такая реконструкция позволяет обойтись без гипотезы о существовании так называемых умлаутных аллофонов гласных форм.

Г. В. Воронкова (Ленинград) в докладе «Изменчивость содержания фонемы в синхронии и диахронии» указала на то, что фонема не является стабильным пучком дифференциальных признаков, как это может показаться, если исходить только из ее включенности в одномерную привативную пропорциональную оппозицию. Фонологическое содержание ее меняется в зависимости от того, какой конкретно фонеме она противопоставляется в той или иной позиции.

Доклад А. А. Абдуазизова (Ташкент) «К вопросу об акцентологической интерпретации умлаута и сингармонизма» содержал критику методики просодического анализа сингармонизма, предложенной представителями Лондонской фонологической школы. В исследовании данной проблемы докладчик предложил исходить из классификации слоговых фонологических элементов, созданной Е. Д. Поливановым, и из акцентологической теории С. Д. Кацнельсона.

Я. Б. Крупаткин (Севастополь) посвятил свой доклад процедуре определения аллофона через отображение содержащихся в нем дифференциальных признаков на плоскости комбинаторных репрезентаций.

Выступивший в прениях акад. В. М. Жирмунский (Ленинград), в связи с докладом А. С. Либермана обратил внимание на необходимость учитывать морфологические условия, в которых происходит фонетическое изменение, поскольку именно морфологическая связанность толкает вариант к фонемизации, когда исчезает вызывающий умлаут краткий гласный. Кроме того, гипотеза А. С. Либермана не объясняет возникновения умлаута от *o*. Далее В. М. Жирмунский полемизировал с Б. И. Задорожным относительно времени возникновения твердого приступа в германских языках и его органичности для современного немецкого языка, считая, что эти вопросы требуют более глубокого изучения. По мнению В. М. Жирмунского, немецкому *h* придает статус фонемы его противопоставленность фонологическому нулю.

А. Ю. Степонавичюс (Вильнюс) выразил сомнение в наличии у предложенной А. С. Либерманом теории преимуществ перед другими теориями умлаута и обратил внимание Я. Б. Крупаткина на то, что аллофон можно определить и как совокупность двух множеств дифференциальных и недифференциальных признаков. М. В. Раевский (Тула) солидаризировался с выводами Г. В. Воронковой и высказал мнение о существовании в системе определенной иерархии фонологически существенных признаков, которые при изменениях в фонологической системе могут менять свое место в иерархии и функционировать либо как единственно различительные, либо как сопутствующие различительные признаки. А. С. Либерман напомнил о том, что еще Н. С. Трубецкой при определении фонологического содержания фонемы считался с целесообразностью учета некоторых неразличительных признаков фонем. По мнению В. А. Квятковского (Ленинград), аллофоны любого характера заданы заранее правилами того или иного языка. И. П. Иванова отметила недостаточную убедительность теории А. С. Либермана и в связи с докладами Г. В. Воронковой и Я. Б. Крупаткина указала на важность установления иерархии дифференциальных признаков в системе. Ю. К. Кузьменко (Ленинград) высказал мнение о ненужности понятия «аллофон» в теории фонологических изменений Я. Б. Крупаткина. М. И. Стеблин-Каменский (Ленинград) выразил согласие с трактовкой фонологического содержания фонемы, предложенной Г. В. Воронковой, и сделал ряд критических замечаний по докладам А. С. Либермана и Я. Б. Крупаткина, отметив, что отрицание аллофонических изменений противоречит известным науке фактам.

На вечернем заседании первым был заслушан доклад В. Я. Плоткина (Новосибирск), который на материале истории дифтонгов в английском и немецком языках вскрыл некоторые общие черты в динамике систем фонематических оппозиций германских языков.

М. В. Раевский остановился на некоторых возможных причинах верхненемецкого передвижения согласных, которые, на его взгляд, проистекают из взаимодействия общегерманских, западногерманских и эрминонских особенностей в эволюции шумного консонантизма.

Ю. К. Кузьменко изложил в своем докладе «Две модели диахронии аффрикат» некоторые соображения относительно изменений в фонологической системе, связанных с появлением или исчезновением фонологических аффрикат.

Е. И. Беляева (Воронеж) в докладе «Закон Хольцмана и ларингальная теория» сделала попытку объяснить возникновение готских и древнеисландских рефлексов общегерманских *jj* и *ww* с позиций ларингальной теории и определить место готских *ddj*, *ggw* и древнеисландских *ggj*, *ggw* в фонологических системах соответствующих языков.

М. И. Стеблин-Каменский в прениях отметил, что процессы, о которых говорилось в докладах В. Я. Плоткина и М. В. Раевского, могут получить

и другие, возможно, более убедительные объяснения, не основанные на учете только системного фактора. О возможности объяснить изменения в системе фонем действием несистемных факторов говорили Г. Г. Едиг (Омск) и А. С. Либерман. Положительно оценили предложенную Ю. К. Кузьменко теорию образования аффрикат М. И. Стеблин-Каменский, Г. В. Воронкова и М. В. Раевский.

Все прослушанные вечером 20 ноября доклады были посвящены вопросам исторической фонологии английского языка. Рассматривая долготу/краткость как просодический признак, В. А. Квятковский предложил следующее понимание эволюции конституирующей корреляции в английском вокализме: от корреляции количества в древнеанглийском через корреляцию контакта в среднеанглийском к корреляции скольжения в новоанглийском.

О развитии системы гласных в нортумбрийском диалекте древнеанглийского языка рассказала В. Ф. Руцкая (Минск), которая связывала монофонемизацию западногерманских дифтонгических сочетаний в этом диалекте с возникновением там оппозиции огубленности — неогубленности и взаимодействием оппозиций в системах гласных.

С. Ю. Комиссарчик (Харьков) в докладе «Некоторые особенности древнеанглийских дифтонгов» указала на то, что релевантным признаком для них, кроме уэссекского *ie*, является непостоянство тембра. По мнению С. Ю. Комиссарчик, фонологизация признака тембрового скольжения оказывала сдерживающее воздействие на изменения по велярному умлауту.

Е. К. Щука (Минск) отметила, что вследствие многочисленных фонетических изменений синхронное описание древнеанглийского и среднеанглийского глагольного аблаута требует отказа от традиционной общегерманской схемы.

С. Э. Эрматов (Ленинград) посвятил свой доклад фономорфологическому варьированию гласных в древнеанглийском.

В прениях против тезиса В. А. Квятковского о просодической природе долготы возражал А. С. Либерман, считающий, что для современного языка можно ставить вопрос о возрождении корреляции долготы. Он же отметил, что приведенный С. Э. Эрматовым материал очень интересен с точки зрения проблемы тождества слова. С отдельными деталями модели становления нортумбрийского вокализма, изложенной В. Ф. Руцкой, не согласились А. Ю. Степонавичюс и Ю. К. Кузьменко. В. Я. Плоткин и В. Ф. Руцкая полемизировали с С. Ю. Комиссарчик по вопросу о фонологической сущности древнеанглийских дифтонгоидов, настаивая на их монофонемной трактовке. В связи с докладом Е. К. Щуки Г. П. Мельников высказал мысль о том, что увеличение количества значащих чередований связано с исчезновением флексий. Я. Б. Крупаткин указал на присутствие почти во всех докладах проблемы причинности звуковых изменений и подчеркнул необходимость единого подхода к ее решению в рамках постулатов диахронической фонологии и единого понимания термина «фонологизация». Подводя итоги работы семинара М. И. Стеблин-Каменский заметил, что основными его чертами являются интерес к проблеме звуковых изменений и стремление решать эту проблему на материале конкретных изменений в истории германских языков. Столкновение различных точек зрения позволяет выявить различные возможности ее решения, а следовательно, и различные стороны и причины звуковых изменений, и вряд ли принятие какой-то одной фонологической концепции позволит достичь больших успехов.

М. В. Раевский (Тула)

*

С 12 по 14 мая в МГПИИЯ им. Мориса Тореза проходила Всесоюзная научная конференция «Вопросы теории и методики преподавания перевода», организованная Министерством высшего и среднего специального образования СССР.

Конференцию открыл проректор МГПИИЯ им. Мориса Тореза К. Б. Карпов. Чл.-корр. АН СССР В. Н. Ярцева выступила с докладом «Социолингвистические функции перевода», в котором рассматривалась роль перевода в становлении и взаимном обогащении национальных литературных языков.

В числе проблем, затронутых на конференции, была тема «В. И. Ленин и проблемы теории и практики перевода» [А. Д. Кононюк (Киев) «Некоторые вопросы теории перевода (на материале ленинского перевода книги „Industrial democracy“», Л. В. Бурая, Т. А. Варганова, В. Д. Ившин (Калуга) «Проблемы иноязычной лексики и ее передачи в связи с анализом произведений В. И. Ленина»].

Большое внимание на конференции было уделено вопросу о путях развития общей теории перевода. Г. Р. Гачечиладзе (Тбилиси) в докладе «На пути к общей теории перевода» говорил о необходимости создания общей методологии поисков средств выражения для отдельных видов перевода.

М. Я. Цвиллинг (Москва) в сообщении «О возможности прагматического

социально-психологического) подхода к проблеме адекватности» высказал мысль о том, что первоочередным должно стать установление адекватности перевода. В докладе А. Д. Швейцера (Москва) «О детерминантах процесса перевода» подчеркивалось, что теория перевода должна изучать процесс перевода, имея в виду его конечный результат и исходя из определенного эталона адекватного перевода. В докладе А. М. Мухина (Ленинград) «Лингвистические науки и перевод» теория и практика перевода рассматривались как одна из важнейших сфер приложения многих лингвистических наук (сравнительной грамматики, сравнительно-исторической лингвистики, сравнительной стилистики). В. Н. Комиссаров (Москва) в своем докладе «Основные понятия науки о переводе» говорил о необходимости создания системы понятий, описывающих процесс перевода. Значение теории перевода, по мнению докладчика, заключается не в традиционном описании фактов и явлений перевода, но в создании теоретической модели процесса перевода.

В сообщении Г. Я. Туровера (Москва) «Сопоставление переводов как лингвистический источник» говорилось о значении сопоставления оригинала и перевода для сопоставительной стилистики и лексикологии. О невозможности использования перевода для типологических исследований упоминалось в сообщении Д. Буранова (Ташкент) «Является ли перевод конституентом типологии?».

А. А. Леонтьев (Москва) в докладе «Смысл как психологический инвариант перевода» рассматривал процесс перевода в связи с проблемой порождения речи. Искомый инвариант (простейший, не художественного перевода) — это психологическое явление, описываемое в психолингвистике как план, или программа. Если это так, то наиболее общая психологическая характеристика перевода — перевод из субъективного кода в объективный, формулирование высказывания по программе.

Доклад В. Г. Гака (Москва) «О проблеме инварианта при переводе» был посвящен объяснению семантических изменений речевой структуры при переводе. Под инвариантом понимается способ передачи в высказывании предметных отношений действительности.

Проблема инварианта и перевода на уровне слова и ситуации затрагивались в сообщении Е. М. Верещагина (Москва) «Два психолингвистических принципа перевода», где утверждалась возможность пословного перевода для языков, строй которых в какой-то мере совпадает.

В сообщении Н. В. Голубкова (Москва) «Переводческие трудности и простые операции перевода», напротив, подчеркивалась необходимость целостного подхода к переводимому речевому произведению; сходные мысли были высказаны в докладе Р. К. Миньяр-Белоручева «Единица несоответствия как важнейшая основа исследования механизма перевода» и др. Проблема адекватности перевода так или иначе затрагивалась во многих сообщениях, в частности, в докладе К. Г. Крушельницкой (Москва) «К проблеме имплицитного выражения в аспекте перевода».

На конференции был рассмотрен также ряд конкретных вопросов. Назовем здесь доклады и сообщения: А. А. Реформатский (Москва) «Перевод и транскрипция», Я. И. Рецкер (Москва) «Теория фразеологии и лексикографическая практика», И. А. Бородянский (Киев) «Вопросы перевода английских фразеологизмов на русский язык», Г. В. Эйгер, В. Л. Юхт (Харьков) «О релевантности грамматических значений при переводе», Ю. А. Денисенко, Е. В. Бреуса (Москва) «О передаче грамматических категорий, не имеющих соответствия в языке перевода», М. П. Брандес (Москва) «Структура художественного текста как стилистическая основа перевода», В. Д. Уваров «Процесс перевода, стиль и психологические реалии», Т. Залите (Рига) «Образная система автора как проблема переводчика».

О практических вопросах работы переводчика говорили М. Я. Лорие (Москва) «О переводе современной прозы», М. Н. Ваксмахер (Москва) «Некоторые проблемы перевода современной французской поэзии»; В. Е. Шор (Ленинград) сделал доклад «К вопросу о методологии истории художественного перевода».

С большим интересом была встречена информация об исследовании синхронного перевода. Этому вопросу были посвящены доклады: Г. В. Чернова (Москва) «Пути исследования синхронного перевода», И. А. Зимней и Г. В. Чернова (Москва) «К вопросу о роли вероятностного прогнозирования в процессе синхронного перевода» и сообщение Е. Н. Сладковской (Москва) «Мотивационный уровень механизма вероятностного прогнозирования в синхронном переводе». А. Л. Пумпянский (Москва) сделал сообщение «Билингвистические исследования языка и стиля научно-технической литературы».

Сообщения в секции методики преподавания перевода также затрагивали целый ряд интересных и разнообразных проблем. Обсуждались научные основы методики преподавания перевода, типы учебников по переводу. Обсуждались также практические вопросы подготовки переводчиков.

На конференции было принято решение

ходатайствовать перед Министерством высшего и среднего специального образования о создании научно-методического центра для обмена опытом. Было предложено проводить всесоюзные конференции подобного рода периодически. Следующая конференция намечена на 1974 г.

Л. А. Черняховская (Москва)

*

По инициативе Иркутского гос. пед. ин-та иностранных языков им. Хо Ши Мина в Иркутске с 28 по 30 января 1970 г. проводилась V научная межвузовская конференция Восточно-Сибирской зоны по актуальным вопросам структуры разговорной речи и развитию навыков общения на иностранных языках в языковых вузах и на факультетах иностранных языков университетов и педвузов. В работе конференции приняли участие преподаватели факультета иностранных языков Якутского ун-та и факультетов иностранных языков Бурятского, Читинского и Красноярского пед. ин-та, а также гости из Москвы и Ленинграда, Калуги, Орехово-Зуева, Томска, Барнаула, Алма-Аты, Хабаровска, Уссурийска и некоторых других городов.

На конференции работало шесть секций: фонетики и фонологии, грамматики английского языка, грамматики немецкого, французского, испанского языков, лексикологии, методики и литературы. Всего было прослушано и обсуждено 78 докладов.

На пленарных заседаниях было прослушано четыре доклада. В докладе О. Х. Цахера (Иркутск) «Проблема инвариантности и вариантности в просодике» говорилось об акцентной структуре фразы, о значимости и выделимости слога (силлабемы) как важнейшей фонологической единицы, о понятиях интонемы, кинемы и основных просодических инвариантов. Доклад Ю. М. Малиновича (Иркутск) «Эмоциональный аспект теории предложения» был посвящен вопросу о различном функционировании в речи эмоционально окрашенных и эмоционально нейтральных предложений. Л. М. Ковалева (Иркутск) и В. А. Каменецкая (Иркутск) рассказали о плодотворной научной и методической работе, которую проводит коллектив института им. Хо Ши Мина. Иркутским ГПИИЯ издано шесть сборников научных работ, опубликованы учебники по фонетике испанского и немецкого языков, подготовлен к защите ряд диссертаций. В настоящее время готовятся к изданию новые учебные пособия по грамматике, стилистике, практике разговорной речи, фонетике и лексикологии иностранных языков, преподаваемых в институте.

На заседаниях секции фонетики и фонологии с докладами выступили: Э. С. Бабкина (Иркутск) «Просодические характеристики слогов в такте (на материале английского языка)», О. С. Корнилова (Якутск) «Постановка произношения на I курсе (на материале французского языка)», Г. С. Войнова (Иркутск) «Фонетическая природа выделительного ударения во французском языке», С. Ф. Леонтьева (Москва) «Постановка произношения на I курсе языкового вуза», В. Н. Андреева (Улан-Удэ) «К проблеме сравнительного исследования системы гласных в английском и бурятском языках», О. Х. Цахер «Моделирование акцентной структуры немецкого слова», А. В. Селютин (Иркутск) «Длительность как одна из характеристик словесного ударения в испанском языке», Н. В. Дресвянская (Иркутск) «О грамматической и интонационной структурах бессоюзных предложений в современном немецком языке», Л. Г. Прохоренкова (Иркутск) «Интонация простого повествовательного предложения немецкого языка с одним контрастным выделением», Т. К. Тупицина (Иркутск) «Об интонации простого повествовательного предложения немецкого языка с парными контрастами», Т. В. Фаддеева (Иркутск) «Методика преподавания интонации в педагогическом институте иностранных языков», И. А. Гомер (Красноярск) «Об эмоциональном фразовом ударении в современном немецком языке», Г. П. Веселовская (Уссурийск) «К вопросу об обучении интонации диалогической речи на I курсе факультета иностранных языков», Л. Соловьева (Барнаул) «Обучение интонационным моделям диалогической речи», Н. М. Шестакова (Иркутск) «К вопросу о постановке интонации у студентов I курса», Л. А. Соснина (Иркутск) «Построение вводного фонетического курса».

В докладах, представленных на секцию грамматики английского языка, освещались проблемы валентности и переходности глаголов, потенциального и коммуникативного синтаксиса, выбора однозначных и сложных языковых единиц в речи, категории замещения, а также некоторые частные вопросы грамматики современного английского языка. С докладами выступили: Л. М. Ковалева «К вопросу о системе противопоставлений переходности — непереходности в современном английском языке», Р. В. Басова (Иркутск) «Валентности глаголов, связанные с залогом» и «Выражение страдательного залога в английском языке в зависимости от валентных свойств глагола», Н. К. Самаркина (Орехово-Зуево) «Адвербиальная валентность в

различных семантических подклассах английского глагола», В. Д. Метакса (Иркутск) «К вопросу о значении притяжательных местоимений в английском языке», В. Д. Ившин (Калуга) «Способы предикативного выделения обстоятельств внутренней характеристики действия (на материале английского языка)», Г. С. Степанова (Иркутск) «Основные структуры простого эмоционального предложения в современном английском языке», Л. К. Чистоногова (Ленинград) «Вопросительно-отрицательные предложения в современном английском языке», Ю. В. Шаламов (Барнаул) «К вопросу выбора языковых единиц», Б. П. Дюндик (Москва) «Использование заместителей как одна из особенностей разговорной речи английского языка», А. М. Алексеенко (Иркутск) «О синтаксической структуре репрезентирующего компонента прямой речи (на материале английского языка)».

На сводной секции грамматики немецкого, французского, испанского языков выступили: С. Б. Гринберг (Иркутск) «Проблема системы и нормы в языке» Е. Ф. Лебедева (Иркутск) «Взаимодействие элементов системы и нормы в дублетных формах множественного числа имен существительных современного немецкого языка», Л. Б. Груздева (Иркутск) «Об условиях реализации обязательной валентности глагола (на материале немецкого языка)», Г. Б. Алейник (Москва) «О роли определения в функции частичной номинации», Р. Г. Султанова (Иркутск) «Проявление синсемантии в разговорной речи (на материале немецкого языка)», Л. Г. Костыльникова (Иркутск) «К вопросу о модальности (на материале немецкого языка)», В. В. Захаров (Улан-Удэ) «Ограничения сочетаемости глаголов *sein* и *werden* с причастием II от переходных глаголов в современном немецком языке», Л. А. Дудник (Москва) «Уменьшительные существительные как единицы разговорной речи и их лексические, морфологические и синтаксические особенности по сравнению с коррелятивными неуменьшительными», Ю. А. Воднев (Чита) «Неполные бессоюзные сложносочиненные вопросительные предложения диалогической речи», Н. А. Лёзова (Ленинград) «О некоторых типах коммуникативной связи элементов абзаца в немецком языке».

На секции лексикологии с докладами выступили: И. А. Цыбова (Москва) «О взаимодействии словообразовательных типов на исконной и книжной основах в современном французском языке», Е. К. Ядвиршис (Томск) «Стилистическое сравнение и его перевод с английского языка», В. А. Иноземцева (Иркутск) «Некоторые формальные средства разграничения полисемии английских глаголов», Р. Г. Сайфутдинова (Иркутск) «Компонентный анализ лексического значения глагола», А. Г. Карась (Иркутск) «О диахроническом изучении некоторых глагольных устойчивых сочетаний», М. Г. Литвинцева (Иркутск) «Вариативность некоторых устойчивых сочетаний современного английского языка», С. Б. Берлизон (Рязань) «Об одном разряде эмоциональной лексики современного английского языка», Г. Г. Зиброва (Иркутск) «К проблеме смысловой структуры слова и методов ее изучения», Г. Я. Фауст (Иркутск) «Смысловая структура глагола *bilden* и некоторых отглагольных существительных», Л. А. Дудник «Об изменении — неизменении основы при прибавлении уменьшительных суффиксов к существительным».

На заключительном пленарном заседании конференции были заслушаны отчеты руководителей секций, заключительное слово проректора по научной работе Р. Г. Султановой и выступления в прениях до докладам.

Конференция постановила организовать при лаборатории экспериментальной фонетики и психологии речи Иркутского ГПИИЯ постоянно действующий зональный семинар по фонологии и экспериментальной фонетике, ответственный за систематическое проведение консультаций по выбору научной тематики, по экспериментальному исследованию речи и по методике преподавания фонетики в языковом вузе.

Следующую зональную конференцию решено провести в конце января 1973 г.

В. Д. Ившин (Калуга)

*

13 марта 1970 г. исполнилось 125 лет со дня рождения Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ. В связи с этим научное студенческое общество (НСО) кафедры русского языка филологического факультета МГУ провело Бодуэновские чтения.

Со вступительным словом к участникам чтений обратился Н. И. Толстой. Как отметил докладчик, Бодуэн де Куртенэ был «протестантом» в лингвистике. Многие его работы шли вразрез с господствовавшими в то время идеями младограмматиков. Одна черта выгодно отличает Бодуэна де Куртенэ от многих современных «протестантов»: прежде чем пересмотреть позиции младограмматизма, он сам прошел школу младограмматиков. Современным молодым ученым следовало бы уделить больше внимания изучению того, что было сделано в науке до них: только в этом случае их «протесты» будут иметь научную цену.

М. Ю. Федосюк (IV курс) в докладе «И. А. Бодуэн де Куртенэ о месте лингвистики в системе научных знаний» подчеркнул решающее значение теории для любой науки, в том числе и лингвистики. Этот тезис четко сформулирован Бодуэном де Куртенэ. Практическое приложение лингвистики на данном этапе ограничивается обучением и переводом. Однако из этого не следует, что в настоящее время не стоит заниматься развитием лингвистической теории, ибо, как показывает история науки, всякая истинная теория находит практическое приложение в будущем.

В. Н. Манзюра (IV курс) сделал доклад на тему «И. А. Бодуэн де Куртенэ в борьбе против фетишизации языкового знака». Мысль о том, что объектом лингвистики должен быть язык во всей совокупности его микросистем, вытекает из многих работ Бодуэна де Куртенэ. Следовательно, объектом лингвистики может быть и так называемая «социально запрещенная» лексика и фразеология. Главной причиной невнимательного отношения лингвистов к «социально запрещенному» пласту языка является фетишизация языкового знака, берущая свое начало в отождествлении знака и денотата. Другая сторона фетишизации — приписывание знаку тех свойств, которыми он, не будучи включен в коммуникацию, сам по себе не обладает. В докладе была обоснована необходимость изучения «социально запрещенной» лексики и фразеологии и намечены пути такого изучения, на многие из которых указывал Бодуэн де Куртенэ.

А. А. Поликарпов (IV курс) сделал доклад «Значение картины коммуникативного процесса в работах И. А. Бодуэна де Куртенэ для современного языкознания». Современное языкознание переходит от абстрактно-грамматического рассмотрения языка к конкретно-коммуникативному. Одним из основоположников такого рассмотрения был Бодуэн де Куртенэ. Отвергая дуалистическое противопоставление «мира в мыслях» «миру в действии», он утверждал, что мыслительно-языковые процессы в мозгу (церебрация) имеют материальную природу, так же, как фонация (говорение) и аудиция (слушание). Сложность церебрации как объекта исследования является временной и обусловлена трудностью проникновения в живой мозг. Прозорливость Бодуэна де Куртенэ состоит в том, что он предсказал необходимость содружества психологии с нейрофизиологией, которого, к сожалению, пока не удалось достигнуть психологам и психолингвистам.

С докладом «Бодуэнова теория языкового развития» выступил Д. Д. Беляев (IV курс). Развитие происходит, по Бодуэну, исключительно в индивидуальном языке, который локализуется в мозгу носителей языка. Развитие «среднего» («племенного») языка является следствием развития индивидуальных языков. Развитие понимается Бодуэном де Куртенэ как столкновение наследственности и приспособления. Колебания при передаче языковых сигналов, будучи усилены в определенном направлении, могут стать изменениями. Исходный пункт всякого изменения — различного рода неравновесия: между потребностями общения и языком, между ярусами языка и т. д.

Доклад А. П. Романенко (IV курс) назывался «И. А. Бодуэн де Куртенэ о развитии и изменении языковых значений». Бодуэн де Куртенэ отмечал два направления в развитии языковых значений: от конкретности к абстрактности и от неопределенности к определенности содержания. Эти две тенденции, являясь противоположными, обеспечивают развитие языка. Первая, «облегчая» абстрактное мышление, реализуется в языке науки, вторая обеспечивает конкретизацию речи и используется, к примеру, в языке поэзии. Абсолютизации одного из указанных направлений в языке не может быть ввиду того, что язык как средство коммуникации — динамическая система. Докладчик показал важность бодуэновой теории развития лексических значений для решения насущных проблем терминологии.

В докладе «И. А. Бодуэн де Куртенэ — первый русский фонолог» Т. П. Митрофанова (III курс) указала на системный подход Бодуэна де Куртенэ к языку при решении фонологических проблем. Рассматривая фонему в морфеме, Бодуэн подходил к языку как к многоярусной динамической системе, между ярусами которой существует взаимодействие. По мнению Бодуэна де Куртенэ, фонология, в отличие от фонетики, изучает не «мимолетные» звуки речи, а инвариантные «отпечатки» этих звуков в «душе», т. е. в мозгу, где эти отпечатки имеют определенную нейрофизиологическую субстанцию. Однако, в связи с трудностью проникновения в живой мозг, фонемы на данном этапе развития науки должны изучать по их манифестациям в речи.

Заключительным докладом чтений был доклад Г. П. Мельникова «И. А. Бодуэн де Куртенэ и структурализм». Утвердилось мнение, что Бодуэн де Куртенэ — предтеча многих идей структурной лингвистики. Однако в этих словах — недооценка великого ученого, который не ограничивался изучением только структуры языка, но дошел до признания языка системой, где одинаково важны и одинаково должны изучаться структура и субстанция и их взаимосвязи и взаимовлиянии. Если Соссюр считал язык формой, а не субстанцией, если копенгагенский структурализм признавал языком только сетку отношений, считая посту-

лирование объектов, между которыми наблюдаются эти отношения, излишними, то Бодуэн де Куртенэ рассматривал язык в субстанции.

Структуралисты, например, Э. Косериу, считают, что прогнозирование — не дело науки. Однако наука — не инвентаризация фактов, и мысль Бодуэна де Куртенэ о прогнозировании в лингвистике претворяется в жизнь современной наукой.

После докладов развернулась дискуссия о перспективах структурного и системного бодуэновского метода в лингвистике.

Бодуэновские чтения на филологическом факультете МГУ показали, что молодые ученые не просто изучают наследие И. А. Бодуэна де Куртенэ, но и пытаются творчески его развивать.

В. Н. Манзюра (Москва)

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1970 г. (№№ 1—6)

СТАТЬИ

Академик Виктор Владимирович Виноградов 1
Аврорин В. А.— Ленинские принципы языковой политики 2
Бельчиков Ю А.— Значение трудов В. И. Ленина для изучения истории русского литературного языка XIX—XX вв. 2
Будагов Р. А.— Человек и его язык 6
Виноградов В. В.— Стиль В. И. Ленина и задачи текстологии 2
Ивич П.— Расширение инвентаря фонем и число дистинктивных возможностей 3
Либерман А. С.— О способах образования новых фонем 3
Мельниченко Г. Г.— К вопросу об этническом составе русского населения на территории Владимиро-Суздальского княжества XII — начала XIII в. 5
Мельничук А. С.— Понятия системы и структуры языка в свете диалектического материализма 1
Найда Ю. А.— Наука перевода 4
Серебренников Б. А.— К проблеме отражения развития человеческого мышления в структуре языка 2
Филин Ф. П.— Древнерусские диалектные зоны и происхождение восточнославянских языков 5
Эткинд Е. Г.— Художественный перевод: искусство и наука 4

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Абрамов Б. А.— Синтаксически обусловленная деструкция сложных и производных слов 5
Адмони В. Г.— Еще раз об изучении количественной стороны грамматических явлений 1
Баскаков Н. А.— Ареальная консолидация древнейших наречий и генетическое родство алтайских языков 4
Благова Г. Ф.— Тенденции к усложнению тюркского падежного склонения 1
Воронкова Г. В., Стеблин-Каменский М. И.— Фонема — пучок РП? 6
Дульзон А. П.— Строение кетского глагола 5
Жовтис А. Л.— О критериях типологической характеристики свободного стиха 2
Климов Г. А.— О внешних связях картвельских языков 6
Копецкий Л. В.— Типы склонения русских существительных мужского рода 3
Кубрякова Е. С.— О типах морфологической членимости слов, квазиморфах и маркерах 2
Маковский М. М.— Экстраполяция лексико-семантических систем . . . 3
Меновщиков Г. А.— Способы выражения единичности и множественности в языках различного типа 1
Мыркин В. Я.— Некоторые вопросы понятия речи в корреляции: язык — речь 1
Нещименко Г. П.— Деминутивные деривационные цепочки и их преобразование в чешском литературном языке 6
Никитевич В. М.— Об одном аспекте исследования деривационной системы субстантива 5
Ревзин И. И.— Некоторые замечания в связи с дихотомической теорией в фонологии 3
Русановский В. М.— Вопросы нормы на разных этапах истории литературного языка 4
Серебренников Б. А.— Почему трудно разрешить проблему происхождения верхних слоев севернорусской гидронимии? 1
Федоров А. В.— О соотношении отдельного и целого в процессе перевода как творчества 6

Ходова К. И.— Об осуществлении нейтрализации семантических противопоставлений . . . 5
Чикобава Арн.— К вопросу об отношении картвельских языков к индоевропейским и северокавказским языкам . . . 2
Шведова Н. Ю.— Несколько замечаний по поводу статьи Ю. Д. Апресяна «Синонимия и синонимы» . . . 3
Швейцер А. Д.— К проблеме лингвистического изучения процесса перевода . . . 4

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Алисова Т. Б.— Опыт семантико-грамматической классификации простых предложений . . . 2
Ахманова Г. И., Данчинова И. А.— Атрибутивное отношение в топонимической системе англоязычных стран . . . 6
Баранникова Л. И.— Социально-историческая обусловленность места разговорной речи в общенародном языке . . . 3
Бернштейн С. Б.— Следы консонантных именных основ в славянских языках . . . 3
Гухман М. М.— Социальная характеристика языка политической литературы эпохи Реформации и Крестьянской войны . . . 5
Дарбеева А. А.— О личных местоимениях третьего лица в монгольских языках . . . 1
Изинг Г.— Проблемы типологии языковых подсистем . . . 6
Кибрик А. Е., Кодзасов С. В.— Принципы фонетической транскрипции и транскрипционная система для кавказских языков . . . 6
Климов Г. А.— К чтению двух памятников агванской (кавказско-албанской) эпиграфики . . . 1
Меновщиков Г. А., Храковский В. С.— Каузативные глаголы и каузативные конструкции в эскимосском языке . . . 4
Мухин А. М.— Модели внутренних синтаксических связей предложений 4
Орусбаев А.-К.— Опыт экспериментально-фонетического исследования киргизского ударения . . . 4
Попова З. Д.— К теории падежного значения . . . 4
Сильман Т. И.— Синтактико-стилистические особенности местоимений . . 4
Успенский Б. А.— Старинная система чтения по складам . . . 5
Хренова Н. И.— Совместимость флексий склонения имен мужского рода в русском языке XVII—XVIII вв. . . . 1
Щербак А. М.— Формы числа у имен в тюркских языках . . . 3

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Дешериева Т. И.— Критерий определения в языке самостоятельных падежей, производных падежей и падежных вариантов . . . **3**

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Из лингвистического наследия академика Л. В. Щербы . . . 6
Стрекалова З. Н.— Заметки о рукописном «Сравнительном русско-польском словаре» С. Б. Линде . . . 6

ИЗ ИСТОРИИ СТИХОВЕДЕНИЯ

Гиндин С. И.— Взгляды В. Я. Брюсова на языковую приемлемость стиховых систем и судьбы русской силлабики (по рукописям 90-х годов) . . . 2

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Баскаков А. Н.— Проблемы языкознания в журнале «Türk dili» (1960—1970) . . . 6
Николаева Т. М.— Новое направление в изучении спонтанной речи . . 3

Рецензии

Ахманова О. С.— «Recueil linguistique de Bratislava», II . . . 5
Белова А. Г.— *B. Malmberg.* Les nouvelles tendances de la linguistique; *M. Ivić.* Pravci u linguistici . . . 5

Богуславская Г. П., Невельский П. Б.— *Р. Г. Пиотровский.* Информационные измерения языка 3
Вольф Е. М.— *M. Manoliu Manea.* Sistematica substitutelor din Română comtemporană standard 6
Дагуров Г. В.— *Т. А. Бертагаев.* Морфологическая структура слова в монгольских языках 5
Зиндер Л. Р., Строева Т. В.— «Bausteine zur Spachgeschichte des Neuhochdeutschen» 6
Иванова И. П.— *В. Н. Ярцева.* Развитие национального литературного английского языка 5
Ижакевич Г. П., Целуйко К. К.— *И. К. Белодед.* Развитие языков социалистических наций СССР; *І. К. Білодід.* Ленінська теория національно-мовного будівництва в соціалістичному суспільстві 6
Кодухов В. И.— *V. Z. Panfilov.* Grammar and logic 1
Колесов В. В.— *К. В. Горшкова.* Очерки исторической диалектологии Северной Руси 1
Кондрашов Н. А.— «Atlas slovenského jazyka», I 4
Кононов А. Н.— *Talât Tekin.* A grammar of Orkhon Turkic 4
Костомаров В. Г.— *М. Н. Кожина.* К основаниям функциональной стилистики 3
Лаптева О. А.— *И. И. Ковтунова.* Порядок слов в русском литературном языке XVIII — первой трети XIX в. 5
Лыткин В. И.— *I. Bátori.* Wortzusammensetzung und Stammformverbindung im Syrjänischen mit Berücksichtigung des Wotjakischen 4
Медникова Э. М., Гюббенет И. В.— *G. Matoré.* L'espace humain . . 3
Моллова М.— *E. Tryjarski.* Dictionnaire arméno-kiptchak d'après trois manuscrits des collections viennoises 6
Московичь В. А.— *D. G. Hays.* Introduction to computational linguistics 2
Николаева Т. М.— *M. A. K. Halliday.* Intonation and grammar in British English 4
Одинцов В. В.— *J. Cohen.* Structure du langage poétique 4
Пеньковский А. Б.— *Л. Л. Касаткин.* Прогрессивное ассимилятивное смягчение задненебных согласных в русских говорах 1
Скрелина Л. М.— *R. Lafont.* La phrase occitane 3
Степанова М. Д.— *W. Fleischer.* Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache 4
Талицкая Е. Е.— *І. Němec.* Vývojivé postupy české slovní zásoby 6
Толстая С. М.— *Н. Ј. Aronson.* Bulgarian inflectional morphophonology 1
Шведова Н. Ю.— Исследования по общей теории грамматики 1
Шимундич М.— *J. Vuković.* Sintaksa glagola 3
Юлдашев А. А.— *С. Н. Иванов.* Родословное древо тюрок Абу-л-Гази-хана. Грамматический очерк 4
«Current trends in linguistics», II 2

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Карамшоев Д.— Сектор памирских языков Института языка и литературы АН Таджикской ССР и перспективы его работы 6
Ковтун Л. С.— Рукописи с языковедческой тематикой в древнехранилище Пушкинского дома 2
Щербак А. М.— Постоянный Международный алтаистический семинар 4
Хроникальные заметки . . . . . 1—6

CONTENTS

Articles: R. A. Budagov (Moscow). The man and his language; **Discussions:** G. V. Voronkova, M. I. Steblin-Kamenskij (Leningrad). Is the phoneme really a bundle of distinctive features?; A. V. Fedorov (Leningrad). On the correlation of the whole and the parts in the process of translation viewed as creative work; G. A. Klimov (Moscow). On the external relations of the Kartvelian languages; G. P. Neščimenko (Moscow). Deminutative derivational chains and their transformation in the Czech literary language; **Materials and notes:** G. Ising (Berlin). The problems of typology of linguistic subsystems; G. A. Kibrik, S. V. Kodzasov (Moscow). Principles of phonetic transcription and the system of transcription for the Caucasian languages; G. I. Akhmanova. I. A. Dančinova (Moscow). Attributive relations in the toponymic system of English-speaking countries; **From the history of linguistics:** From the linguistic heritage of Academician L. V. Ščerba; Z. N. Strekalova (Moscow). Notes on the manuscript of the «Comparative Russian-Polish dictionary» by S. B. Linde; **Critics and bibliography; Scientific life:** D. Karamšojev (Dušanbe). The Sector for Pamir languages at the Institute of language and literature (Academy of Sciences of the Tadjik SSR) and prospects of ts work.

SOMMAIRE

Articles: R. A. Boudagov (Moscou). L'homme et son langage; **Discussions:** G. V. Voronkova, M. I. Stebline-Kamenskij (Léningrade). Est-ce que le phonème réellement un faisceau des traits distinctifs?; A. V. Fedorov (Léningrade), La corrélation de l'ensemble et des parties au procéssus de la traduction considerée comme art créatif; G. A. Klimov (Moscou), Relations externes des langues kartvéliennes; G. P. Neščimenko (Moscou). Chaînes de dérivation deminutative et leur transformation dans la langue littéraire tchèque; **Matériaux et notices:** G. Ising (Berlin). Problèmes de typologie des sous-systèmes linguistiques; G. A. Kibrik, S. V. Kodzasov (Moscou). Principes de transcription phonétique et le systéme de transcription pour les langues caucasiennes; G. I. Akhmanowa, I. A. Dančinova (Moscou). Rélations attributives dans le système toponymique des pays où l'anglais est la langue principale; **De l'histoire de la linguistique:** De l'héritage linguistique de l'Académicien L. V. Ščerba; Z. N. Strekalova (Moscou). Quelques remarques sur le manuscrit du «Dictionnaire comparée russe-polonais» de S. B. Linde; **Critique et bibliographie; Vie scientifique:** D. Karamšojev (Doušanbe). Secteur des langues de Pamir à l'Institut de langue et de litterature (Académie des Sciences de la République Soviétique Socialiste de Tadjikistan) et perspectives de son travail.

Технический редактор *Н. А. Поскакная*

Сдано в набор 28/VIII—1970 г., Т. 17023 Подписано к печати 2/XI-1970 г. Тираж 6640 экз.
Зак. 1066 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 13,3 Бум. л. 4³/₄ Уч.-изд. листов 15,9

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10